Convegno Internazionale
I GIUSTI NEL GULAG
Il valore della resistenza morale al totalitarismo sovietico

RELAZIONE INTRODUTTIVA
ВОДНЫВЙ ДОКЛАД
Габриеле Ниссим
Gabriele Nissim

«Нет, душу я не сдам!»

На этом конгрессе, который открывается сегодня, мы хотим предложить для размышления три вопроса, которым уделялось мало внимания со стороны историков и тех, кто занимается темой тоталитаризмов и геноцидов прошлого века.

Кто такие праведники гулага? Можно ли определить эту категорию и сделать ее актуальной наряду с уже известной категорией праведников еврейского холокоста?

Какое значение имеет для нашего времени помнить примеры морального противостояния крайнему злу?

Какова ценность памяти о добре?

Намерение тех, кто подготовил этот конгресс, утвердить всеохватывающую память об этнических и социальных геноцидах XX века. Мы не хотим, чтобы создавалась память раздробленная на отдельные секции и вызывающая разрыв и разделение среди тех, кто занимается преступлениями тоталитаризмов и кто занят памятью о холокосте или об армянском геноциде. Как заметил недавно почтеннейший миланский кардинал Карло Мария Мартини[1], память о страдании должна быть открыта к страданию других, потому что соучастие в прошлом позволяет нам увидеть сходства и различия, чтобы помешать повторению этого прошлого.

Я лично, как еврей, считаю, что моя ответственность в отношении сохранения памяти об Аушвице была бы *неполной,* если бы я не занимался также и Колымой. Страдания людей, умерших или содержавшихся в нацистских лагерях, вызывают у меня то же самое негодование, что и страдания в гулаге. Как писал Василий Гроссман – великий русский еврей – у чекистов был общий с нацистскими палачами принцип. Они убили тысячи людей просто напросто потому, что не считали их людьми, а присваивали себе с наглостью право определять их как некий подвид, лишний и вредный для их политических планов[2].

Этой нашей нынешней инициативой мы ставим перед собой важную цель, которая, надеемся, вызовет сочувствие среди тех, кто занимается сохранением памяти о преступлениях тоталитаризмов.

Мы хотим, чтобы в Москве был создан мемориал и большой сад, где были бы посажены деревья в честь тех людей, которые в России разными способами старались защитить человеческое достоинство в трагические времена советского коммунизма.

Мы надеемся, что эта наша инициатива будет принята Русским Государством, чтобы показать, что будущее этой страны строится на наследии тех людей, которые оказались способны спасти достоинство нации во времена гулага.

На этом конгрессе мы решили вспомнить жизнь и произведения таких фигур как Ахматова, Солженицын, Гроссман, Разгон, Шаламов, Сахаров, Герлинг, потому что на их

---

[1] Martini Carlo Maria, *Tornando da Gerusalemme,* Corriere della Sera, 27 agosto 2003

[2] Анна Сергеевна, персонаж, участвовавший в раскулачивании, вспоминает: «Как страдали те люди, как с ними обращались! Но я говорила: они не люди. Именно так говорили немцы: евреи не люди. И это же говорили Ленин и Сталин: кулаки не люди». Vassilij Grossman, *Tout passe,* Julliard-L'Age d'homme, Paris 1984, p.150

примере мы можем понять особые механизмы морального противостояния тоталитаризму и можем стимулировать поиски в архивах личных свидетельств о тех, кто не будучи известными персонажами стремились поставить предел унижению человека в бывшем Советском Союзе.

Память о добре не спонтанный и автоматический механизм, она требует труда институтов, исследующих ее и сохраняющих ее[3]. Если этот труд поисков и популяризации отсутствует, даже самые лучшие примеры морального мужества исчезают и пропадают в забвении.

В нашей стране мы тоже призваны к ответственности. Наряду с теми итальянцами, которые вели себя достойным образом во время фашизма и мужественно спасали сотни евреев, мы хотим чтобы помнили также о других итальянцах таких, как Винченцо Баккала, Эмилио Гварнаскелли, Эдмондо Пелузо и другие, которые заплатили высокую цену за то, что не поддались тоталитарной логике слепого подчинения и доносительства, и таких как Данте Корнели, Пиа Паччони или Нелла Мазутти, которые не захотели подчиниться заговору молчания, царившему в политике, начиная с конца войны и до сегодняшнего дня, и подверглись клевете и изоляции за то, что они говорили о судьбе их соотечественников, родственников, друзей и товарищей, отправленных в гулаг.

Для нас нет никакой разницы между теми, кто спасал человека от холокоста и кто спас саму идею человека внутри и вне советских лагерей.

Поэтому мы решили посадить дерево в честь Андрея Сахарова и праведников гулага в том самом месте города Милана, где хранится память о праведниках, спасавших евреев, и праведников, спасавших армян.

Термин «праведник» был впервые употреблен при историческом исследовании геноцида, связанного с холокостом.

Было понято, что исчерпывающая память о преступлении против человечества должна включать не только память о зле, совершенном тоталитарной системой, но также и память о тех, кто пытался сопротивляться машине уничтожения.

Чтобы вершить правосудие в трибунале истории нужно было помнить не только имена и фамилии палачей, не только имена жертв и их число, но и имена и дела спасителей.

Слово «праведник» в этом случае не должно вводить в заблуждение. Оно не имеет религиозного или библейского значения, не обозначает святого или совершенного героя, а лишь подчеркивает ценность поведения того, кто сумел остаться человеком в бесчеловечном мире, дает признание человеку, который в одиночестве пытался противостоять преступлению против человечности, помогая своему ближнему. Таким образом это новое современное и мирское значение понятия «праведник»[4].

В 60-ых годах была создана коммиссия, руководимая в течение 25 лет судьей Моше Бейски, которая поставила себе целью собрать, на основе свидетельств спасенных, все маленькие и большие истории людей, которые пытались оказать помощь евреям.

Этот тип памяти имеет двойной смысл. Прежде всего хотели выразить признательность тем, кто пытались повернуть историю по другому иному пути, даже если их действия были не способны остановить зло и могли только ограничить потери.

Но более всего хотели дать знать миру, что есть возможность для человека выбирать, возможность найти внутри себя силу противостоять преследованиям, независимо от того каков режим, какова социальная обусловленность, каковы угрозы физического и психологического характера.

Праведник холокоста был добрым человеком, который, рискуя собственной жизнью, оказал помощь еврею в опасности.

Вокруг этого определения возникла моральная дискуссия, которая привела к уточнению некоторых принципов.

---

[3] Gabriele Nissim, *La memoria dei giusti,* in “Aggiornamenti sociali”, settembre-ottobre 2003, p.649

[4] Gabriele Nissim_ *Il tribunale del bene*- Mondadori_ Milano 2003_ p.119

Праведник – это не совершенное существо, не человек, живущий «святыми принципами», но любой человек, который независимо от его идеологии помогает жертвам. Даже убежденный экс-нацист Оскар Шиндлер, польская антисемитка Софья Коссак, одна проститутка, один функционер СС заслужили дерево в саду праведников Яд Вашем. Была признана возможность искупления для человека, который был вовлечен в зло, был использован машиной уничтожения и затем стал спасать жизни. Была отдана дань некой серой зоне добра, а не только кристально чистым и безупречным деятелям. Моше Бейски твердо решил избегать любой двусмысленности, которая могла установить иерархию Добра: каждый акт солидарности и помощи должен был быть запомнен безо всякой классификации. Комиссия никогда не брала на себя право объявлять одного человека боллее достойным, нежели другой, она просто действовала, чтобы воспрепятствовать забвению тех людей, которые смело воспротивились геноциду евреев.

Во время этих исследований вышло на свет небывалое разнообразие фигур праведников. Были вспомнены и те, кто протестовал против рацистских законов, кто старался информировать мир о наличии лагерей уничтожения, призывая международное вмешательство, чтобы воспрепятствовать «радикальному решению», кто спас десятки евреев и кто спас от смерти одного единственного человека. Были отмечены даже простые попытки спасения, независимо от их результата, если человек при этом рисковал собственной жизнью.

Некоторые из этих фигур, как например фигуру свидетеля, который настойчиво пытается информировать мир о существовании лагерей, мы можем найти также в истории гулага и советского тоталитаризма.

Судьба Яна Карского, вестника о польском сопротивлении, который, побывав в Варшавском гетто, пытался привлечь внимание английских и американских властей к осуществлявшемуся геноциду, похожа на судьбу Давида Руссе, Маргариты Бубер-Нейман, итальянца Данте Корнели, которые старались дать знать Западу о депортации тысяч людей в советские лагеря.

Однако есть разница.

Ян Карский испытал невыносимое отчаяние[5], когда заметил, что мир не хотел ему верить. Его называли фантазером, потому что было морально не удобно выслушивать его рассказы и оставаться пассивными, или же ему говорили, что Англия не могла принять больше еврейских беженцев и что было можно остановить Аушвиц только после военного поражения Германии. Карский испытал ужас собственного бессилия и чувствовал себя не способным выполнить эту страшную задачу. Всю жизнь его преследовало чувство вины и он упрекал себя за то, что не сумел убедить великие державы спасти евреев.

А такие свидетели как Руссе и Нейман пережили иной тип одиночества, потому что их обвиняли в буржуазной пропаганде, в пропаганде антисоветизма, в том, что они своими свидетельствами подрывали надежды трудящихся на социализм и на тот новый мир, который строился в СССР и в странах советского блока. Свидетелям холокоста не верили из-за безразличия, а также потому что это зло было невообразимо и казалось разумно не приемлемым, свидетели же гулага были изолированы и атакованы, потому что ставили под сомнение идею Абсолютного Добра, которое коммунисты, и не только коммунисты, идентифицировали с советской Россией.

Тот, кто говорил о гулаге, был виноват тем, что убивал надежду.

Есть еще и другой аспект, который отличает условия, в которых находился тот, кто пережил холокост и тот, кто пережил гулаг.

Первый испытывал трудность рассказать о своей судьбе после войны, потому что было невозможно выразить весь ужас Аушвица, второй же не мог говорить в Советском Союзе, потому что государство ему это запрещало.

Шаламов испытывал то же самое отчаяние, что и Примо Леви, когда говорил, что увиденное им на Колыме, человек не должен ни знать, ни видеть, настолько ужасен был этот опыт для человечества. С той однако разницей, что Примо Леви участвовал в конгрессах,

---

[5] Там же, стр. 164

выступал в школах, ездил по всему миру, чтобы рассказать, Шаламов же после 17 лет заключения должен был идти против власти, чтобы своими рассказами сохранить память о том, что он видел и пережил.

Другой писатель, свидетельствовавший о гулаге, Лев Разгон, хорошо объяснял, какие чувства испытывал бывший заключенный, когда возвращался из лагеря домой: ему предстояло новое испытание, потому что только если он молчал и соглашался забыть все, у него была минимальная возможность найти снова место в обществе. Если же он решал говорить, то он не только рисковал новыми репрессиями, но оказывался изолированным и на него смотрели с подозрением. Он должен был выбрать: или бороться за правду или согласиться зачеркнуть воспоминания в обмен на снисходительность функционеров режима, которые все еще распоряжались его жизнью.

Вот почему мы должны считать праведниками, тех кто говорил и рассказывал, как Разгон, Шаламов, Солженицын и многие другие. Не все пережившие гулаг были способны на такое необычное мужество. Не все нашли силы идти против стены молчания и круговой поруки.

В холокосте типичная фигура праведника – это человек, спасший жизнь другому, спрятав его в надежном месте или помогая ему избежать механизма преследования. Его довольно легко узнать, потому что спасенный помнит о своем спасителе. В сложной же системе тоталитаризма труднее узнать тех, кто имел конкретную возможность действовать в контексте жесткого контроля и террора как на уровне общественном, так и на уровне частной жизни, хотя после 1956 года, когда путы системы ослабели, мы можем зарегистрировать многочисленные случаи солидарности и помощи жертвам, особенно в среде диссидентского движения.

Внутри советской системы мы находим скорее особую моральную фигуру, которая заслуживает того, чтобы ее оценили.

Это человек, который отчаянно старался избежать того, чтобы причинять зло другим, когда система заставляла всякого рода воздействиями физическими и моральными доносить на своих коллег, друзей, родственников, и за этот свой отказ заплатил дорогой ценой. Тот, кто спасал и помогал, делал это не прямо, как это часто было в холокосте, а лишь решив не вредить другим.

Очень различны и тяжелы ситуации такого выбора, определившего судьбу многих людей.

Самым непосредственным видом такого выбора было сохранение любви в условиях, когда режим преследовал всю семью, когда один член семьи считался врагом режима.

Перед угрозой кончить в гулаге многие близкие соглашались стать доносчиками на своих родственников, оказывавшихся таким образом покинутыми. Система была способна разложить и разрушить семью. Шаламова покинула жена и дочь от него отказалась.

Есть однако необыкновенные примеры женщин, которые избрали любовь и которые устояли перед шантажом агентов НКВД. Я хотл бы прежде всего поблагодарить Елену Боннер за то мужество, которое она продемонстрировала в борьбе вместе с мужем Андреем Сахаровым. Хотел бы напомнить о Надежде Яковлевне, жене великого поэта Осипа Мандельштама, которая вела изнурительную борьбу, чтобы спасти мужа. Защищала его при любом случае, искала помощи у друзей и знакомых, следовала за ним, пока это было возможно, на всех этапах ссылки, а после смерти мужа боролась за его реабилитацию, открыто заявляя о преступлениях партии. Боясь уничтожения поэтического наследия Мандельштама, она даже выучила наизусть его стихи.

В Италии были мужественные женщины такие, как Пиа Пиччони и Нелла Мазутти, которые никогда не покидали своих мужей, осужденных, преследуемых и убитых. Нелла Мазутти даже решилась последовать за Эмилием Гварнаскелли в ссылку в снега Крайнего Севера Европейской России и оставалась рядом с ним до того дня, когда агенты НКВД забрали его, чтоб перевести в Сибирь, где он был расстрелян.

Другая, крайне драматичная ситуация, создавалась, когда жертва, намеченная органами политической полиции, вынуждалась всякого рода психологическим шантажом, физическим и моральным давлением, вплоть до пыток, не только признать никогда ею не совершавшиеся преступления, но также и обвинить своих друзей, товарищей и даже родственников.

Очень часто человека задерживали с единственной целью заставить его дать показания в обмен на свободу. НКВД фабриковал искусственно доказательства вины так называемых «врагов социализма» путем признаний их товарищей по политической деятельности. Человек неожиданно оказывался в сюрреальной бредовой ситуации, когда он должен был обвинить невинных, получив таким образом надежду быть пощаженным. Спастись за счет другого – такова была моральная дилемма гомо советикуса. Многие не выдержали этого крайнего испытания и уступили. Некоторые же оказались способны воспротивиться и заплатили дорогую цену, вплоть до пожертвования собственной жизнью, лишь бы не поддаться шантажу.

Одним из таких людей был Эдмондо Пелузо[6], один из создателей итальянской коммунистической партии, арестованный в Москве в 1938 году, отправленный в Сибирь и расстрелянный 31 января 1942 года. Пелузо не только перенес преследования советского аппарата, но и был покинут руководством итальянской компартии, эмигрировавшим в Москву и ничего не сделавшим для его спасения, оставившим его умереть в одиночестве. Подвергаясь пыткам в течение пяти месяцев, этот мужественный политический борец оказался способен не назвать никого в своих показаниях. Вынужденный признаться в никогда не совершенных преступлениях, он тщательно избегал давать показания на других товарищей, находившихся в Москве. С типично неаполитанской фантазией он, когда политическая полиция пытками заставляла его называть имена, называл людей, находившихся в безопасности за границей или уже умерших или исчезнувших в Советском Союзе. И когда у него хватало на это сил, он после изматывающих допросов сразу же брал назад вырванные у него показания.

В памяти о холокосте называется праведником тот не-еврей, который помог еврею, чтобы подчеркнуть чувство ответственности *свободного,* с точки зрения расизма, человека, действующего в защиту *преследумого* расизмом. Человек отказывается от удобств и от привилегий, чтобы добровольно стать на сторону жертв. Таким образом это человек, готовый рисковать собственной жизнью ради свободы другого.

В Яд Вашем было недавно предложено распространить понятие праведника также на *еврея,* который помогает другому *еврею* в момент преследования. Солидарность одного человека другому в крайней ситуации требовала необычайной силы духа, потому что палачи намеренно создавали соперничество среди жертв, желавших выжить.

Примо Леви был первым, кто поднял этот драматический вопрос, когда хотел напомнить, что те евреи, которые лучше других защищали человеческое достоинство внутри лагеря в Аушвице, умирали первыми и что, к сожалению, утрачены следы их сопротивления[7]. Он писал с большим мужеством: «Выживали по преимуществу худшие, эгоисты, бесчувственные, жестокие, коллаборационисты, доносчики. Это не было абсолютным

---

[6] Didi Gnocchi, *Odissea rossa, la storia dimenticata di uno dei fondatori del Pci,* Einaudi, Torino 2001

[7] Примо Леви спрашивает: «Я мог бы выжить вместо другого, я мог бы занять чужое место, то есть практически убить.Спасшиеся в лагере не были лучшими, предназначенными к добру, носителями вести: я видел и пережил нечто, доказывающее прямо противоположное. Выживали по преимуществу худшие, эгоисты, бесчувственные, жестокие, коллаборационисты, доносчики. Это не было абсолютным правилом (нет и не было в делах человеческих абсолютных правил), но это все же было правилом… Выживали худшие, то есть наиболее приспособившиеся, лучшие все умерли». Primo Levi, *I sommersi e i salvati,* Einaudi, Torino 1986, pp.63-64.

правилом…но это все же было правилом. ..Выживали худшие, то есть наиболее приспособившиеся, лучшие все умерли».

Парадоксальным образом он сам чувствовал себя виновным, потому что однажды, мучимый голодом, он утаил от других заключенных ничтожные остатки пищи.

Эта сложная и противоречивая фигура жертвы, до сих пор мало разработанная в исследованиях о холокосте, является центральной в архипелаге гулаг, где у человека не оставалось выхода и где он вынуждался тюремщиками принять на себя ужасную ответственность за судьбу других людей, находившихся в той же самой ситуации.

В крайней ситуации (голода, холода, непосильного труда, болезни и унижения) заключенный должен был искать в себе силы, чтобы не стать самому звеном в цепи зла. Из этого экзистенциального опыта, замечает Шаламов, большинство людей выходили побежденными.

На шахтах Колымы лагерные надзиратели ставили людей перед невыносимыми моральными дилеммами. Они сталкивали их в ад унижения, где даже минимальный этический выбор вел к новому страданию и наконец даже к пожертвованию жизнью. Самое большое на что жертва могла рассчитывать – это попробовать не опуститься совершенно.

Именно в этом направлении надо вести поиски праведников внутри гулага. Не легко будет найти добрых людей, оказавших помощь другим, но можно будет рассказать истории людей, которые оказались способны не разложиться совершенно и которые разными способами избегали причинять вред другим жертвам.

Мы можем найти у трех писателей Льва Разгона, Варлама Шаламова и Густава Герлинга некоторые важные моменты для размышления над опытом морального противостояния внутри гулага.

Первая трудность для заключенного состаяла в невозможности понять причины преследования.

Лев Разгон рассказывает о душевной травме тех, кто, как он, верили в коммунизм и оказывались неожиданно в тюрьме безо всякой причины. Было ошеломляющим опытом осознать свое положение и освободиться от всяких иллюзий относительно достоинств этой системы.

Многие заключенные оказывались раздавленными и были не способны реагировать. Переходили от страха в начале к наивной надежде, что обвинения были лишь плодом недоразумения, но потом приходило бессилие и отчаяние, психологическая прострация, которая часто приводила к абсурдному чувству вины. Тюремщикам становилось легко унижать их и даже добиваться от них ложных признаний.

В Бутырской тюрьме один австрийский коммунист, перед расстрелом, объяснил Разгону, как надо вести себя с палачами: «Самое важное для вас, если вы хотите избежать морального краха, это перестать их считать товарищами, которые ошибаются, которые трагически заблуждаются, но все же товарищами.. Если вы будете продолжать это делать, ваша жизнь станет невыносимой и ваша смерть ужасной. Попробуйте посмотреть на все иными глазами. Ты коммунист, ты заключен в фашистскую тюрьму, ты пленник врага. У тебя нет никаких обязательств по отношению к ним, ты должен все время чувствовать себя хорошо – ты, а не твой палач или твой тюремщик. Обращайся с ними как с врагам! И ты увидишь, что тебе станет сразу гораздо лучше!»[8].

Другим драматическим испытанием в гулаге была защита собственного достоинства в жуткой борьбе за выживание.

В лагере инстинкт самосохранения быстро утверждается за счет попыток сохранить человеческое достоинство и заключенный должен изобретать каждый день новые способы, чтобы сопротивляться, сознавая, что защита самого себя может привести его прямо к смерти.

---

[8] Lev Razgon, *La nuda verità,* l'ancora del mediterraneo, Napoli 2000, p.211

Поэтому он должен установить с тюремщиком некий пакт: он вынужден уступить ему свое тело, но не до такой степени, чтоб разрушить его, должен принять унижение, чтоб не погибнуть, но стараться сохранить в целости свой человеческий дух. Каждая уступка требует пожертвования и трудное искусство сопротивления в гулаге состоит в том, чтобы избежать необратимых потерь для тела и для души.

Лев Разгон говорит очень хорошо о чувстве отчаяния, которое он испытал во время одного этапа, когда он был унижен одним из начальничков с автоматом, приказавшим ему вываляться в грязи. На какое-то мгновение он решил остаться стоять на ногах и бросить вызов наглости палача, но Александр, товарищ по заключению, заставил его передумать, чтобы не дарить напрасно свою жизнь этому тюремщику[9].

И позже он подсказал ему как преодолеть травму унижения, этот совет писатель не забывал во все годы своего заключения: «Когда зла нельзя избежать, его все же можно презирать».

Разгон понял на этом примере, что свое человеческое достоинство он должен защищать,не отвечая ударом на удар и доставляя таким образом удовольствие тюремщику, а сохраняя внутри себя чувство негодования.

Единственным возможным сопротивлением в гулаге было сопротивление мысли и души. Только в этом внутреннем пространстве палач мог быть отбит, если заключенному удавалось не поддаться разложению в глубине.

И как раз в этом центральный момент всей работы Варлама Шаламова, как это почувствовал с большой глубиной Густав Герлинг и показал в одном из посвященных ему рассказов[10].

Автор *Колымских рассказов* пришел к выводу, что надежда – это самая рискованная вещь для заключенного. Кто наивно верил в сострадание палачей и в солидарность зэков, шел навстречу самой тяжелой судьбе и был более всех унижаем начальничками и атакован заключенными[11]. Шаламов говорит об этом в рассказе, где один заключенный, получив посылку из дома, предлагает еду другому заключенному в знак дружбы, но тот его предает другим товарищам и те его избивают до потери сознания и делят между собой добычу[12].

И все же Шаламов, который понял, что значит смерть Бога и смерть человека на Колыме и который, в отличие от Примо Леви, не питал никаких иллюзий насчет искупления человечества, не поддался искушению покончить с собой и искушению самоувечья, как другие заключенные, отрезавшие себе конечности, чтобы избежать тяжелых работ.

Он сопротивлялся, как если бы сам он был последним человеком, которого надо спасти, сопротивлялся единственным возможным способом: запоминая.

Запоминать, пишет Герлинг, было потребностью сохранить в душе все перенесенные страдания, сохранить их до последнего дыхания, в противном случае наказанием была потеря самого себя.

Но запоминать зло для Шаламова не было простой работой историка, простым упражнением памяти – это предполагало внутреннюю силу, не позволявшую разрушить себя, дававшую возможность сохранить уважение к самому себе в условиях исчезновения вокруг всего человеческого.

В этом состоит различие между сегодняшним исследователем и свидетелем Шаламовым. Первый документирует прошлое и отвечает за свою интеллектуальную честность, второй может запомнить Зло и защитить правду только, если он не продал свою человеческую сущность. Тот же, кто уступил моральному давлению палачей , скорее готов забыть. Вот почему еще сегодня есть много бывших заключенных гулага, которые предпочитают хранить молчание или не имеют смелости рассказать всю правду. Очень трудно преодолеть стыд,

---

[9] Там же, стр. 148-149

[10] Gustav Herling,"Il marchio, l'ultimo racconto di Kolyma" in *Diario scritto di notte,* Feltrinelli, Milano 1992, p.165

[11] Gustav Herling, *Breve racconto di me stesso,* l'ancora del mediterraneo, Napoli 2001, p.51

[12] Varlam Shalamov, "Il pacco da casa" in *I racconti di Kolyma,* Einaudi, Torino 1999, p.28-29

причиненный палачами, и признаться, как Примо Леви, что ты стал жертвой внутри серой зоны Зла.

Упражнение памяти таким образом было ужасным испытанием внутри гулага. Герлинг говорит, что это было как нести крест на голгофу.

В рассказе *Протезы* [13] Шаламов вкладывает в уста героя, стоящего голым перед надзирателем, который спрашивает, что еще у него есть сдать, слова о том, что душу он не сдаст никогда. Восклицанием «Нет, душу я не сдам» писатель утверждает, что его жизнь держится на крошечном пространстве человеческого достоинства, в котором он все еще чувствует себя совершенно независимым. Вот почему он ничего не забудет никогда и всегда будет сильнее того палача, который собирает протезы и тела.

Герлинг определяет эту реакцию как «сущность великого инстинкта жизни»[14].

Это ситуация последнего человека, защищающего человечество.

И даже когда Шаламов вернулся с Колымы, он сохранил эту установку на одиночество.

«Он писал свои рассказы, не заботясь об их судьбе. Он их писал, чтобы они сохранились в природе, чтобы они были, не важно для кого, не важно где, не важно как»[15].

Самым трудным испытанием для зэка было отношение с другими заключенными, в условиях когда все заставляло человека быть врагом другого, чтобы выжить.

У заключенного остается очень маленькое пространство для маневра: чтобы продлить свое существование среди утонченной злобы он вынужден красть еду у ближнего, спихивать на других самые тяжелые работы, продавать жизнь товарищей тюремщикам и блатарям, постоянно шантажирующим его.

Речь идет не о решении, которое надо принять один раз, а о выборе, который приходится делать постоянно в течение бесконечного срока заключения. Механизм гулага создает радикальный переворот кантовской этики. Человек как самоцель – это роскошь, которую никто себе не может позволить, потому что лагерь заставляет использовать другого человека как средство продления собственной жизни.

Вот почему моральный вызов – это не вызов добра, а попытка найти почетный выход, не причиняющий слишком большого зла другим заключенным, всегда слабым и готовым поддаться разложению.

Разгон вспоминает о том, какое презрение он испытал, когда судья Гадай показал ему обвинительные показания против него, данные тем, кого он считал одним из лучших своих друзей. Он еще не успел прийти в себя от изумления после такого предательства, как следователь уже предложил ему подписать показания против друга. Для Разгона было очень трудно не поддаться уговорам судьи[16].

За отказ он заплатил продлением срока заключения.

Воздержаться от Зла в отношениях с другими заключенными это часто так трудно и невыносимо, что и Герлинг, и Шаламов, и Разгон приходят к заключению, что только полное отстранение от других может дать спасение и освободить от необходимости причинять зло.

---

[13] Varlam Shalamov, “Le protesi”, in *I racconti*…op. cit. p. 719

[14] Herling, *Diario*… op. cit. p.167

[15] Там же.

[16] При холокосте доносительство в большинстве случаев это акт свободного человека, продающего жизнь еврея ради денег или в силу своих антисемитских убеждений, в гулаге же это часто якорь спасения для заключенного, жертвующего своим товарищем чтобы спастись от нового унижения или получить в лагере менее тяжелую работу. Тот, кто в гулаге воздерживается от этого, идет навстречу ужасной судьбе и поэтому мы должны считать его *праведником.*

Разгон вспоминает драму Бориса и Глеба[17], двух чешских братьев, которые решили не говорить ни с кем, чтобы избежать совращения.

Герлинг пишет на последней странице своих воспоминаний о гулаге, что уничтожение всего, что связывало его с другими, было условием выживания и воскресения. «Я забыл все: лагерь, заключенных, мою семью и моих друзей. Я думал только о себе самом. Я умирал тогда в этом моем воскресении»[18].

Шаламов восхвалял на Колыме моральную ценность одиночества, залог души. Чтобы спасти человека, сказал бы Кант, нужно было как можно меньше общаться с другими людьми. Чтобы не попасть в ловушку зла, поставленную логикой лагеря, нужно было стараться жить и умереть в одно и то же время.

Почему мы должны помнить о праведниках темных времен человечества?

Прежде всего потому, что они сохранили среди самих жертв и затем в наше время веру в человека.

Эту их силу очень точно почувствовала писательница Этти Хиллесум, которая перед депортацией в Аушвиц, в своем дневнике записала удивительное утверждение, видя уныние еврейской общины в Амстердаме.

«Достаточно чтобы существовал один единственный человек, достойный этого имени, чтобы верить еще в людей. Наличие одного единственного порядочного немца позволило бы нам еще не терять надежду и не ненавидеть весь народ»[19].

Такое же облегчение испытал Лев Разгон в Ставропольской тюрьме, когда встретил тюремщика, который позаботился о нем как человек. Это была женщина, ее звали Клавдия[20], она не только помогла облегчить страдания, которые испытывал Разгое и его жена Рилка, содержавшаяся в той же тюрьме, но взялась поддерживать связь между супругами, потому что была тронута их любовной историей.

Клавдия заплатила дорогую цену за свое слишком снисходительное поведение, она была разжалована и потеряла все те привилегии, которыми пользовалась, но ее гуманный жест совершил маленькое чудо: позволил Разгону вновь обрести веру.

И в гулаге тоже случалось встретить тюремщика не похожего на других и это меняло всю атмосферу заключения. «Тюрьмы нет, есть лишь тюремщики». Каждый может выбрать как себя вести. Такова была его, Разгона, философия.

Вероятно не было другого большого писателя, писавшего о гулаге, который бы старался, как Разгон, зафиксировать любой самый малый акт человеческого сопротивления, замеченный им во время его семнадцатилетнего заключения. Он хотел передать свою веру в человека, несмотря на то, что видел ад.

Праведники, как это хорошо понял Шаламов, в конечном счете являются победителями (хотя им и не удалось изменить ход истории), потому что они дали новым поколениям моральный пример.

Их свидетельство указывает путь нашему будущему, дает уроки, позволяющие увидеть мир иными глазами.

Память о праведниках холокоста имеет сегодня важное значение. Судьбы Пешева, Шиндлера, Перласки живы в наше время, потому что дают нам нормы поведения перед лицом расового преследования или антисемитской кампании. Если человека оскорбляют из-за его происхождения или из-за его культуры и религии, мы можем найти смелость, можем рискнуть и защитить жизнь и достоинство этого человека, помня о Перласке из Будапешта.

---

[17] Lev Razgon, *La vie sans lendemains,* Pierre Horay editeur, Paris 1992, p-271

[18] Gustav Herling, *Variazione sulle tenebre. Conversazione sul male,* L'ancora del mediterraneo_ Napoli 2000, p.50

[19] Etti Hillesum, *Diario. 1941-1943,* Adelphi, Milano 1985, p.29

[20] Razgon, *La nuda…,* op. cit. p.179

Память же о праведниках гулага, если она станет наконец всеобщим достоянием, перенесет нас в иное измерение. Помнить о Шаламове или о жертве Эдмондо Пелузо значит заставить себя не поддаваться никакому давлению , толкающему нас причинять зло другим.

Эти удивительные фигуры являются для нас точкой морального отсчета. Перед лицом режима, который старался сделать их доносчиками и разложить их душу, они нашли силу пожертвовать собой, чтобы не повредить другим. Они довели до крайнего предела в условиях советского тоталитаризма сократовскую максиму: «Лучше претерпеть несправедливость, чем совершить ее».

Праведники гулага учат нас, что перед лицом режимов, которые представляют себя как абсолютное Добро, у людей есть всегда средства разоблачить ложь и смотреть на реальность без идеологического фильтра. Решимость Руссе и настойчивость Корнели в одиноких попытках расшевелить общественное мнение в вопросе о гулаге оставили нам в наследство моральный императив: разоблачать без умолчаний преследования, даже если мир по идеологическим мотивам или из государственных интересов не хочет их видеть.

Память о праведниках открывает нам новый горизонт веры и надежды. Даже если зло снова и снова возникает в истории, как это с горечью констатировали Примо Леви и Шаламов в своих последних произведениях, даже если международные организации не внимательны в отношении новых преступлений, даже если зло предстает во все новых формах, как это показывает опыт терроризма, даже если демократия оказывается бессильной и общественное мнение снова склонно верить в обновленные идеологические мифы, в конце концов именно отдельные люди с их совестью находят силу восстать и создать маленькую преграду злу.

Личная ответственность – это единственное противоядие. Итории никогда не будет конца, никогда не будет чистого общества, способного искоренить из себя порочный механизм крайнего зла. Будут только праведные люди, которые будут стараться противостоять и сопротивляться. Только в этом единственная верная надежда для человечества даже после Колымы и Аушвица.

Перевод с итальянского Юрия Мальцева

Витторио Страда

Vittorio Strada

Полнота памяти и историческое сознание. Век тоталитаризмов и духовное преображение Василия Гроссмана.

Трудно вообразить, как наши потомки будут думать о стоящем у нас за спиной веке, какой приговор вынесут о долгом и извилистом пути, влившемся в новое тысячелетие, которое во многих отношениях продолжает прошлый век. Несомненно, он будет расцениваться как поворот, как глубокая метаморфоза по сравнению с предшествующими столетиями, хотя его корни там, как нечто, лежащее между концом эпохи замыслов и ожиданий и началом уже другого времени, отмеченного разочарованием и неопределенностью. Могут возразить, что новое время как таковое - это эпоха «отрезвления» (в веберовском смысле), эпоха рациональности, развеивающей старые верования и новые иллюзии, но ведь именно в двадцатом веке восторжествовало мифологическое мировосприятие, обусловленное не архаическими пережитками, а новым фидеизмом.

Этот парадокс нельзя объяснить, как у Лукача, «разрушением разума», вызванным социально-классовым вырождением буржуазии, которое привело к высвобождению темных иррациональных сил, якобы призванных противостоять восхождению другого класса – пролетариата, мнимого носителя светлого будущего. Не объяснить этого и «диалектикой Просвещения», как это делают Хоркхаймер и Адорно, то есть гипертрофией разума, понимаемого сугубо инструментально, который, восторжествовав в эпоху энциклопедистов, в дальнейшем превратился в собственную противоположность, породив новую мифологию.

Дело скорее в радикальном перевороте, охватившем глобальную реальность и вытолкнувшем на мировую арену, где ранее царил Запад со своими религиозными и светскими ценностями, остальное человечество, роль которого все более и более возрастает, что придает новый характер великой драме Истории. Пока драма эта завершилась утверждением либерально-демократических принципов западной цивилизации, что заставило некоторых заговорить о «конце Истории», хотя эта драма вовсе еще не подошла к финальному акту и новые конфликты усложняют ее сюжет.

Неоспоримо, что в двадцатом веке, как бы его ни оценивать, научно-технический прогресс, благодаря которому материальная жизнь значительной части человечества улучшилась, сопровождался этико-политическим регрессом и деградированием духовной жизни главным образом той части человечества – европейского Запада, которая была и является движущей силой этого процесса, и возникновением новых форм варварства. Обозначив эту деградацию и это варварство словом «тоталитаризм», мы можем порадоваться, что его яды обезврежены в конце концов демократическими противоядиями, носителем которых является сам Запад, показавший тем самым, что организм, здоровый в своем существе, способен преодолеть собственные недуги. Однако было бы опасно считать, что тоталитарная травма прошла бесследно и не может заново предстать под другими личинами.

Профилактическая мера против такой опасности состоит, в первую очередь, в анализе былой тоталитарной болезни и в отказе от ее забвения. Оставим сложный вопрос о природе тоталитаризма и о том, что отличает его от всевозможных форм традиционного авторитаризма или

деспотизма. Скажу лишь, что особенность исторического периода, начавшегося в двадцатом веке с тоталитарной патологии, - в частности в том, что были преступлены Пределы насилия. Спору нет – вся история состоит из насилия, и было бы излишне напоминать здесь об особенно кровавых и жестоких эпизодах, которыми человечество запятнало себя и на Западе, и на Востоке. Но в прошлом столетии, насыщенном войнами и революциями, мы наблюдаем пароксизм насилия, порожденного не столько новыми техническими средствами уничтожения, которые, конечно же, безмерно умножили возможности убийства и разрушения, сколько, главным образом, новыми идеологиями, для которых уничтожение истинного или мнимого врага является первейшим условием утверждения их идеалов Порядка и Справедливости, то бишь «нового мира» и «нового человека», каким бы ни было это замышляемое новое.

С этими «новшествами» связан возникший в двадцатом веке неологизм «геноцид», понимаемый как массовое уничтожение, ставящее целью окончательное устранение какой-либо группы по рассовому, этническому, социальному, религиозному признаку ради утверждения идеала однородной и чистой общности. Немецкие лагеря и Гулаг стали основной формой осуществления этого нового типа массового истребления. Можно сказать, что опыт Двадцатого века продемонстрировал несостоятельность двух главных присущих XIX веку светских или атеистических суррогатов трансцендентных религий: как позитивистской и буржуазной «религии прогресса», так и марксистского и пролетарского «культа революции». Живы и обновляются именно религиозная вера и интеллектуальный скепсис, как перманентный поиск.

Как тоталитаризм, воплощающий эти идеологии двадцатого века, в корне отличается от автократий прошлого, так и физическое и духовное насилие тоталитаризмов, качественно и количественно в корне отлично от насилия прошлых эпох и привело к чудовищному росту в мире насилия вообще. Новый терроризм есть плод гипертрофии насилия, рожденного в прошлом веке: это терроризм, осуществлявшийся тоталитаризмами на государственном уровне и нашедший новое продолжение в фундаментализме наших дней. Возможно, старый термин «терроризм» уже неадекватен и точнее было бы говорить о «хорроризме», если бы не еще одно, тоже ужасающее явление: привыкание к кошмарам терроризма нового типа, а то и его оправдание.

Двадцатый век - век массового Гипернасилия, не только чисто физического, повлекшего за собой десятки миллионов жертв, но и насилия духовного, идеологического, в результате которого была перейдена еще одна граница: предел лжи. Как насилие переплетено с тысячелетним историческим процессом, так и ложь и обман сопровождают этот процесс с использованием разнообразных форм мистификации. Не только в двадцатом веке утвердилась Мегалож, подчинив себе огромные массы, а также мнимую интеллектуальную элиту, которая часто была ее автором и орудием. В наши дни тоталитарная Мегалож в основном кажется преодоленной благодаря демократическому распространению информации, которая, при всех ее несовершенствах и изъянах, не имеет ничего общего с тоталитарными системами дезинформации. Но сегодня и в открытом обществе существует опасность мистификации, прямо касающейся прошлого, а косвенно и настоящего. Это стихийное беспамятство и беспамятство навязанное, забвение того, что было или, что куда хуже, фальсифицированная память о былом. Все равно, стирается ли память о прошлом, особенно

ближайшем, которое еще живо в настоящем, по лени, угасает ли она в вынужденном молчании, искажается ли искусственно, - мистификация не прекращается и в демократическом обществе, которое именно в силу такого забвения менее демократично, чем себя считает. Этому упорству Мегалжи необходимо противопоставить Правду, понимаемую не как монологический Абсолют, а Правду историческую, которая предстает во всем своем конкретном многообразии через поиски, диалог и сравнение, и только в постоянном пересмотре результатов можно обогатить ее новыми гранями и перспективами, сохраняя интеллектуальную честность, которая являтся главным врагом любой тоталитарной идеологии и практики.

Истина и справедливость нерасторжимы, и русское слово «правда» содержит в себе оба эти понятия, хотя, к сожалению, оно в качестве названия печально знаменитой советской газеты стало символом Гипернасилия и Мегалжи самого главного тоталитаризма XX века, тоталитаризма основанного на извращении и правды, и справедливости. Я упоминаю здесь об этом почти совершенном, или наименее несовершенном по сравнению с другими, тоталитаризме не для того, чтобы анализировать его идеологические и политические структуры. Просто я хочу коротко рассмотреть один случай, вскрывающий, каков был этот тоталитаризм в реальности. Имеется в виду «случай» Василия Гроссмана, автора книги «Жизнь и судьба». Все необыкновенно: и книга, и ее автор. В определенном смысле, жизненный путь Гроссмана повторяет биографию других, которые от приятия коммунизма перешли в оппозицию к нему и из лояльных подданых советского режима превратились в его беспощадных критиков. Но случай Гроссмана поразителен тем, что он один из многих русских евреев, сжившихся с советской действительностью, как бы вытеснил из сознания свое еврейство и стал и считал себя частью не столько русской, сколько советизированной русской культуры, внутри которой в середине 30-х годов занял прочное положение как писатель. Литературное крещение Гроссмана произошло самым что ни на есть советским образом: на писательство благословил его Горький, он был верен канонам как раз в то время провозглашенного «социалистического» реализма. Для Гроссмана это не было подчинение из низменных интересов, он совершенно естественно включился в новый курс в литературе, объявленный по воле Горького, за спиной которого стоял не кто иной, как Сталин.

Второй этап биографии Гроссмана – это его участие в антигитлеровской войне в качестве специального корреспондента армейской газеты «Красная звезда», где в течение всей войны печатались его статьи и был опубликован роман «Народ бессмертен». Все это, естественно, в духе находившейся у власти идеологии. Третий этап начинается с публикации в 1952 году первой части большой эпопеи «За правое дело» на тему войны с фашизмом. В атмосфере паранойи последних сталинских лет эта публикация не вызвала официального одобрения, как раньше, а обрушила на автора шквал абсурдных обвинений, от которых в те времена не были защищены и литературные ортодоксы. Таким образом, вплоть до этого момента все шло самым естественным, с точки зрения советскости тех лет, путем, естественным был также эпизод, составивший, так сказать, вершину

официальной карьеры Гроссмана и одновременно запятнавший ее, о чем он впоследствии горько сожалел. Во время пресловутого «заговора убийц в белых халатах», а именно, сфабрикованного органами в ходе антисемитской кампании дела группы врачей-евреев, облыжно обвиненных в намерении отравить руководителей партии, Гроссман в числе других поставил свою подпись под открытым письмом в «Правду», требовавшим примерного наказания мнимых отравителей, - в надежде, что это поможет спасти остальных евреев от повального преследования. Впрочем, террор, достигший в то время в СССР своего апогея, не оставлял ему никакого выхода.

Затем последовала метаморфоза, открывающая финальную фазу биографии Гроссмана: этот безукоризненно советский писатель, советский не из двурушничества, а по естественному складу, написал самое что ни на есть антисоветское произведение, где еще до Солженицына не только разоблачал ужасы Гулага и других форм коммунистического насилия, но и дошел до сопоставления коммунизма с нацизмом. Более того, увидел их родство, причем сделал это не в полемическом запале, а в выстраданном убеждении, благодаря которому его непримиримый антифашизм естественно вылился в непримиримый антитоталитаризм. Речь идет о второй части эпопеи «За правое дело» - романе «Жизнь и судьба», являющемся по сути прямой противоположностью первой, несмотря на одних и тех же героев.

Поражает в этой истории и то, что Гроссман не оставил рукопись такой крамольной книги в письменном столе, а отнес ее в редакцию «Знамени», одного из крупнейших советских толстых журналов, откуда рукопись немедленно была передана в КГБ. Комитетчики вломились в квартиру Гроссмана, чтобы изъять все копии, не оставив и следа от этой взрывоопасной книги. Но какой же безграничной должна была быть вера писателя в серьезность антисталинских намерений Хрущева, если он обратился к хозяину Кремля с письмом, в котором просил «освободить» рукопись и дать разрешение на ее публикацию. Письмо осталось без ответа, зато партийный идеолог Суслов пригласил этого странного антисоветского советского писателя на собеседование и не стал угрожать арестом, а милостиво, в соответствии с «оттепельным» духом времени, видимо, и сам обескураженный простодушием писателя, объяснил тому, что книга, выйди она в свет, сыграла бы на руку врагу, нанеся вред не только советскому народу, но и всем борцам за коммунизм за пределами Советского Союза. Суслов сравнил книгу с «атомными бомбами, которые наши враги держат против нас наготове» и прибавил, что такой роман можно напечатать не раньше, чем через 200-300 лет. Он промахнулся с предсказанием, потому что не прошло и двадцати лет, и «Жизнь и судьба» вышла на Западе, а за десять лет до того в 1971 году, на том же Западе был опубликован еще один роман «нового» Гроссмана, «Все течет...», в известном смысле дополняющий историко-философскую часть «Жизни и судьбы». Неизданной осталась подготовленная Гроссманом совместно с Ильей Эренбургом большая книга, в которой были собраны свидетельства о нацистском геноциде на оккупированных советских территориях: запрещенная сталинской цензурой, эта «Черная книга» смогла увидеть свет в России и на Западе только после падения

коммунистического режима. Гроссман умер в 1964 году, в одиночестве, отторгнутый за пределы литературной среды, правила которой он осмелился нарушить даже в период «оттепели», как в открытую нарушили их два других писателя – Борис Пастернак и Александр Солженицын.

История жизни Гроссмана как нельзя лучше передает суть тоталитарного мира в его наиболее воплотившемся, коммунистическом, варианте. Этот мир Гипернасилия и Мегалжи, обреченный рухнуть, не смог загасить искру свободы даже в тех, кто были его неотъемлемой частью. И здесь невольно приходит на память имя Андрея Сахарова, его твердость, с какой он отказался от своих положенных за научные заслуги привилегий и выбрал путь непримиримого и гонимого оппозиционера. Во всех этих случаях тоталитарная система продемонстрировала непредвиденную слабость: она недооценила внутреннюю энергию того, что называется совестью, голос которой, угасший или задушенный во многих, у немалого числа людей оказался неодолимым. В случае Гроссмана пробудило совесть и придало ему способность трезво мыслить его еврейство, долгое время в нем молчавшее и ожившее, когда Гроссман своими глазами увидел гитлеровские зверства, одним из первых посетив в качестве военного корреспондента один из нацистских лагерей уничтожения. А дальше, в результате медленного, но неостановимого процесса совесть писателя и осознание им своей принадлежности не только к еврейству, но и ко всему человечеству привели его к тому, что он распознал и отверг еще один тоталитаризм – коммунистический, составной частью которого поневоле был и сам. Для Гроссмана сравнение двух тоталитаризмов, проводимое на наиболее ярких страницах «Жизни и судьбы», было не просто историко-компаративным приемом, а жизненной необходимостью, выстраданной правдой, мучительным прозрением, к которому он с честной отвагой хотел приобщить прежде всего своих соотечественников, тех советских людей, которые, как и он, верили и боролись и в ходе войны против фашизма постепенно становились и антикоммунистами, что поначалу выражалось в форме антисталинизма.

Гроссман, как я уже говорил, принадлежал к русско-советской культуре, но ядро свободолюбия подлинной русской культуры взяло в нем верх, разорвав лживую оболочку советскости. В «Жизни и судьбе» Гроссман толстовски-эпичен, но прельщает его скорее чеховская простота, чеховская героически-ироничная скромность, чеховская способность видеть вещи и людей в их обыденной правде, вне громогласных идеологий, которые своими искусственными построениями давят на жизнь, ставя препоны на ее изменчивом пути. Особенно близок был Гроссману чеховский принцип, который этот писатель объявил не для других, а стремился применить прежде всего к себе. И этого принципа Гроссман придерживался в собственной жизни и судьбе: речь идет о призыве Чехова выдавливать из себя по капле раба, который сидит в каждом из нас. Задача нелегкая, но только в результате такого выдавливания, благодаря обретенной свободе, возможно подлинное общение и деятельная солидарность с другими. На этом пути Василий Гроссман завоевал свою свободу и вошел в сонм Праведников.

Стать свободным – вот задача, стоящая перед теми, в ком горит искра совести и сознания, как в Василии Гроссмане, чье духовное преображение приобретает значение образца, как и духовная эволюция всех тех, кто сумел стать свободным. Если тоталитаризм во всех его разновидностях означает прежде всего внутреннее, а потом уже внешнее порабощение, то свобода, как освобождение, есть его противоположность. В этом урок, который нам могут преподать Гроссман и «инакомыслие», понимаемое как духовная независимость. А этой ценностью нужно дорожить и в демократическом обществе.

(Traduzione di Clara Strada Janovic)

Convegno Internazionale
I GIUSTI NEL GULAG
Il valore della resistenza morale al totalitarismo sovietico

RELAZIONE
Ирина Сиротинская

Ответственность , этика и слово В.Т.Шаламова

Варлам Тихонович Шаламов один из тех редких людей , а тем более – писателей , упомянутые качества которых существуют не в декларативной ,
в действенной форме. Ответственностью писателя он считал именно художественную правду описываемого. Часто говорил он : ”Писатель – судья времени.” Но судья , не произносящий слова с трибун (как обесценились теперь слова!). Писатель пропускает через свою душу , сердце , разум , через всего себя - через память души и память тела , как через горнило , и правда в огне таланта выходит , чтобы произнести свое слово о действительности. Слова правды – памяти , правды – истины , правды – справедливости.

В письме к своему другу Якову Гродзенскому 12 декабря 1964 г. он пишет : ”Совершив столетний оборот , русское время подходит в своей шкале к нравственному нулю , как накануне 60-х годов XIX века. И возможно , что нужно начать с личного примера , с оценки совестью каждого своего поступка , а в нравственном совершенствовании видеть единственный рецепт выбора – чтобы никогда не повторялось то , что было с нами.”
12 января 1965 г. (ему же)
”Главное в человеке , редчайшее и наиболее важное – это его нравственные качества… , и роль морального примера в живой жизни необычайно велика.”
Я занимаюсь текстами Шаламова , а до этого 16 лет знала его и была его другом.
Мне совершенно ясно , что Варлам Тихонович был именно таким моральным примером и как человек , и как писатель. Мальчиком 21 года он вступил на путь борьбы за справедливость , участвуя в антисталинских демонстрациях. Нет , не контрреволюционных. Он считал , что это Сталин разрушает партию и нарушает принципы социализма. Получив для вразумления 3 года концлагерей в Вишере (Сев. Урал) , он считает , что жизнь его началась удачно : отказавшись отвечать на вопросы следователя , посаженный в одиночку Бутырской тюрьмы , он счастлив , что не изменил ни на йоту ни себе , ни товарищам.
Едва вступив в ворота лагеря , он пишет письмо в ЦК ВКП(б) и ОГПУ о том , что репрессии отрывают партию от народа , что она становится партией бюрократии. Поступает так , как доложен поступить , хотя в лагере он – один , окружен уголовниками , белогвардейцами. Но этот мальчик и без опоры на единомышленников действует так , как считает должным.
За письмо ему добавляют 5 лет ссылки , но самое забавное , что пока длилась эта переписка , его срок кончился (3 года) , и он уехал в Москву , а по всему Северному краю еще долго шли поиски ”скрывшегося с места ссылки” , а он жил под носом у ОГПУ , писал в журналах , женился…
Только в 1937 году ему припомнят эту несостоявшуюся ссылку.
Этот первый лагерь был суровым уроком для юноши.
”Что мне дала Вишера? Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой , один , без друзей и единомышленников, я выдержал пробу - физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни.” Так выковывался характер человека и будущего писателя.
А впереди его ждала Колыма , всего пять лет вольной жизни отпустило ему ОГПУ.

Глубоко чувствующий , сострадающий людям и сопротивляющийся миру , где пришлось увидеть высоты души человеческой и бездны людских пороков – таким он ступил на смертные тропы Колымы.
В заметках ”Что я видел и понял в лагере” он пишет : ”Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры , цивилизации. Человек становился зверем через три недели – при тяжелой работе , холоде , голоде и побоях… (А может быть он становится зверем , когда ему дают оружие и разрешают убивать невинных)
Горжусь , что я решил в самом начале , еще в 1937 году , что никогда не буду бригадиром , если моя воля может привести к смерти другого человека , если моя воля должна служить начальству , угнетая других людей – таких же арестантов , как я…

И физические и духовные силы мои оказались крепче , чем я думал - в этой великой пробе , и я горжусь , что никого не послал на смерть , на срок , ни на кого не написал доноса…"
В рассказах "Бесстрашие" , "Тачка" он называет силу , давшую ему волю к сопротивлению.
"Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой , открытой форме , без художников , литераторов , философов , экономистов , без историков. Арестант на предложение "давай" отвечает всеми мускулами – нет. Это есть и физическое , и духовное сопротивление…
На государство , которое безвинно посадило меня в лагерь и убивает холодом , голодом , побоями , - на такое государство я стараться работать не буду. Я буду выходить на работу (отказчиков от работы расстреливали) , но работать буду плохо. Это и есть "лично мое собственное сопротивление"." Оно дало опору и сопротивлению духовному – он сберег в себе человека , сберег себя от растления духовного.
В лагере встречались праведники : Федор Лоскутов , врач , его заступничество (о котором не знал Шаламов) перед воровским "авторитетом" спасло жизнь приговоренному ворами Шаламову : он возвращал симулянтов-блатарей обратно на этап , работая в приемном отделении больницы (уже после 1947 года), Георгий Демидов , который ясно понимал , что делают с ними и твердо держался в лагере.
Шаламов часто говорил : "Богу не нужны праведники – они проживут и без Бога. Богу нужны раскаявшиеся грешники." Но людям . людям нужны праведники , нравственный пример , на который можно опереться. Именно потому считал обязательным Шаламов соответствие слова и дела.
Жестокий путь посылал Бог праведникам : один срок сменялся другим , один забой другим. Вольготно жили в лагере только воровские авторитеты,
отнюдь не раскаявшиеся. Но праведники и на них имели влияние. Врач Федор Лоскутов , считавший всех заключенных "несчастными" , умел пробудить в воровской душе то ли память о родном деревенском доме , о детстве , о матери. Ему и самому издали светило детство деревенское , голодное , босоногое , но в кругу односельчан , которые не дадут пропасть , накормят , научат ремеслу – поставят на дорогу.

"Я не верю в литературу , не верю в ее возможности по исправлению человека , опыт гуманистической русской литературы привел к кровавым казням XX столетия перед моими глазами.
Я не верю в возможности кого-либо предупредить , избавить от повторения. История повторяется , и любой расстрел 37 года может быть повторен.
Почему же я все-таки пишу?
Я пишу для того , чтобы кто-то в моей , очень далекой от лжи прозе , читая мои рассказы , всякий смог сделать свою жизнь такой , чтобы доброе что-то сделать хоть в малом плюсе. Человек должен что-то сделать.("Из записных книжек")"
"Рак равнодушия" (из письма А.Кременскому) надо вырезать скальпелем хирурга-писателя.
Своим делом он считал искусство.
"Искусство требует соответствия действия и сказанного слова , и живой пример может убедить живых к повторению – не в области искусства , а в любом деле. Вот какие нравственные задачи ставить – не более. Учить людей нельзя." ("Из записных книжек")

Я хорошо знала Варлама Тихоновича , могу сказать с полной ответственностью : он был таков , что стыдно при нем было бы жить недостойно . быть слабым , невозможно быть жестоким и злым , и лживым.
Не зря Солженицын называл его своей совестью.
К тому же , Варлам Тихонович обладал редкой проницательностью , видя людей насквозь , их себялюбие , хитрость , стремление "ловчить на чужой крови" , делая карьеру.
Праведники делают атмосферу жизни чище , словно озонируют ее. Пусть немногих они вдохновляют , но те немногие передадут свое знание и ощущение другим. Праведники необходимы на земле сейчас тем более , чем более жестоким , безжалостным становится мир , а понятие греха уходит из жизни. О нем и не думает никто , убивая детей и стариков во имя корыстных целей.
Вот строки его письма Б.Пастернаку 1953 года , еще с Колымы.
18 марта 1953 года :
"Корень поэзии в этике , и мне подчас кажется , что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи…"
28 марта 1953 года :

”Задача поэзии – нравственное совершенствование человека – та , та самая задача , которая стоит в программе всех социальных учений , спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий.”
Еще не освобожденный , еще из мира мороза , бесправия и зла он пишет 24 декабря 1952 года :
”Ведь с юности думалось , как бы принести хоть какую-нибудь пользу , недаром прожить жизнь , сделать что-то , чтобы люди были лучше , чтобы жизнь была теплей и человечней.”

Он находит свой путь в жизни – в бескомпромиссной , неприкрашенной правде ”Колымских рассказов” , которую люди должны знать , чтобы попытаться жить по законам справедливости и добра. Надо предупредить людей – повторение террора возможно , уничтожение невиновных , мирных людей возможно.(Это мы видим и в наши дни.)
”Но уж если ты видел – надо сказать правду , как бы она ни была страшна.” (А.Солженицыну , ноябрь 1962 года , по поводу его ”облегчения” изображения лагерей)
Как писатель он полагает необходимым писать только правду , не смягчая ее ни в каких целях – ни чтобы проскочить цензуру , ни чтобы угодить ”правозащитникам” на Западе. Миллионы мертвецов требуют только правды.
В письме Ф.Вигдоровой 16 июля 1964 года на ее восхищенное письмо он отвечает : ”Вы хотите знать , почему Колымские рассказы не давят , не производят гнетущего впечатления , несмотря на их материал… Мне кажется , дело тут в силе душевного сопротивления началам зла , в той великой нравственной пробе , которая неожиданно , случайно для автора и его героев , оказывается положительной пробой. ”
Он отказывается стать бригадиром , выбивать план из своих умирающих товарищей … ”лучше , думаю , умру”. Его сопротивление системе – личное , в 1937 году не было восстаний. Контингент состоял из невинных людей , не державших никогда оружия в руках. Он не доносил , не стучал , спасая свою жизнь всеми средствами.

Себя он не называл праведником (хотя был им , конечно) , говорил только :
”Я никогда не был вольным , я был свободным во все взрослые годы моей жизни”. (рассказ ”Необращенный”)
Эта внутренняя свобода , сохраненная в ледяном аду , позволила ему сохранить верность правде – истине и стать писателем – свидетелем и судьей времени.

Варлам Тихонович не принимал позы пророка , считал ,что поучать людей словами нельзя , не подтверждая слов поступками , личным примером.
В будущем он не видит чистого неба. В письме А. Кременскому (1972 год) он пишет : ”И не будет никакого сопротивления – только удар вооруженного противника…” (вспомним Сербию , Афганистан и Ирак)
Предупреждает он и об опасности ”блатарской инфекции” , которая может охватить мир , как чума : забвение христианских заповедей , гуманной морали , право сильного и жестокого , преступно попирающего заповеди Христа и законы человеческие. Чудовищная криминализация России подтверждает его предвидение.
Но эти мысли не высказываются им ”сверху вниз” , как мысли непогрешимого человека. Суждение о жизни возникает из художественного ее изображения. Именно искусство , талант делает неопровержимым слово писателя , одушевляемого своей совестью , которую он называет ”адептом Бога” .
И Иисус Христос говорил : ”Царство Божие внутри нас.”

Готовится к выходу в свет книга ”Новое о Шаламове” – его воспоминания,
записные книжки . переписка. Она многое откроет читателю. Нет , он не ”Каменный Варлам” , как называл его один поэт…Человек , глубоко сострадающий людям.

Террор XXI года , превращающий в мишени города и страны , мирных людей , детей , рожающих женщин и стариков подтверждает трагическое предвидение Шаламова. 22 января 1954 г. он пишет Пастернаку : ”Когда солдатчина , военщина начинает править миром , мне кажется до боли , что если это пойдет так дальше – то будет Третье пришествие и начнется история нового , второго христианства. В самом христианстве все дело в пришествии , в явлении Бога в быт….
Поэт...- совесть времени , его неподкупный судия.”

Варлам Тихонович , кажется , познал все виды насилия государства над человеком : бесправие – ему отказывают в 1923 г. в путевке в ВУЗ , а когда он поступает в МГУ , то в 1928 г. его все-таки исключают из университета как сына священника .
1929 – 1931 г.г. – первый арест и лагерь на Северном Урале.
1937 – 1951 г.г. – лагерь. 5 лет КРТД . Колыма .Золотые забои ,

угольные шахты. Спасает поступление на фельдшерские курсы в 1946 г.
Смерть пощадила его ради памяти о тысячах погибших.

1943 г. – суд , 10 лет за антисоветскую агитацию.

1953 г. – выезд на материк без права жить в больших городах.

1956 г. – реабилитация по делам 1937 и 1943 гг. Но он под жесточайшей цензурой до смерти. Вышло пять крохотных бумажных книжечек , ”стихов – инвалидов” :

У моих стихов – инвалидов
Искалеченные тела …

Итак , сколько же лет он прожил , не зная притеснений , насилия в любом виде .
Только детство – до 1918 года . 18 –й год - уже еженощные обыски , ”уплотнения” , выселения . 10 лет из 75 - свободной жизни. И этот человек написал , что ”был свободен все взрослые годы своей жизни”. И он не ощущал себя мучеником. Больной , слепой , он чувствовал себя Победителем !

”Я прожил жизнь неплохо
В итоге трудных дней ,
Как ни страшна эпоха ,
Я был ее сильней …”

- в одной из последних тетрадей написал он. Сильнее было ощущение победительности таланта –силы и правды написанного , превосходство над эпохой , которой не удалось сделать из него ни игрушку в политических целях , ни раба – в экономических.

И сейчас , как подумаю о нем ,поднимается передо мной исполин – великий писатель , великий человек , сохранивший нравственные принципы юности до последних дней в доме – интернате для престарелых.
В своем предисловии к ”Воспоминаниям о Колыме” он пишет о своей прозе : ”Будет ли она утверждением добра , все же добра , ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства.”
Одно из последних предсмертных стихов :

…Так я вошел , последний райский гость
Под своды Рая.

Умереть , чтобы жить вечно…

Слова , оплаченные кровью сердца , страданиями души , всей жизнью и верностью должны быть бессмертными.

Наталия Горбаневская
Natal’ja Gorbanevskaja

ВОРОВАННЫЙ ВОЗДУХ

В один прекрасный декабрьский день 1962 года мне случилось стать участницей события, на мой взгляд, необыкновенно важного: будучи в гостях у Анны Ахматовой, в одной из московских квартир, где ей оказывали гостеприимство, я — как многие другие в те дни — получила разрешение переписать ее «Реквием». Этот цикл стихов (или поэма — насчет жанра мнения расходятся, но не это важно) был написан в 1935-1940 гг., во время разгула сталинского «Большого террора». Много лет его слышали лишь считанные друзья поэта, в большинстве запомнившие стихи наизусть. Ни сама Ахматова, ни ее немногочисленные слушатели никогда не доверяли «Реквием» бумаге. Но после того как в ноябре 1962 года в «Новом мире» был напечатан «Один день Ивана Денисовича», Ахматова подумала, что, может быть, наступило время и для «Реквиема». И оно действительно наступило, но не для печатной публикации в Советском Союзе, где после очередной кратковременной оттепели быстро начались новые заморозки. Наступило время выйти «Реквиему» в самиздат.

Протягивая мне шариковую ручку, Анна Андреевна сказала: «Этим *карандашиком* перед вами переписал “Реквием” Солженицын». Но кроме меня и Солженицына — этим ли, не этим ли «карандашиком» — «Реквием» переписали у Ахматовой десятки людей. И, конечно, каждый или почти каждый, вернувшись домой, сел за пишущую машинку. Я сама отпечатала, наверное, десятка два закладок по четыре экземпляра в каждой. Раздавая «Реквием» друзьям и знакомым, я каждый раз выдвигала простое требование: «Перепечатаете — один экземпляр возвращаете мне». И дальше все шло по новому кругу. Так только через мои руки распространились сотни экземпляров «Реквиема», а общий его самиздатский тираж достиг по меньшей мере нескольких тысяч.

Уже после смерти Ахматовой, в день моего ареста, 24 декабря 1969 года, переписанный мною от руки экземпляр с титульным листом, который написала сама Анна Андреевна, был изъят у меня на обыске. Но меня за «Реквием» хотя бы не судили (судили за другое), а вот несколько лет спустя на Украине «хранение и распространение» «Реквиема» стало одним из пунктов приговора Рейзе Палатник — цикл Ахматовой был квалифицирован как «заведомо ложные обвинения, порочащие советский государственный и общественный строй».

Что ж такого страшного было в лирических стихах, рассказывающих, если говорить упрощая, о горе матери, у которой арестован сын? Чего не мог вынести в них «советский государственный и общественный строй»?

Примерно в те же годы, что Ахматова сочиняла «Реквием», здесь, на земле Италии, югославский коммунист Анте Чилига, чудом вытащенный из ГУЛАГа, написал книгу о своем советском опыте и назвал ее «Страна сногсшибательной лжи». Он писал не только о своем гулаговском опыте, но и о жизни на советской «воле». Уже тогда, в конце 30-х, тем, кто не боялся раскрыть глаза, было ясно, что ложь — один из устоев тоталитарной системы. Без опоры на ложь не мог бы выжить тоталитаризм никакого цвета: красного, черного, коричневого... Любое слово правды подтачивает и расшатывает этот устой, что и привело в конце концов к крушению самого долгого тоталитаризма XX века и распаду выстроенной им советской империи.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды», — заповедал нам Христос. Для нас, живших под гнетом советской лжи, пропаганды, новоречи, имеющаяся здесь в виду правда-справедливость сливалась в одно с правдой-истиной. Но слово поэзии, сказала бы я, тем более такой поэзии, как у Ахматовой, — это не просто голая истина, оно больше — озарение, откровение.

«Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне», — пишет Ахматова в «Реквиеме». Читатель воспринимает это не как простое сообщение о том, что ее первый муж поэт Николай Гумилев был расстрелян большевиками при Ленине, а ее единственный сын Лев Гумилев — посажен большевиками при Сталине. Читатель может даже не знать этих деталей биографии поэта, но сердце ему пронзает трагедия миллионов русских женщин, молчащих — как ошибочно принято говорить, безымянных, — но сказавших свое устами великого поэта.

В открывающем «Реквием» прозаическом отрывке под заголовком «Вместо предисловия», говорится:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом)

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу».

За них, быть может, «никогда в жизни» не слыхавших ее имени, говорит Анна Ахматова:

...мы повсюду те же
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней...

. . . . . .
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.

. . . . . .
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын иль ужас мой.

. . . . . .
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

И здесь же просит она ставить ей памятник, «если когда-нибудь в этой стране» его «воздвигнуть задумают»:

...здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

«Реквием» — одна из вершин поэзии Анны Ахматовой, но я не хотела бы, чтобы меня поняли так, что высота этой вершины достигнута лишь за счет тех, чьим голосом здесь говорит Ахматова, тех, о ком она сказала:

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

Это она, Анна Ахматова, личность, индивидуальность, могла не только описать пережитые ею события, но и произнести «бедные, подслушанные слова» своим «неповторимым голосом». Выражение «неповторимый голос» она употребила применительно к другому поэту, но каждый поэт, если он действительно поэт, а не наемный лжец на службе господствующего режима, каждый есть неповторимый голос. И это еще одна причина, по которой десятки лет нас лишали огромных пластов великой русской поэзии XX века, по которой не пропускали в печать нарождавшуюся молодую поэзию. Голос поэта — это отдельный голос: голос личности, а не коллектива, даже тогда, когда он, как Ахматова в «Реквиеме», говорит за миллионы. Этот голос, о тюрьме ли он говорит или о любви, обращается к читателю тоже отдельному, один на один, отвлекает его от коллективных задач, от очередных директив очередного пленума ЦК партии. И помогает ему почувствовать себя личностью, а не винтиком в отлаженном механизме «утопии у власти».
И сотни, тысячи этих отдельных читателей (но не будем преувеличивать, не миллионы — миллионы питались жвачкой того, что называлось советской поэзией), желая читать то, что хотят, и другим подарить эту свободу чтения, создали чудо, известное под названием самиздат. На допотопных пишущих машинках поначалу распространялись извлеченные из забвения или небытия стихи — та поэзия, о которой смело можно сказать словами Мандельштама «ворованный воздух». Позже в самиздат пошла и проза, и документы, и информация, и исторические труды, и философия, и богословие, и — оборвем перечень. Но начинался самиздат с поэзии, и вам, надеюсь, уже ясно, что это было вполне логично: не только в том дело, что стихи короче и перепечатать их можно быстрее, а прежде всего в том, что «ворованный воздух» давал чем дышать.
Неслучайно и первым самиздатским журналом стал «Синтаксис» Александра Гинзбурга со стихами молодых поэтов конца 50-х. В «Синтаксисе» был впервые напечатан будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Там же впервые появились тексты уже начавших расходиться на магнитофонных пленках песен Булата Окуджавы. Ограничусь этими двумя дорогими для меня именами и подчеркну: в трех выпущенных Гинзбургом номерах журнала практически не было стихов политического содержания, но издатель был арестован и отсидел за свой журнал два года — первые два года из будущей суммы его лагерных сроков.
За поэзию у нас платили — тюрьмой, лагерем, бывало, что и гибелью, как Гумилев и Мандельштам; в послесталинские «вегетарианские» годы — опять-таки лагерем, психбольницей или хотя бы конфискацией машинки на обыске. Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый. Каждый, кто зимой 1962-1963 года переписывал на машинке только что запущенный в самиздат «Реквием» Ахматовой, рисковал ночным стуком в дверь, обыском, арестом. И каждый это знал. И продолжал в ночной тишине стучать по клавишам.

Александр Даниэль
Aleksandr Daniel’
(НИПЦ «Мемориал», Москва)

ДЕЛО СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1965–1966 гг.

Дорогие друзья!

Предложение выступить на этом конгрессе несколько озадачило меня.

Я выступаю здесь вместе с людьми, которые некогда завоевали себе имя и репутацию бесстрашных борцов за справедливость и свободу. Это – видные деятели, принадлежавшие в 1960–1980-е гг. к удивительному сообществу, у которого до сих пор нет общепризнанного названия. Одни называют их правозащитниками, другие — диссидентами, третьи предпочитают термин «инакомыслящие». В свое время я был близок к этому кругу, некоторые из присутствующих являются моими добрыми знакомыми, кое-кого я считаю своими друзьями. Кроме того, я принимал посильное участие в нескольких диссидентских предприятиях, и, не скрою, горжусь этим. Но назвать себя активным диссидентом в том смысле, в котором это слово стало употребляться в моей стране в 1970-е годы, — то есть, человеком, который открыто и систематически выступал в защиту свободы и права, — я не могу.

Вряд ли также мне было бы уместно выступать здесь в том качестве, в котором я подвизаюсь последние пятнадцать лет, в качестве историка и публициста, пишущего на темы, связанные с независимыми гражданскими движениями в СССР в пост-сталинскую эпоху. Этот конгресс — не научная конференция, а, прежде всего, общественное мероприятие, здесь не место рассуждать о специфике предмета исследований, источниковой базе, методологии и тому подобных академических проблемах.

Вероятно, единственная позиция, с которой мне уместно было бы выступать здесь — это та позиция, которую я, в сущности, занимал всю свою сознательную жизнь: позиция заинтересованного наблюдателя. Так сложилась судьба, что, начиная с 1966 года, многие значительные сюжеты, связанные с возникновением и становлением независимой гражданской активности и, в особенности, правозащитного движения, развивались у меня на глазах. И, сколько я себя помню, мне всегда было интересно понять смысл и значение этой активности, ее место и роль в российской культуре и российской истории. Вот с этой позиции, — заинтересованного и доброжелательного, но все-таки в определенной мере стороннего наблюдателя, — я и буду говорить.

Дело затрудняется тем, что тема выступления, предложенная устроителями конгресса, — «дело Синявского и Даниэля», — впрямую связана с судьбами близких мне людей. Говоря об этом деле, я попытаюсь соблюсти некую дистанцию между собой и событиями; но было бы странно, если бы мне это полностью удалось. Я отдаю себе отчет в собственной пристрастности и заинтересованности и не стыжусь их; определенная дистанция понадобится лишь для того, чтобы удержаться в рамках заданного жанра.

Но сначала — несколько соображений с точки зрения сегодняшнего дня.

***

Общепризнанно, что арест в сентябре 1965 г. двух московских литераторов, Андрея Синявского и Юлия Даниэля, приговор, вынесенный им Верховным судом РСФСР в феврале 1966-го и общественная кампания протеста против этого приговора стали точкой отсчета, с которой начался удивительный процесс, не имеющий близких аналогий в современной европейской истории — возникновение в полу-тоталитарной стране открыто действующего независимого общественного движения.

Разумеется, гражданский резонанс, который приобрело дело Синявского и Даниэля, возник не на пустом месте. В течение двенадцати лет после смерти Сталина и последовавшего за нею резкого ослабления террора общество приобрело навыки противостояния тоталитаризму. Характерно, что это противостояние лишь в малой степени было политическим и идеологическим. Основные его перипетии разворачивались не столько в рамках политики в узком смысле слова, а, почти исключительно, в культуре — литературе, изобразительном искусстве, театре, в гуманитарном (прежде всего историческом) знании.

Последним, — и хронологически, и логически, — в цепи событий, предшествовавших процессу Синявского и Даниэля, было дело поэта Иосифа Бродского. Отчаявшись добиться контроля над литературой, так сказать, «мирными средствами», правителство не нашло ничего лучше, как схватиться за Уголовный кодекс. Это была его роковая ошибка.

Собственно, предпосылки общественного движения в защиту прав человека были заложены уже в деле Бродского. Но для того, чтобы протестные кампании превратились именно в общественное движение, понадобился второй судебный процесс над литературой — суд над Синявским и Даниэлем.

Между этими двумя судебными процессами — падение Хрущева.

Первый год брежневской эры был заполнен тревожными ожиданиями либеральной интеллигенции: в каком направлении будет развиваться политика нового руководства, предполагает ли оно сохранить хрущевский курс на десталинизацию страны, хотя бы в том непоследовательном формате, который был присущ автору этого курса, или развернется назад, к сталинским методам. Арест двух московских литераторов, вина которых состояла в том, что они тайно публиковали за рубежом свои повести и рассказы, был воспринят как подтверждение худших опасений: Брежнев и его окружение реставрируют сталинизм. После ареста Синявского и Даниэля и, в особенности, после суда над ними в феврале 1966 года в общественном сознании укрепилась характеристика брежневской эпохи как времени ползучей реставрации сталинизма. Эта характеристика кочевала по страницам самиздатской публицистики, была унаследована перестроечной эпохой, стала общим местом в современнной исторической науке.

На мой взгляд, вопрос о том, в какой степени «брежневизм» являлся реставрацией сталинизма и действительно ли уровень общественной свободы после 1964 года резко понизился, не так прост и однозначен. Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки моего выступления; напомню лишь, что сентябрь 1965 года ознаменован не только арестом Андрея Синявского и Юлия Даниэля, но и успехом первой в стране общественной кампании в защиту культуры: Бродский досрочно освобожден из архангельской ссылки. Что же касается ареста Синявского и Даниэля как политического жеста, то истинный смысл этого жеста также можно толковать по-разному. И если этот шаг действительно должен был обозначить ту линию, которую новая власть считала необходимым указать творческой интеллигенции в качестве границы дозволенного, если политическое послание, которое было заложено в деле Синявского и Даниэля, следовало читать так: «не публикуйте своих произведений за границей под псевдонимами, а то посадим», — то, признаться, усмотреть в этом послании какое-то ужесточение по сравнению с хрущевскими временами довольно трудно. Есть, однако, основания полагать, что авторы этого послания вкладывали в него еще более «либеральное» содержание, а именно: «Если вы, товарищи литераторы, художники и прочая шушера, не будете вести себя откровенно нелояльно, — например, публиковаться за границей, не спросясь начальства, — то остальные ваши проблемы нас не очень волнуют. Мы не будем учить вас творческому методу, не будем настаивать на строгом соблюдении доктрины социалистического реализма (тем более, что мы и сами не больно-то понимаем, что это такое), не будем устраивать скандалов в выставочных залах и обзывать вас разными нехорошими словами, как это делал неотесанный грубиян Хрущев, — только не лезьте в политику и ведите себя лояльно». Такое прочтение допускают например некоторые

докладные записки председателя КГБ Семичастного, адресованные в ЦК КПСС и посвященные делу Синявского и Даниэля.

Я хотел бы обратить ваше внимание на забавное, и все же знаменательное совпадение. Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, математик, философ и поэт, чудесный человек, заслуживающий, конечно, отдельного разговора, решил, что данный сюжет идеально подходит для проверки концепции, которую он давно вынашивал и пропагандировал: соблюдение конституционных норм права и, в частности, принципа гласности судопроизводства — это основное и даже единственно разумное требование, которое общество может и должно предъявить власти

5 декабря 1965 г., в День Конституции, Вольпин, с помощью своих друзей и помощников (многие из которых входили в пользовавшееся в Москве в те годы шумной известностью неофициальное литературное объединение молодежи — СМОГ) организовал первую за много десятилетий акцию публичного протеста — демонстрацию на Пушкинской площади. В этой демонстрации приняли участие, по разным оценкам, от нескольких десятков до одной-двух сотен человек.

Самое забавное, однако, что еще в ноябре, когда Вольпин только обдумывал, как превратить свой многостраничный трактат о праве как средстве и цели борьбы за свободу в короткую листовку с призывом выйти на площадь, шеф КГБ Семичастный писал в ЦК КПСС подробную записку о важности обеспечения «более подробного информирования общественности» о существе дела Синявского-Даниэля. Записка была поддержана Генеральным прокурором Руденко, рассмотрена и одобрена в ЦК.

Разумеется, председатель КГБ понимал слово «гласность» по-своему, по-чекистски: «продвинем» в прессу статьи, освещающие дело с правильных позиций, пустим на суд представителей «творческих коллективов», публика убедится, что эти отщепенцы и двурушники в самом деле делали те ужасные вещи, в которых их обвиняют, действительно публиковались под псевдонимами на Западе — и все сразу успокоятся. Интеллигенция волнуется, считал Семичастный, потому что не знает в чем дело, и опасается повторения сталинских беззаконий и фальсификаций; поэтому давайте проведем процесс максимально открыто и гласно — и тогда все поймут, что теперь у нас сажают только за дело.

Были ли у председателя КГБ основания надеяться на подобное отношение общественного мнения к будущему судебному процессу? На самом деле были. Сразу после ареста Синявского и Даниэля многие, вполне либерально настроенные московские интеллигенты были действительно шокированы самой идеей тайной, под псевдонимами, публикации за рубежом. Общество колебалось.

В том, что общественное мнение все же склонилось на сторону арестованных,. огромную роль сыграли действия и поведение Марьи Васильевны Розановой, жены Синявского и Ларисы Иосифовны Богораз, жены Даниэля, моей матери. Я хорошо помню типичные диалоги тех месяцев:

— Боже, какой это ужас — арест Юлия и Андрея! Неужели мы опять возвращаемся ко временам ежовщины? Ведь они, (неуверенно вопрошает собеседник), конечно же, не виноваты в том, в чем их обвиняют?..

На это Марья Васильевна или Лариса Иосифовна отвечают примерно так:

— Что Вы имеете в виду? Занимались ли они антисоветской агитацией? Конечно, нет: какие там из них агитаторы!

— Нет, я имею в виду эти разговоры о том, что они будто бы публиковались за границей...

— А если публиковались, тогда что?

— Но ведь это же ужасно! Андрей и Юлий не могли так поступить!

— А что в этом ужасного?

— Как что?! Тайно, под псевдонимами...

— Ну и что, что под псевдонимами? Разве человек не имеет права публиковать то, что хочет, там, где хочет, и тем способом, который считает нужным. Что дурного в том, чтобы публиковаться за границей под псевдонимом?

Это не была импровизация: в первые недели после ареста жены арестованных писателей обсудили и прняли вполне определенную общую линию поведения. Должен сказать, что, сколько я помню, ни для Ларисы Иосифовны, ни для Марьи Васильевны это не было и вопросом принципа: данная линия была выбрана из вполне прагматических тактических соображений. В самом деле, очевидно было, что следствие сумеет доказать тождество Синявского и Даниэля с Терцем и Аржаком — и как тогда будут выглядеть те, кто защащал их, исходя из предположения о фальсификации фактической стороны обвинения?

Симптоматично, однако, что их мужья, ничего решительно об этом не зная, не имея возможности посоветоваться ни с ними, ни между собой, избрали, — вопреки предварительной договоренности все отрицать! — ту же линию поведения.

Еще более симптоматично, что в подавляющем большинстве случаев собеседники моей матери или Марии Васильевны Розановой, после недолгого размышления соглашались с тезисом: «А что же в этом дурного?». И не просто соглашались, а становились адептами новой точки зрения. И с той же легкостью убеждали других.

В считанные недели этот новый взгляд на вещи завоевал Москву.

(Разумеется, такие люди, как Вячеслав.Иванов, Лев.Копелев, многие друзья Даниэля и Синявского, выступившие в их защиту еще до процесса, и не нуждались в том, чтобы их в чем-то убеждали — разве только в том, что подобная точка зрения не только верна по существу, но и полезна тактически, т.е., не повредит, а поможет арестованным. Я говорю здесь не о них, а о сдвигах в массовом сознании.)

Говорят, что революции совершаются тогда, когда для них назрели предпосылки. По-видимому, это верно и для психологическх революций. Переоценка ценностей попросту назрела в общественном сознании.

Ну, а когда в январе, предваряя судебный процесс, появились газетные статьи, в необходимости которых Семичастный так настойчиво убеждал ЦК, — «Перевертыши» Дм.Еремина и «Наследники Смердякова» З.Кедриной, — всякие сомнения и колебания прекратились. Публика прониклась безоговорочным сочувствием к героям этих статей и столь же безоговорочным презрением к их авторам. Гласность оказалась оружием, для целей правительства совершенно непригодным. Бедняга Брежнев заработал себе репутацию неосталиниста и сторонника репрессий (в чем он, если и был повинен, то уж никак не в большей степени, чем его предшественник). С тех пор и вплоть до самой перестройки власть, кажется, больше не пыталась убеждать интеллигенцию в своей правоте.

Так формировалась психологическая почва для знаменитой петиционной кампании 1966 г., в защиту Синявского и Даниэля, о которой подробно говорила здесь Арина Гинзбург. В отличие от борьбы за освобождение Иосифа Бродского, эта кампания получила широкую огласку и положила начало еще более серьезным сдвигам в общественном сознании.

Отмечу только, что петиционная кампания 1966 г. была первой общественной кампанией, проходившей под знаком защиты одной из ключевых гражданских свобод — свободы слова. Она положила начало процессу объединения различных групп, кружков, дружеских кампаний, отдельных людей в широкое (по советским меркам, разумеется) общественное движение. В течение следующих двух-трех лет это движение окончательно сформировалось, породило свою периодическую печать («Хроника текущих событий», о которой будет здесь говорить Владимир Тольц), свои институциональные структуры (первая из них — образовавшаяся в мае 1969 года Инициативная группа защиты прав человека в СССР). И, самое главное, окончательно осознало себя как неполитическое, гражданское движение в защиту прав человека. А в последующие годы вокруг него консолидировались почти все известные проявления диссидентской активности в Советском Союзе — от массовых

религиозных и национальных движений до индивидуальных и спонтанных выступлений, отражающих политическое или социальное недовольство в стране.

Но и в дальнейшем, вплоть до самой перестройки, это консолидированной диссидентское сообщество, несмотря на всю свою неоднородность, продолжало придерживаться тех основных принципов борьбы, которые общество интуитивно нащупало в 1965–1966 гг., в ходе кампании вокруг дела Синявского и Даниэля: гласность, ненасилие, апелляция к праву и осуществление прав и свобод человека, по выражению А.Д.Сахарова, «явочным порядком».

***

Разумеется, в то время я не был склонен размышлять на эти темы. Вообще, наверное, мало какой пятнадцатилетний мальчишка склонен слишком уж серьезно размышлять о том, что происходит в мире взрослых вокруг него. Честно говоря, и сам факт ареста отца я осмыслил далеко не сразу. О его тайном писательстве я был осведомлен им самим за несколько месяцев до этого события, и, честно говоря, в этой, доверенной мне тайне, меня больше всего занимало то, что щекотало тщеславие подростка: оказывается, мой отец — писатель; оказывается, его книги издаются. Здорово! Умом я, конечно, понимал, чем это может обернуться для отца; но это понимание было скорее абстрактным, вроде знания, что все люди смертны. Арест, тюрьма, суд, газетные статьи на первых полосах — все это было слишком близко и одновременно слишком далеко, чтобы вызывать удивление и заставить размышлять. Лишь много лет спустя я начал понимать, в какую историческую стремнину, в центр каких событий попала волею судьбы наша семья, свидетелем каких коллизий мне довелось стать.

И вот наступил февраль 1966-го.

Фантасмагория судебной расправы над двумя беллетристами выглядела так, как будто ее постановщки поставили перед собой цель подтвердить закономерность, названную в статье Синявского «Что такое социалистический реализм» «реализацией метафор»? В самом деле, писателей, далеких от политики и движимых лишь личной потребностью в творческой свободе, объявляют «особо опасными государственными преступниками», стремившимися «подорвать и ослабить Советскую власть» — и этот, мягко говоря, вольный художественный образ на глазах превращается в реальность. Ибо история, приключившаяся с Синявским и Даниэлем, настолько подорвала и ослабила Советскую власть, что добиться подобного результата было бы не под силу целому полку диверсантов-подрывников, заброшенных в СССР на парашютах по заданию ЦРУ. Верховный Суд как будто пытался добросовестно инсценировать повесть Абрама Терца «Суд идет»: отправил автора в политический концлагерь за клеветническое утверждение, будто бы в Советском Союзе есть еще политические лагеря. А жизнь переосмыслила эту инсценировку по-своему и превратила скромного критика и литературоведа в знамя борьбы против режима, до которого ему, в сущности, было мало дела и в котором его более всего интересовала художественная сторона.

С другой стороны, Даниэля-Аржака обвинили в лживых, клеветнических и антисоветских измышлениях о том, что каждый человек несет индивидуальную гражданскую ответственность за преступления, совершаемые именем государства (это — повести «Говорит Москва» и «Искупление»). И эти «измышления» стали нравственно-психологической основой общественной кампании в защиту Синявского и самого Даниэля; кампании, большинство участников которой вовсе не читали ни Аржака, ни Терца.

По рассказам очевидцев, заседания суда временами напоминали литературный семинар, и судья Смирнов, обладавший, к тому же, невероятным в данном контексте именем-отчеством — Лев Николаевич, с удовольствием включался в ученые споры о природе гротеска, сказовом жанре, гиперболах и оксюморонах. Потом, правда, спохватывался: «Расскажите суду, когда..? Где..? Через кого..? При каких обстоятельствах..?».

На самом процессе я не присутствовал — меня не пустили в зал суда как несовершеннолетнего. (Вообще-то, без пропусков не пускали никого, но я, как сын одного из подсудимых, вероятно, получил бы возможность пройти, будь я года на два постарше.) Все четыре дня я слонялся у входа в здание Московского областного суда недалеко от метро «Краснопресненская» (почему-то Верховный суд предпочел проводить свои заседания именно там, а не «у себя», на улице Воровского), вместе с друзьями отца и Андрея Синявского, а также — важная новация! — изрядным количеством незнакомой, но явно сочувственно настроенной публики. Последнее воспринималось как что-то вроде молчаливой демонстрации солидарности с подсудимыми; вещь, ранее почти немыслимая. Впрочем, немало было и милиционеров в форме, и оперативников в штатском. Наиболее примелькавшихся время от времени выхватывали из толпы и отводили в находившийся неподалеку опорный пункт, скорее всего — для выяснения личности. Один раз притащили туда и меня; наверное, пятнадцатилетний подросток бросался в глаза среди людей более солидного возраста. «Почему не в школе?» — Но, узнав, что я сын Даниэля, тут же и отпустили. Это было мое первое в жизни соприкосновение с КГБ; надо сказать, что при дальнейших пересечениях с госбезопасностью моя «слишком известная» фамилия не раз выручала меня из куда более сложных коллизий. Но это — совсем другая история.

А тогда все было впервые — в том числе и молчаливое стояние «у закрытых дверей открытого суда», ставшее вскоре традицией политических процессов, и кордоны милиции и дружинников, и попытки выяснить у выходивших на перерыв (из числа тех, кто был допущен — родственников и свидетелей), что же происходит внутри. И, вечером и ночью, лихорадочная работа над записями из блокнотов, украдкой делавшимися днем (видимо, надо напомнить аудитории, что портативных магнитофонов тогда еще не было; впрочем, и позднее, когда они появились, пользоваться ими в зале суда строго запрещалось). Впоследствии мне несколько раз приходилось участвовать в подобной работе: надо было свести воедино разрозненные, часто обрывочные записи, сделанные разными людьми, довести результат до состояния связного текста, проверить, насколько этот текст адекватен воспоминаниям присутствовавших; перепечатать набело — и предоставить дальнейшее Самиздату. Так возникали многочисленные «записи судебного процесса над имярек», становившиеся основой документальных сборников, пересказывавшиеся в правозащитных бюллетенях, цитировавшиеся в зарубежной прессе.

Но здесь я опять вторгаюсь в тему Арины Гинзбург. Скажу лишь, что на февральском процессе 1966 г. записи делали Мария Розанова, Лариса Богораз и несколько друзей подсудимых, оказавшихся в зале. Это были не только свидетели, которые попали туда в качестве формальных участников суда, но и кое-кто из публики, прошедшей по пропускам. Позднее на подобных судебных процессах зал заполнялся стандартной смесью партийных активистов с разных московских предприятий и учреждений, отправленных представлять «общественность» по разнарядке из горкома КПСС, и оперативных сотрудников КГБ, присутствовавших в зале по долгу службы. Но этот процесс был литературным, пропуска выдавали в Секретариате Союза Писателей, и зал заполняли, в основном, писатели. По свидетельствам некоторых очевидцев (например писателя Григория Горина), пропуск получить было не очень трудно: члену Союза достаточно было придти в Секретариат и сказать, что лично ему «не все понятно» в деле Синявского и Даниэля.

Конечно, члены Союза советских писателей — не самая лучшая аудитория, которую может пожелать для себя человек, обвиненный в политических преступлениях. Но и они не были однородной массой. И если Андрей Синявский в своем позднем романе «Спокойной ночи!» вспоминает бурные аплодисменты, которыми был встречен приговор Верховного Суда — семь лет лагерей ему и пять лет лагерей моему отцу, то последний больше склонен был вспоминать об участливых и сочувствующих лицах в зале, об ободряющей улыбке Н.А.Панченко, о Е.А.Евтушенко, демонстративно раскланявшемся с вовсе незнакомыми ему тогда подсудимыми.

Покойный ленинградский писатель Б.Б.Вахтин был одним из тех, кто сумел получить билет не на одно, а на несколько заседаний; как и М.В.Розанова, как и моя мать, он вел записи. После окончания процесса он не побоялся пригласить Марью Васильевну к себе в Питер; и там они вместе завершили работу по реконструкции записи суда. Запись эта, благодаря фонографической памяти Бориса Борисовича, была доведена до почти идеальной точности.

***

Я все время стараюсь не забыть о том, что выступаю не на научной конференции, а на общественном конгрессе. Что здесь неуместно говорить только об историческом значении дела Синявского и Даниэля, а надо сказать хоть несколько слов о главных персонажах этого дела – Андрее Синявском и Юлии Даниэле.

Одним из организаторов этого конгресса является комитет, который называется «Лес праведников». Я живо представляю себе, как бурно веселились бы что мой отец, что Андрей Донатович Синявский, если бы узнали, что кто-то намеревается объявить их «праведниками».

Никакими праведниками они, конечно, отдаленно не были – за отца я, во всяком случае, ручаюсь. Если кто-то хочет поближе познакомиться с Юлием Марковичем Даниэлем, ему лучше всего прочесть не его прозу и не его тюремные стихи, а сборник его писем из Мордовских лагерей и Владимирской тюрьмы, изданный три года назад «Мемориалом» под очень, по-моему, удачным названием: «Я все сбиваюсь на литературу…». Мне кажется, что эти письма — главное, что осталось после моего отца. Мне кажется, что именно в них Юлию Даниэлю дано было выразить себя с такой полнотой, какая редко дается даже гораздо более крупным писателям. И мне кажется, что такая исчерпывающая реализация себя в эпистолярном жанре, иными словами, реализация себя прежде всего для близких и знакомых людей, — лучшая награда в этом мире для человека пишущего, награда, куда более значительная, чем посмертный и незаслуженный титул праведника.

Что до Андрея Синявского, то я убежден, что он также не нуждается в причислении его к лику праведников. Его жизненная победа в другом — в блестящей реализации литературной программы, провозглашенной им еще в статье «Что такое социалистический реализм?». Во исполнение этой программы, придуманной критиком Синявским, был создан невероятный писатель Абрам Терц, автор многих великолепных рассказов, повестей и романов. Синявскому нужно быть праведником ровно настолько же, насколько нужно было бы быть праведником «Абрашке Терцу, разбойнику из Одессы» и по совместительству — замечательному русскому писателю.

Совсем другой вопрос — роль Синявского и Даниэля в истории российской гражданственности, та историческая роль, которую они вряд ли планировали для себя, но которая выпала на их долю. Об этом и сегодня время от времени до сих пор вспыхивают споры и выдвигаются различные версии.

Разумеется, я не имею в виду версии вроде той, которая была озвучена недавно некоей, с позволения сказать, мемуаристкой: что все «дело Синявского и Даниэля» было спланировано на Лубянке с единственной целью: сделать имя своему тайному агенту Синявскому и затем, после отсидки в лагере, заслать его на Запад с какими-то неясными, но темными целями. Между уважающими себя и друг друга людьми дискуссия вокруг подобных графоманских опусов — невозможна.

Но вот другой человек, вполне уважаемый и заслуженный диссидент, заявляет примерно следующее — и это уже имеет прямое отношение к поставленному мною вопросу: «Синявский имеет столько же отношения к делу Синявского, как Дрейфус – к делу Дрейфуса». Если кто не понял, объясняю: автор этого высказывания не считает, что гражданское движение в СССР, возникшее после суда над Синявским и Даниэлем, было задумано как часть широкомасштабной провокации КГБ. Но при этом подразумевается, что личности самих осужденных литераторов не играли никакой роли в становлении этого

движения. Они — не более чем случайные жертвы произвола, и на их месте могли бы быть любые другие жертвы.

Позволю себе возразить автору этого высказывания.

Во-первых, Синявский и Даниэль — не случайные жертвы. Задолго до 1965 года они сознательно выбрали путь, который, как оба они ясно сознавали, скорее всего должен был привести их в тюрьму. Разумеется, они не планировали заранее ту протестную кампанию, которая поднялась вокруг их дела, и тем более не могли предвидеть, что из этой кампании вырастет целое общественное движение.

Во-вторых, совсем небезразличным для будущего движения было поведение обоих обвиняемых на следствии и на суде. Если бы они признали свою вину и покаялись, то, вероятно, могли бы значительно уменьшить свои сроки; они этого не сделали. Напомню: это был первый за 43 года политический процесс, сопровождавшийся широкой пропагандистской кампанией в советской прессе, на котором подсудимые отказались признать себя виновными. Это немало способствовало той психологической революции, о которой я говорил в начале. Они также отказались встать в позу героических борцов с тиранией; как точно отметил Варлам Шаламов в так называемом «Письме старому другу», одном из лучших публицистических откликов на этот судебный процесс, появившихся в самиздате, такая поза была бы ничем не лучше покаяния. Они заняли очень точную нравственную и гражданскую позицию — они отстаивали на суде свое человеческое достоинство и свое право на независимые суждения и поступки. Но ведь именно эти ценности, а вовсе не героическая борьба с политическим режимом, и легли в основу нового общественного движения! И личный вклад в это обоих подсудимых литераторов представляется мне довольно значительным.

Кстати, здесь аналогия с делом Дрейфуса представляется мне вполне уместной. В отличие от Синявского и Даниэля, офицер французского Генштаба Альфред Дрейфус не делал ничего, чтобы быть ложно обвиненным в шпионаже в пользу иностранной державы. Но, будучи обвинен в этом, он держал себя с безукоризненным достоинством и, несмотря на невероятное давление, не пошел на сделку с обвинением. И это — прямой вклад Дрейфуса в тот демократический общественный подъем, который охватил Францию 1890-х гг. в ходе «дрейфусиады».

Сам Альфред Дрейфус, кажется, не стал «дрейфусаром». Что касается Синявского и Даниэля, тут с ними дело обстояло по-разному. Андрей Синявский после освобождения и эмиграции довольно активно высказывался на различные общественные темы и, по-видимому, ощущал себя причастным к советскому диссенту не только через свое поведение на процессе 1966 года. Во всяком случае, одна из его публицистических статей 1980-х годов называется «Диссидентство как личный опыт». Что же касается моего отца, то в 1970-е годы он следил за диссидентской активностью с доброжелательным и слегка настороженным интересом, но сам крайне редко позволял себе публичные высказывания диссидентского толка и диссидентом, тем более — правозащитником, себя не считал. В этом он гораздо больше был похож на Дрейфуса, чем его друг и подельник.

***

Во всей этой истории много странных и знаменательных совпадений. В завершение этого несколько сумбурного выступления я хотел бы упомянуть о двух таких совпадениях.

Первое. После ареста Синявского и Даниэля привезли в Лубянскую тюрьму. Орднако спустя несколько недель эта тюрьма была закрыта, и их переместили в Лефортово. Таким образом оба они оказались замыкающими в шеренге узников самой знаменитой советской тюрьмы, последними в ряду, насчитывающем, наверное не один десяток тысяч человек.

Второе. Сообщение о том, что дело Даниэля Ю.М. и Синявского А.Д. пересмотрено и оба они реабилитированы за отсутствием состава преступления, было опубликовано в «Известиях» 16 октября 1991 года. А 18 октября того же года Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации жертв политических репрессий», согласно которому все

лица, осужденные за «антисоветскую агитацию и пропаганду», подлежат реабилитации автоматически, независимо от степени обоснованности обвинения. Андрей Донатович Синявский и мой отец стали последними советскими гражданами, реабилитированными в индивидуальном порядке.

Таким образом, если в одном отношении «дело Синявского и Даниэля» открывает определенный ряд событий и имен, то в другом отношении оно завершает другой, куда более длинный ряд событий и имен. Такова, видимо, специфика этого уникального дела, и такова была судьба этих двух людей — стать рубежом, вехой, межой между эпохами отечественной истории.

Арина Гинзбург
Arina Ginzburg
Александр Гинзбург: от «Синтаксиса» к «Хельсинской группе»

Меня попросили рассказать об Александре Гинзбурге – правозащитнике, журналисте, просто человеке.

Многие года советская пресса именовала его не иначе, как «уголовник», «отщепенец», «клеветник», «антисоветчик».

В годы перестройки, когда ко всем своим трем делам Гинзбург был реабилитирован, его стали называть «трижды зэк Советского Союза».

Об Алике Гинзбурге (как все его звали до самой его смерти), о его необычной судьбе и о людях, его окружавших, я и попробую рассказать.

«Синтаксис» – рождение самиздата

А начиналось все легко и даже весело, как, впрочем, все, что Гинзбург делал.

На гребне всеобщего увлечение стихами в конце 50-х – начала 60-х годов Александр Гинзбург, 20-летний студент факультета журналистики Московского университета, совершенно естественно пришел к мысли, что надо бы все эти разрозненные машинописные листочки, которые ходили по рукам, читались на московских кухнях и в маленьких литературных кружках, а потом снова и снова перепечатывались (как пел впоследствии Александр Галич: «Эрика» берет 4 копии, вот и все, и этого достаточно) – надо было все это собрать вместе и сделать сборник. *«Друзья посмотрели на меня, как на сумасшедшего»*, – рассказывал он позже.

Идея была гениально проста, но и столь же опасна. Сейчас новому поколению молодых и не только на Западе, но и в России, трудно (а может быть, уже и невозможно) объяснить, как опасно это было. Никаких «множительных аппаратов», кроме стареньких пишущих машинок (да и не у всех) еще не было. А вокруг всевидящее око КГБ.

Но была увлеченность, молодая уверенность в своих силах и тесный круг друзей.

И начинание удалось. Журнальчик назвали «Синтаксис» – так в одном из чеховских рассказов звали собаку. (Идея была вполне в стиле этой молодой беззаботной компании.) В свет вышло 3 номера журнала, готовился 4-ый – питерский. Среди молодых и малоизвестных авторов были и уже знакомые широкой публике имена – Булат Окуджава, Борис Слуцкий, Белла Ахмадулина, Николай Глазков, Иосиф Бродский, Генрих Сапгир.

На каждом из выпусков Александр Гинзбург поставил свое имя и свой адрес – поступок по тем временам тоже неординарный. И в этом не было никакой позы или героического вызова, а всего лишь представление о свободе поступка как о **норме**. И в самом деле, ведь это нормально поставить свое имя под своим трудом? И какое нам дело, что власти думают иначе.

В 1960 году в «Известиях» появился фельетон «Бездельники карабкаются на Парнас» с нападками на Гинзбурга и его журнал. Такие публикации в те времена были всегда предвестником ареста. Так оно и случилось. Алик был исключен из университета, арестован и отправлен в знаменитую Лубянскую тюрьму. На следствии было допрошено больше 100 свидетелей, однако никакого убедительного обвинения в «антисоветской деятельности» власти выдвинуть против Гинзбурга не смогли. Он был обвинен в том, что сдавал экзамен за своего приятеля и приговорен к 2 годам лагерей общего режима. Наказание отбывал в северных уголовных лагерях.

Время это было хрущевское, сравнительное вегетарианское. Гинзбург был молод, здоров и однажды, когда какой-то уголовник попробовал назвать его «жидом», Алик пошел на него с огромным бревном в руке. Инцидент был немедленно улажен, и дальше «Саша-журналист», как звали его в лагере, исправно писал за своих солагерников письма их родственникам или жалобы начальникам.

В Москву он вернулся летом 1962 года. На дворе еще стояла «хрущевская оттепель»: молодая поэзия собирала стадионы слушателей, по стране гуляли машинописные копии (или фотокопии) произведений Джиласа и Орвелла. В ноябре в «Новом мире» был напечатан «Иван Денисович» Ал. Солженицына.

Первым тревожным сигналом стало дело молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского, арестованного в феврале 1964 года по обвинению в тунеядстве. Это дело вызвало в среде российской интеллигенции широкий протест, среди тех, кто пытался защитить молодого поэта от несправедливых и оскорбительных обвинений были Анна Ахматова, Дм. Шостакович, Лидия Чуковская, Ефим Эткинд, Лев Копелев, Евг. Гнедин и другие. Писательница Фрида Вигдорова сумела попасть на позорный спектакль, где судили будущего Нобелевского лауреата, и сделала запись процесса, который потом широко ходила в самиздате. Так, в русской литературе появился новый жанр «записи из зала суда», которым через пару лет воспользовался и Гинзбург.

Пока же, прописанный в Москве с трудом, лишь благодаря помощи знаменитого Ильи Эренбурга, он пытался вернуться к учебе, в чем ему категорически отказывали. Он работал осветителем на телевидении, токарем на домостроительном заводе, библиотекарем, рабочим в Литературном институте.

Так прошли три послелагерных года. А в сентябре 1965 года были арестован писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль. И для Гинзбурга началась новая жизнь – «Белая книга», обыски, арест, новый лагерный срок.

«Белая книга» – эпоха подписанства

Восприняв уроки **самиздата,** – Синявский и Даниэль пошли уже чуть дальше – они решили отправить свои рукописи на Запад, опубликовать их там и вернуться на родину в виде **тамиздата**. Когда книги писателей Абрама Терца и Николая Аржака (таковы были псевдонимы Синявского и Даниэля) появились на Западе, власти спохватились и начали поиски. Есть несколько версий, как органам удалось вычислить имена писателей, но сейчас речь не о том.

Андрея Синявского арестовали по дороге на лекцию в Школе-студии МХАТа, Юлия Даниэля – в московском аэропорту Внуково, когда он возвращался из Новосибирска.

Первой реакцией общества было ошеломление. По тем временам публикация под псевдонимом, да еще на Западе – это была вещь неслыханная. Многие, даже либерально настроенные интеллигенты, укоряли Синявского и Даниэля в том, что теперь власть начнет закручивать гайки, что цензура усилится, что снова пойдут заморозки (как будто уже не началось?).

Но очень скоро направление умов переменилось. Этому в большой степени способствовало и то, что на Западе (где эти книги уже появились в переводах и где их можно было прочесть) реакция на арест писателей была крайне резкой, даже коммунист Арагон выступил в их защиту, не говоря уже о сотне других деятелей культуры всего мира.

И вот впервые за многие десятилетия в стране началась широкая гласная общественная кампания, получившая впоследствии название «подписанства» (через 2-3 года в пору суда над Гинзбургом, Галансковым и Лашковой она достигла своего пика).

В чем была ее суть? Десятки людей, самых разных профессий (рабочие, студенты, врачи, писатели, академики), как бы вдруг осознав ответственность за то, что происходит у них в стране, стали обращаться с письмами в самые различные инстанции (государственные, судебные, ЦК КПСС, лично к генсекретарю Брежневу или к лауреату Нобелевской премии Шолохову) с просьбой освободить арестованных писателей. Они предлагали взять их на поруки, призывали соблюдать собственные законы и, прежде всего, конституцию, настаивали на открытом гласном рассмотрении дела.

Ответом на эти обращения был шквал репрессий. «Подписантов» (как их стали называть) увольняли с работы и выгоняли из институтов, прорабатывали на собраниях и задерживали на несколько суток в милиции.

Реакция на арест писателей сильно беспокоила власти, поэтому, когда в феврале 1966 г. состоялся суд над писателями, все четыре дня процесса почти все московские газеты печатали о нем отчеты, разумеется, пакостные и ернические.

Александр Гинзбург решил собрать об этом деле все материалы, которые были ему доступны.

Сейчас невозможно себе представить, **что** значило в условиях абсолютно закрытого советского общества 60-х годов собрать все это множество вырезок из газет и журналов десятков стран мира (естественно, их не продавали). А надо было не только собрать, но найти переводчиков и сделать это так, чтобы никого не засветить. Все это было сделано с мушкетерской ловкостью и быстротой. *«И когда я положил рядом все эти иностранные статьи и отклики, и советскую тупую газетную*

ругань, – рассказывал Гинзбург позже, – *стало очевидно до смешного – как тупа и глупа эта система и насколько невиновны арестованные писатели».*

Так появилась идея книги – соединить все печатные материалы, советские и западные, и вставить в них запись судебного процесса, которая уже ходила в самиздате (женам арестованных – Марии Розановой и Ларисе Богораз, присутствовавшим на суде, удавалось кое-что тайно записывать во время суда, а вечером друзья переносили это на бумагу), и присовокупить к ним все письма в защиту.

Так получилась «Белая книга» по делу Синявского и Даниэля, которую составил Александр Гинзбург. Книга была посвящена светлой памяти Ф.А. Вигдоровой.

По своему обыкновению Гинзбург подписал ее своим именем, поставил свой адрес и пустил в открытое плаванье. Он показывал ее некоторым депутатам Верховного Совета (в частности, Илье Эренбургу), прося их заступиться за арестованных писателей. Один из экземпляров (впрочем, самый последний нечитабельный) он отнес в КГБ. Жест для него совершенно естественный – «Иду на вы!».

Вскоре «Белая книга» вышла во Франции в издательстве «La Table Ronde», а потом в 1967 году в издательстве «Посев».

Естественно, в январе 1967 года Александр Гинзбург был арестован и препровожден в Лефортовскую тюрьму. Вместе с ним были арестованы молодой талантливый поэт Юрий Галансков, составитель сборника «Феникс», и 23-летняя машинистка Вера Лашкова, печатавшая «Феникс» и «Белую книгу». Исторической правды ради следует добавить сюда и Алексея Добровольского, который сыграл в этом процесс зловещую роль провокатора.

Следствие длилось целый год, за это время КГБ пытался через своих агентов в эмигрантской организации НТС в Германии организовать приезд какого-нибудь НТС-овца, якобы, к Гинзбургу и Галанскову.

Это им отчасти удалось, и на четвертый день в суде внезапно появился венесуэльский студент Николас Брокс-Соколов, который по заданию, якобы, какой-то Тамары Волковой вез уже арестованным Гинзбургу и Галанскому множительный аппарат шапирограф и деньги.

Несчастный, ничего не понимающий мальчик, не ожидавший такого поворота событий, был совершенно потерян, концы с концами у него не сходились, и было ясно, что все это чистая липа. (Впоследствии в перестройку в советской прессе были напечатаны материалы о том, как КГБ готовило эту инсценировку.)

Приговор был жестким: «за антисоветскую агитацию и пропаганду» Юрий Галансков был осужден на 7 лет лагерей строгого режима. Он не досидел своего срока и умер в ноябре 1972 года в тюремной больнице от язвы желудка. Его тайно похоронили на лагерном кладбище.

Вера Лашкова (ей было 23 года) в этот раз была осуждена лишь на год, и поскольку следствие длилось почти 12 месяцев, она вскоре вышла из тюрьмы. Впрочем, в дальнейшем гебисты свели с ней счеты уже без всяких юридических тонкостей.

Вера была в 70-е годы активной участницей солженицынского Фонда, кроме того, она печатала мемуары А.Д. Сахарова (что вызвало особую ярость чекистов). В 1983 году без всяких на то оснований ее лишили московской прописки и жилья заставили под угрозой обвинения в «бродяжничестве и тунеядстве» уехать из Москвы в 72 часа.

Семь с половиной лет жила она в глубинке, переезжая с места на место, выполняя самую тяжелую работу (была шофером тяжеловоза, уборщицей), пока, наконец, в 1990 году смогла вернуться в Москву и благодаря помощи Е.Боннэр получить там квартиру.

Даже адвокаты, участвовавшие в судебном процессе, подверглись репрессиям. Так, защитник Гинзбурга – Борис Андреевич Золотухин, один из самых ярких и профессиональных советских адвокатов, был изгнан из адвокатуры и отлучен от своей профессии (больше чем на 10 лет) за то, что он потребовал для своего подзащитного оправдательного приговора. И все-таки ни подсудимые, ни их защитники не отступили от своих позиций.

Отбывать наказание и Гинзбурга и Галанскова отправили в Мордовию в Потьму на знаменитый 17-ый лагпункт, в «гадючник» (как называли его чекисты), куда они помещали самых строптивых и неисправимых.

Здесь Александр Гинзбург и познакомился с героем «Белой книги» Юлием Даниэлем, с которым его связала до конца дней крепкая сердечная дружба, как и с бывшим лидером ленинградской группы «Колокол» Валерием Ронкиным. Это были самые близкие друзья.

О пребывании этой компании неисправимых в «гадючнике» № 17 ходило много легенд. Они умудрялись отправлять оттуда информацию о голодовках и наказаниях, о ситуации в соседних лагерях», передавать «левые» письма и даже магнитофонные пленки.

В те годы Запад очень интересовался правозащитным движением и по ВВС и «Голосу Америки» часто можно было услышать о ситуации в мордовских лагерях. *«Наши надзиратели уже привыкли слушать западное радио, вздрагивая иногда, когда вдруг среди информации звучали их фамилии,* – рассказывал впоследствии Алик. – *Но когда они услышали по «Голосу Америки» наши собственные голоса, говорят, у начальника лагеря был припадок ярости».*

Дело в том, что надзиратели принесли Гинзбургу починить сломанный магнитофон, предусмотрительно выкрутив из него микрофон. Оказалось, что поломки никакой не было – просто весь аппарат был забит тараканами. Гинзбург умудрился как-то переставить местами детали в магнитофоне, чтобы он работал на запись.

Так появились на воле (а потом и на «Голосе Америки») 2 магнитофонных пленки – прямо из концлагеря. На одной – Юлий Даниэль читал переводы стихотворений латышского поэта Кнута Скуениекса, который сидел в соседнем лагере, на второй – зэки рассказывали о положении в советских лагерях и обращались за помощью к мировой общественности.

Обе передачи издевательски кончались так: *«На этом мы заканчиваем нашу передачу из политического лагеря № 17. Передача была организована по недосмотру администрации. Вел передачу Александр Гинзбург»*.

Другим волнующим моментом в жизни лагпункта № 17 была регистрация нашей с Аликом свадьбы.

Дело в том, что его арестовали за 5 дней до намеченного бракосочетания, и мое положение после его ареста стало самым неопределенным. Я работала тогда преподавателем русского языка для иностранцев в Московском университете. Естественно, мне предложено было отказаться от Гинзбурга («и тогда все будет хорошо»), а поскольку я отказалась, – меня уволили «как жену антисоветчика Гинзбурга». Но на свидание к нему пускать категорически отказывались «как не-жену». Так продолжалось два года.

И тогда Гинзбург объявил голодовку. Длилась она 27 дней и к нему по очереди каждый день присоединялся кто-нибудь из его солагерников. Другие ежедневно писали во все инстанции грозные письма.

И власти сдались. Свадьба наша была назначена на 21 августа 1969 года (дата была выбрана не случайно – начальство хотело таким образом задавить возможные акции по поводу годовщины вторжения советских войск в Чехословакию).

Нашу лагерную свадьбу – как общую победу – справлял весь лагерь. И хотя к нам в комнату никого не пустили, даже маму Алика, а я не могла выйти за пределы маленького деревянного домика (который, кстати, назывался «Дом свиданий»), все-таки из крошечного окошка в туалете я смогла увидеть ликующие лица наших заступников.

Тогда же Юлий Даниэль и написал свою знаменитую «надпись на Арине»:

Она, безусловно, дороже Парижа,
Разгадка сравненья ясна и проста.
Он стоит обедни, а наша Ариша
Великого стоит поста.

Впрочем, даже «гадючник» не исправил строптивых антисоветчиков. До окончания срока отбывать свое наказание уже во Владимирском централе, «крытке» – одной из самых страшных российских тюрем были отправлены и Юлий Даниэль, и Валерий Ронкин, и Александр Гинзбург. Юрий Галансков к этому времени уже покоился в лагерной могиле.

«Солженицынский Фонд» – возрождение милосердия

23 января 1972 года во Владимирской тюрьме кончился второй срок Александра Гинзбурга.

Власти заранее предупредили его, что жить в Москве ему запрещено – по закону, антисоветчику, отбывшему свой срок, полагалось селиться под надзор не ближе 101 километра от Москвы.

Алик выбрал Тарусу, маленький городок на Оке, где он часто бывал до ареста и который очень любил. Жившие там писатели-переводчики Елена Михайловна Голышева и Николай Давидович Оттен предложили нам первые несколько месяцев пожить у них.

По дороге нам даже разрешили заехать на несколько часов в Москву.

Летом этого 1972 года в Тарусу к Алику приехал Александр Исаевич Солженицын. Они встретились на берегу тихой маленькой речки Таруски и проговорили несколько часов.

«Архипелаг ГУЛаг» был к этому времени закончен, но Солженицын планировал издавать его не раньше 1975 года. Он понимал, что это будет взрыв и что дальнейшая судьба и его, и его семьи после этой публикации может сложиться достаточно трагично. Но он уже давно принял твердое и окончательное решение: **все** деньги за **все** издания «Архипелага» пойдут только на помощь политзаключенным и их семьям – жертвам тоталитарного коммунистического режима, которым писатель и посвятил свою книгу.

Дело в том, что особенность советской удушительной пенитенциарной системы состояла в том, что после ареста человека виновными становились сразу и все члены его семьи. При Сталине их тоже сажали или отправляли в лагеря или на поселения, а детей – в специальные детские дома. Во времена Брежнева было легче – их всего лишь подвергали унизительным допросам и обыскам, выгоняли с работы, оставляли на голод и безденежье. Поэтому перед любым человеком, который мог быть арестован, всегда стоял вопрос – рисковать собой он, может быть, и имеет право, но можно ли рисковать своей семьей?

Помощь семьям политзаключенных существовала во всем мире, даже при самых страшных режимах, и только в Советском Союзе считалось, что это подрыв системы. Годами убивалось в коммунистической империи милосердие, и насаждались страх и стукачество.

Правда, в последние годы, начиная с 60-х, когда после процесса Синявского–Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, ленинградского «Колокола» связи между семьями зэков укрепились, а многие представители интеллигенции – студенты, врачи, учителя, писатели – помогали деньгами и вещами семьям преследуемых, посылали в лагерь денежные переводы, книги и письма. Но этого было недостаточно. Нужна была четкая структура и немалые деньги.

Александр Солженицын изложил Гинзбургу свою идею «зэчьего Фонда» и предложил ему стать его распорядителем. «Архипелаг» тогда еще не вышел, но писатель сразу отдал на помощь политзаключенным четвертую часть Нобелевской премии, присужденной ему в 1970 году.

Гинзбург к этому времени пробыл на свободе всего лишь полгода. Он понимал, как опасна эта новая миссия, к тому же через несколько месяцев у нас должен был родиться первый ребенок. Но он принял это предложение как честь и сделал эту работу делом своей жизни. Я целиком поддержала его в этом и впоследствии тоже участвовала в этой работе.

Александру Гинзбургу принадлежит схема и структура Фонда, которая действовала потом много лет. Тогда же и Солженицын, и Гинзбург единодушно приняли еще одно из главных решений – все действия Фонда должны быть **абсолютно легальны**.

Поначалу Фонд официально не объявили – Алик был под надзором, не имел права выезжать за пределы Тарусы, должен был ходить отмечаться в милицию, всех приезжавших к нему тщательно проверяли. А ему предстояло составить списки не только всех политзаключенных – в тюрьмах, лагерях, психбольницах, ссылках, но и членов их семей, желательно с указанием возраста, болезней и прочих нужд.

Как я уже сказала, писатель планировал издать «Архипелаг ГУЛаг» через 3 года, но, как это часто бывает в жизни, случай смешал все планы. В августе 1973 года машинистка Елизавета Воронянская, печатавшая «Архипелаг», была схвачена в Ленинграде. Ее мучили 5 дней и потребовали, чтобы она выдала место хранения опасной книги.

По договоренности с писателем, Воронянская должна была уничтожить свой экземпляр, но она, пообещав это сделать, все же оставила его у себя и даже давала читать другим эту книгу, которую считала «великой». Потом экземпляр, правда, был зарыт в саду у одного из их общих с Солженицыным знакомых. Несчастная женщина указала это место, а потом, когда вернулась домой, покончила с собой.

«Архипелаг» оказался в лапах у КГБ, и писатель дал срочную команду на Запад печатать книгу.

В невероятно короткие сроки парижское издательство «Имка-Пресс» сумело напечатать «Архипелаг», и к началу января 1974 года книга вышла в свет. Гебешники, сами того не понимая, ускорили процесс разрушения своей империи. Это был взрыв оглушительной силы. Стало понятно, что власти не оставят писателя в покое.

12 февраля 1974 года вечером в моей квартире раздался телефонный звонок (тогда еще мой телефон не был отключен). Это была Наташа Солженицына. *«Слушай меня внимательно,* – сказала она, – *только что восемь гебешников увели Александра Исаевича. Сказали, что в Генеральную прокуратуру, привод. Скорей!»*

Я поняла, что должна обзвонить всех, кого возможно, и своих друзей, и иностранных журналистов. Потом оказалось, что, уходя, гебешники сломали дверной замок и отключили телефон, но каким-то чудом один этот звонок Наташе все же сделать удалось.

Через час я была у незакрывающихся дверей солженицынской квартиры, в которой толпились друзья, журналисты, все пришедшие выразить свое сочувствие и оказать помощь, если это понадобится.

Помню Лидию Корнеевну Чуковскую, Вяч. Всеволодовича Иванова, Евгения Борисовича Пастернака с женой Аленой. А.Д. Сахаров с группой друзей дежурил у Генеральной прокуратуры, потом они тоже пришли в дом на Козицком.

В доме было четверо детей (младшему Степе было 6 месяцев) и две женщины – Наташа и ее мать Екатерина Фердинандовна. А Наташе, кроме всего, надо было еще подумать, какие письма уничтожить, какие спрятать, что унести и куда. Никто не знал, не приедут ли чекисты завтра снова.

Рано утром на следующий день у меня в доме раздался звонок в дверь. Обыск? Я была готова: «Кто?». Из-за двери донесся знакомый голос: «Пушкин». Это был Алик. Услышав поздно вечером об аресте Солженицына, поднадзорный Гинзбург, которому не разрешалось выходить из дома после 8 ч вечера, ночью тайно сбежал, оврагами и лесом добрался до железнодорожной станции и на первой же электричке на рассвете приехал в Москву. Предупредив меня, он поехал к Солженицыным на Козицкий и оставался там с ними до самого отъезда семьи 30 марта 1974 года.

В доме опального писателя власти не решались его брать, тем более, что на Гинзбурга была оформлена генеральная доверенность на ведение всех дел семьи. Но на следующий же день после их отъезда Алика схватили на улице, привезли в Тарусу, снова судили и поставили под строгий надзор еще на год.

Об этом западные корреспонденты в Москве немедленно сообщили агентствам, и Солженицын, согласно договоренности с Аликом, публично объявил о существовании Фонда помощи политзаключенным и о том, что Александр Гинзбург является его распорядителем.

Так началась открытая жизнь Фонда.

Среди сотен семей, получивших помощь Фонда, были русские, украинцы, белорусы, евреи, латыши, литовцы, эстонцы, крымские татары, грузины (в том числе будущий президент Грузии Звиад Гамсахурдия), армяне, казахи и др. – в самых разных уголках Советского Союза. В работе Фонда добровольно и совершенно бескорыстно участвовали более сотни волонтеров, тоже самых разных национальностей.

По правилам Фонда каждый ребенок в семье политзаключенного получал ежемесячное пособие (сначала 30, потом 35 рублей). Оказывалась помощь одиноким и больным родителям, лишенным кормильца. Например, Фонд в течение многих лет помогал матери литовского узника Балиса Гаяускаса, отсидевшего в советских лагерях и тюрьмах 25 лет. Впоследствии, освободившись, Гаяускас сам стал распорядителем Фонда в Литве, за что в 1977 г. был вновь арестован. В независимой Литве он был некоторое время министром внутренних дел.

Фонд помогал также подследственным и временно задержанным, узникам психбольниц и спецтюрем. Зэкам, освободившимся из лагеря, давали деньги на дорогу домой и на первое время жизни, покупали обувь и одежду. Ссыльным посылали денежные переводы, посылки с едой и вещами, книги, газеты; их родственникам оплачивали дорогу на свидание к ним.

Поскольку Фонд был зарегистрирован в Швейцарии, Наталья Солженицына – его президент, ежегодно обязана была предоставлять швейцарским властям отчетность, которую мы ей посылали с надежной почтой или оказиями. Слава Богу, никогда эти отчеты не попали в лапы КГБ, хотя в дальнейшем, конечно, гебисты устраивали набеги на квартиры волонтеров Фонда.

Параллельно с Фондом, основанным Солженицыным, существовали сборы и добровольные пожертвования и внутри страны. На премию, полученную А.Д. Сахаровым в Италии «Чио Дель Дукко», Елена Георгиевна Боннэр основала специальный детский Фонд.

Особо хочу подчеркнуть, что вся помощь осуществлялась в рублях или в специальных денежных знаках – сертификатах, имевших хождение в стране. В 70-е годы в Советском Союзе существовала специальная система, когда можно было посылать из-за границы деньги в долларах, марках, франках и т. д. на Внешпосылторг СССР на имя конкретного человека, а тот взамен получал внутри Советского Союза так называемые сертификаты, на которые можно было покупать вещи и продукты в специальных магазинах в Москве «Березка». Как правило, это были дефицитные западные товары. Этим мы часто пользовались.

Никаких нелегальных методов в работе Фонда власти найти не могли, однако –естественно – и терпеть этого они не желали.

В 1977 году был арестован первый распорядитель Фонда – Александр Гинзбург. Его обвинили не только в работе солженицынского Фонда, но и в участии в деятельности Хельсинской группы, созданной в 1975 году для наблюдения за выполнением Хельсинских соглашений, подписанных в том числе и Советским Союзом. Эту группу возглавлял известный советский физик Юрий Орлов (в феврале 1977 года он тоже был арестован, как и еще один «хельсинец» – Анатолий Щаранский). В группу входили многие известные правозащитники, в том числе Елена Боннэр, Мальва Ланда, Татьяна Осипова-Ковалева, Людмила Алексеева и др.

Как только Александр Гинзбург был арестован, руководство Фондом взяли на себя Татьяна Сергеевна Ходорович, Мальва Ланда и бывший политзаключенный Кронид Любарский. После того, как Татьяна Ходорович и Кронид Любарский были вынуждены эмигрировать, а Мальва Ланда была сослана в Казахстан, распорядителями стали Сергей Ходорович и я. В 1979 году наша семья выехала на Запад вслед за высланным в США Гинзбургом, и Сергей Ходорович – один – продолжал начатое дело.

Это были для Фонда, может быть, самые опасные и страшные времена.

Вместо послесловия

27-ое апреля 1979 года был обычный московский день, заполненный обычными заботами и делами. Алик уже 3 года был в заключении.

Накануне мы с Ирой Орловой, женой профессора Юрия Федоровича Орлова, отправили совместное письмо президенту США Джимми Картеру, призывая его поднять вопрос о положении политзаключенных на переговорах с кремлевскими руководителями. Надеялись на помощь.

Телефоны у нас были отключены намертво (без всяких объяснений), жили мы на окраине Москвы, и друзья, чтобы обменяться новостями, приезжали всегда без предупреждений.

В этот вечер, как обычно по пятницам, у меня на кухне собралась наша «фондовская команда» – Сережа Ходорович, Витя Дзядко, Лиза Цитовская, Вера Лашкова, Таня Бахмина, Гуля Романова.

Когда все разошлись, уложила спать детей (4-летнего Алешку и 6-летнего Саньку) и принялась гладить.

Как всегда, глажка проходила под слушание «вражеских голосов», если их не глушили. Включила «Голос Америки» (потом на Западе мне придется работать на нем более 10 лет). Шла «передача для полуночников». Среди новостей передали о нашем с Ирой обращении: здорово, значит американские корреспонденты не подвели.

Я механически водила утюгом по детским рубашечкам, как вдруг: *«Мы прерываем нашу передачу для экстренного сообщения. Только что стало известно, что пятеро советских политзаключенных, по договоренности между правительствами США и Советского Союза, были обменены на двух советских шпионов, бывших сотрудников ООН Энгера и Черняева, приговоренных в США к пожизненному заключению. Советские узники уже находятся в Нью-Йорке. Вот их имена: Александр Гинзбург, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, Валентин Мороз и пастор Георгий Винс. Мы еще вернемся к этому сообщению в конце нашей передачи,* – пообещало радио, – *а сейчас продолжаем рассказ о национальных парках Вашингтона».*

Шел первый час ночи. За окнами стояла глухая темнота, телефон был отключен, за стеной спали два малыша, которые и не подозревали, что в этот день их жизнь так круто переломилась.

Что делать? Уйти из дома, чтобы позвонить по автомату я не могла – опасно было оставлять детей одних. Вдруг на лестничной площадке глухо хлопает дверь лифта. Это сосед по дому – Алик Бабенышев. Его мама – писательница Сара Бабенышева, услышав по радио о высылке, позвонила ему: «Беги к Арине, посиди с мальчишками, а она пусть идет к вам и звонит всем, кому захочет». Бегу.

Разбуженная мама плачет. Друзья ликуют. У Сахаровых берет трубку Люся: «Слава Богу, что ты позвонила. Мы с Андреем заказали такси, чтобы ехать к себе. Приготовься, к тебе собираются приехать западные корреспонденты». Бегу назад.

Около двух часов ночи появились западные журналисты, потом еще одна группа. И еще. В ту ночь мне пришлось провести двух больших пресс-конференции. А тут и друзья повалили, в нашей маленькой квартирке повернуться было негде. Помню чувство растерянности и даже какой-то вины перед Ирой Орловой и Лёней Щаранским, братом Толи. Но Леня с сияющей улыбкой меня утешал:

«Ты что, с ума сошла? Алика освободили, значит и Толика скоро освободят». (Увы, это случилось через много лет, освобождение и Юры Орлова, и Толи Щаранского.)

И в голове мысль, – а как же там Алик?

Еще два дня назад он сидел на нарах особого лагеря для политических рецидивистов в Мордовии вместе с Эдуардом Кузнецовым и Валентином Морозом. Никто из них ничего не знал о предстоящем обмене, никого ни о чем не спрашивали.

Сначала под конвоем на «воронках» довезли до Потьмы, потом в специальном вагон-заке – до Москвы, там в Лефортовской тюрьме объявили о лишении гражданства и высылке, переодели в венгерские рубашки и костюмы и – на самолет.

Через сутки они были уже в Нью-Йорке.

Гинзбург не собирался уезжать и не готовился к такому повороту судьбы.

Старая жизнь кончилась, надо было начинать все заново. Это было 27-го апреля 1979 года. На Западе, ему предстояло прожить 23 года.

Трудная это была для него жизнь или более счастливая, чем на родине? Как знать?

Александр Гинзбург умер в Париже 17 июля 2002 года. Ему было 66 лет.

Когда он умер, наши сыновья, Саня и Алеша, которые вместе с нами прошли значительную часть пути, сделали для него 4-й номер журнала «Синтаксис» (один экземпляр) с их рисунками и стихами, посвященными отцу. Они положили этот сборник ему в гроб.

И в заключение я хотела бы сказать одну очень важную, с моей точки зрения, вещь. И Александр Гинзбург, и все, о ком мы сегодня говорим, – это люди, совершавшие Поступки (с большой буквы). Они вошли потом в историю и, может быть, повлияли на развитие событий в нашей стране, но делали это не из амбициозности, не из любви к славе и тем более не из корысти. Просто они не могли молча сосуществовать рядом с ложью, несправедливостью, насилием. Все, что они делали, – было для них так же так же естественно, как дышать или ходить.

Они были «великими», – как точно заметил Булат Окуджава, именно потому, что были совершенно естественными и нормальными. Они просто не умели жить по-другому.

Wladimir Tolz

Рубеж 1970-1980-х годов: "Хроника текущих событий" (ХТС), издание «В» и Запад[*]

В зарождающейся и весьма еще далекой от «научности» историографии диссидентского движения в СССР конец 1970 - начало 1980 гг. уже обозначен как эпоха «заката»[1] диссента. При этом исчерпывающего объяснения причин этого «заката», выражающемуся в частности в оттоке из общественного движения людей, связанных с ним ранее, до сих пор не дано. Несомненно, что в этом сказались усовершенствованные формы репрессивной активности властей против диссидентов: количество осужденных по "политическим" статьям Уголовного кодекса в 1979—1984 гг., как мы знаем, оставалось на прежнем уровне, однако «*КГБ научился, наконец, действовать "прицельно", изымая и нейтрализуя именно тех людей, которые являлись ключевыми фигурами в различных областях диссидентской активности*»[2]. С середины 1970 гг. КГБ выделяет в качестве «приоритетных» направлений и «ключевых фигур» борьбу с Самиздатом (прежде всего, с ХТС), а также (со второй половины 1970 гг.) – с возникающими Хельсинкскими группами. Общеизвестны аресты редактировавших ХТС в эту пору людей (еще в 1974 г. – С.Ковалева, в конце 1979 г. – Т.Великановой, в 1980 г. – А.Лавута, в 1983 – Ю.Шихановича. Тогда же, осенью 1983 г. Издание ХТС было прекращено. И это в свою очередь послужило одной из вех «заката» советского диссидентства.

Однако кризисные, если так можно выразиться, явления в издании ХТС были связаны не только с направленными против нее репрессиями властей. Как ни парадоксально, они были результатом несомненного общественного успеха этого издания и, в более широком плане, успеха правозащитного движения, идеология которого стала фактором международной политики. Малоизвестное и по сю пору самиздатское «предприятие» **«В»**, к созданию и изданию которого я имел отношение, было помимо прочего **попыткой устранения ряда кризисных проблем, которые испытывала ХТС в конце 1970 гг.**

О причинах малоизвестности «В» я еще скажу, но прежде – о проблемах ХТС. Повторю: они, эти проблемы, во второй половине 1970-х гг. были связаны не только с упомянутыми выше арестами редакторов. Дело в том, что во второй половине 1970-х гг. мы столкнулись со следующей парадоксальной ситуацией: информационная база ХТС, несмотря на репрессии, расширилась; объем выпусков увеличивался; возможности распространения информации расширились, за счет, прежде всего репродуцирования ее западными радиостанциями, вещавшими на Советский Союз, но, вместе с тем, с увеличением объема выпусков ХТС стало возрастать время, уходящее у ее редакторов на обработку накапливающейся у них информации. Следствие – **увеличение временного разрыва между событиями в сфере нарушения прав человека и борьбы за них и поступление информации об этом к «потребителю».**[3]

Следует отметить, что общественный **«спрос» на информацию** такого рода (причем, информацию оперативную) в этот период **заметно возрастает.** И дело не только в том, что за годы своего существования ХТС «вырастила и воспитала» определенный круг своих постоянных читателей, для которых регулярное знакомство с правозащитной информацией стало привычной потребностью. – Тут помимо этого сработало сложное **взаимодействие внешне- и внутриполитических факторов,** перехлестнувшихся с национальными, если так можно выразиться, особенностями мировосприятия советского народа.

---

[*] При написании доклада использованы материалы Архива «Мемориала». Сердечная благодарность за советы и помощь в этой работе г-дам Александру Даниэлю и Арсению Рогинскому (Москва).

[1] См. напр., очерк истории диссидентства на сайте Мемориала (http://wwww.memo.ru/history/diss/).

[2] Там же.

[3] Готовя этот доклад, я консультировался с одним из редакторов ХТС, присутствующим здесь Александром Даниэлем. И суждение об этой проблеме ХТС того времени – плод наших общих наблюдений, опирающихся, кстати, на наши беседы с покойной ныне Т.М.Великановой.

Попробую описать эту многофакторную систему. (При этом прошу иметь в виду, что последовательность перечисления отнюдь не означает порядка значимости того или иного ее элемента.)

● Подписание Хельсинкских соглашений (1975), «третья корзина» которых, по мысли западных ее составителей должна была создать международный стандарт, сдерживающий советские репрессии против диссидентов. Советские составители «третьей корзины»[4] похоже недооценили поначалу значения гуманитарных статей Хельсинкского Акта. Исходя из того, что «*международное право не имеет обязывающей силы, не располагает органами принуждения*»[5], они рассчитывали, что принципы, декларированные в этой части соглашений обернутся чистой риторикой, за которую они «покупают» декларируемое в «первой корзине» подтверждение признания незыблемости границ в Европе, которое они трактовали для себя как признание сохранения социалистического лагеря. Они не сумели предвидеть, что уже опубликование в СССР Хельсинского Акта даст не только новый импульс правозащитному движению в СССР, но и стимулирует традиционную аппеляцию советских граждан, чьи права так или иначе нарушаются, к внешнему миру и силам, придавая этой апелляции некую не признававшуюся раньше легальность.√

● Победа на президентских выборах в США Джимми Картера (1976), сделавшего, по словам отнюдь не симпатизировавшего ему Генри Киссинджера, «*права человека альфой и омегой своей внешней политики*»[6]. Благодаря советским и западным масс-медиа, приверженность Картера идее прав человека была известна в СССР всем, кто мало-мальски интересовался политикой еще до его избрания. Присутствующий здесчь С.А.Ковалев некогда вспоминал: «*Когда я был в зоне, а Картер стал президентом, общее настроение зоны было настроение праздника. Потому что мы даже в условиях советской цензуры не могли не услышать, что он сказал о краеугольном камне новой американской политики - правах человека.*»[7]

В стране, где достоинства власти десятилетиями отождествлялись с ее силой и решительностью ее деклараций, любое заявление Картера, связанное с защитой прав человека, воспринималось людьми, страдающими от ущемления этих прав, как наступление на их собственных властителей, и многими из них приветствовалось. (Я говорю сейчас о плохо еще изученной реакции советского общества на заявления Картера о сокращении помощи странам, в которых нарушаются права человека (1977), американском эмбарго на экспорт зерна и технологий в СССР и американском бойкоте Олимпийских игр в Москве (1980), ставшими реакцией на вторжение советских войск в Афганистан (1980). Картер, также как и ОБСЕ, стали адресатом традиционных апелляций советских крамольников к внешним силам, апелляций, количество которых в это время заметно возрастает. (Не последнюю роль в этом играет опыт и практика советских правозащитников[8]).

● Активизация в «эпоху детанта» (1975-1979) правозащитников, как в СССР, так и на Западе, находила естественное отражение в деятельности западных масс-медиа. Их внимание к правозащитной проблематике и судьбам советских диссидентов в этот период заметно возрастает. Количество публикаций, связанных с этой тематикой тоже. Наиболее значительные из них, как и увеличивающийся поток советского

---

[4] Мне довелось беседовать с одним из них – генерал-лейтенантом КГБ, старшим консультантом Л.Брежнева и Ю.Андропова по вопросам внешней разведки С.А. Кондрашовым; ныне он предпочитает именоваться «историком-публицистом».

[5] Эта сентенция принадлежит отнюдь не советским авторам, а американской правозащитнице Кэтрин Фицпатрик. (*См.: Кэтрин Фицпатрик (США). Опыт американского правозащитного движения.* - http://www.hrights.ru/text/b1/Chapter13.htm).

[6] Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997. С.703.

[7] См.: RFE-RL. Русская служба. Программа «Факты и мнения», 14.12.02 (http://www.svoboda.org/programs/rt/2002/rt.121402.asp)

[8] Я имею в виду прежде всего создание (1969) Инициативной группы по защите прав человека в СССР (ИГ), основной формой деятельности которой стали открытые письма, обращенные в ООН, и возникновение Хельсинкского движения, активисты которого обобщали данные о нарушениях прав человека в СССР и регулярно передавали эту информацию правительствам стран-участниц Хельсинкских соглашений и западным масс-медиа.

самиздата занимают постоянное место в западных радиопередачах на Советский Союз. А это в свою очередь стимулирует как «спрос» на такого рода информацию на Западе, так и самиздатскую и иного рода протестную активность внутри СССР.[9]

●Эффективность зарубежного радиовещания на СССР до сих пор в достаточной мере не изучена. Пока складывается впечатление, что в ЦК КПСС и КГБ СССР до конца их существования не было точного представления о величине советской аудитории западных радиостанций и степени их влияния на советских слушателей.[10] Секретарь ЦК КПСС Е. Лигачев и председатель КГБ В. Чебриков в письме в ЦК КПСС от 25 сентября 1986 г. "О прекращении глушения передач радиостанций "Голос Америки", "Би-Би-Си", "Радио Пекина" и "Радио Кореи"" отметили, что "*средствами дальней и ближней защиты с разной степенью эффективности перекрываются регионы страны, в которых проживают около 100-130 млн. человек*"."*Дальней защитой обеспечивается глушение передач примерно на 30 процентах территории Советского Союза" (…) Многие внутренние районы страны радиозащитой не прикрыты, а эффективность глушения в ряде крупных городов центра России, Прибалтийских и Закавказских республиках существенно ниже, чем в среднем по стране".*[11] Следовательно, **половина жителей Советского Союза имела возможность слушать западные радиоголоса**, и это вызывало беспокойство у руководства. Еще в начале 1984 г. Генсек КПСС К.Черненко и Председатель Совета министров Н.Тихонов подписали совместное постановление ЦК и СМ, предусматривающее на 12-ю пятилетку «*задание по прекращению выпуска массовых вещательных радиоприемников с диапазоном коротких волн*»[12], т.е. аппаратуры, позволяющей слушать западные радиостанции. В том же 1984 г. было принято секретное постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве 18-ти РПП по 15÷20 передатчиков.

Но все это было уже на излете коммунистической эры. А возвращая ваше внимание к периоду «детанта» и его конца, хочу отметить весьма беспокоившие советские власти вещи: В марте 1977 г. президент США Дж. Картер обратился в Конгресс с просьбой выделить средства для покупки для зарубежного радиовещания 11-ти новых 250-киловаттных коротковолновых передатчиков. (Уровень годового финансирования RFE/RL, в 1970-е годы составлявший около 50 млн. долларов, в 1980-е вырос до 227 млн.)[13]

Уже накануне этого американского «радионаступления» КГБ выразил серьезную озабоченность как расширением советской аудитории западных станций, так и возрастанием эффективности их вещания. В декабре 1976-го года Ю.Андропов представил в Секретариат ЦК КПСС аналитическую справку начальника

---

[9] Любопытно, что такого рода активность стимулировали и «контрпропагандистские» публикации советских авторов, количество которых после публикации Хельсинкского акта вынужденно увеличивается.- Во-первых, действовал выработанный годами официозной лжи механизм «обратного восприятия» казенной пропаганды (если власть уверяет, что через 20 лет построят коммунизм, значит – никогда, если пишут о «превосходстве советского образа жизни», значит жизнь за рубежом наверняка лучше, если говорят, что Запад в своем сочувствии советским гражданам лицемерен, значит только на него надо и надеяться… и т.п.) Во-вторых, «контрпропагандистские» публикации невольно давали «рецепты» действий и адреса, по которым можно жаловаться. Бывало, что контрпродуктивными оказывались для «контрпропаганды» и случайные совпадения обстоятельств (через 2 недели после демонстрации на Пушкинской площади в защиту политзаключенных (1976) был обменян на Л. Корвалана В.Буковский – некоторые слушатели «вражьих голосов» решили, что второе событие является следствием первого; и никакая контрпропаганда их в этом разуверить не могла!…)

[10] С одной стороны, КГБ, опираясь на закрытые социологические исследования, утверждал, что слушателем западных радиостанций является чуть ли не каждый второй молодой человек, и, исходя из этого, требовал увеличения расходов на радиоглушение и контрпропаганду. С другой стороны, средств на это явно не хватало. Вдобавок, как рассказывал мне бывший первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС В.Загладин, в верхах существовало мнение, что КГБ несколько преувеличивает угрозу, «*чтобы придать большую эффективность или, во всяком случае, представление о большей эффективности собственной деятельности*» (См.: RFE-RL. Русская служба. - *Владимир Тольц. Программа «Разница во времени», 16.02.03. – «Свобода» как «осознанная необходимость».*- http://www.svoboda.org/programs/TD/2003/TD.021603.asp)

[11] Цитируется по: Римантас Плейскис. Радиоцензура. Вильнюс, 2002

[12] См. там же.

[13] Там же.

"идеологического" управления КГБ СССР Ф. Бобкова «*О характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи*»:

> ... В идеологической диверсии против советской молодежи противник активно использует различные каналы международного общения. Особое значение он придает радиопропаганде.
>
> В настоящее время с территории капиталистических стран на Советский Союз ведут передачи 41 радиостанция, объем вещания которых составляет 253 часа в сутки. (подчеркнуто мной.- В.Т.) Большинство их радиопрограмм строится применительно к молодежной аудитории. <...>
>
> …"Один из руководителей "Комитета радио "Свобода"" в следующих словах выразил установки спецслужб на организацию идеологической диверсии среди советской молодежи: "Совершенно необязательно формировать для советской молодежи конкретные позитивные лозунги. Вполне достаточно вызвать у нее раздражение окружающей действительностью". При этом, заявил он, "неизбежно обнаружатся люди, готовые пойти на все ради кардинальных перемен".
>
> "Анализ статистических данных показывает, что значительная часть лиц, совершивших политически вредные проявления, испытывала идеологически вредное воздействие из-за рубежа. <...>
>
> Из числа всех факторов в качестве основного выступает влияние зарубежной радиопропаганды, сказавшееся на формировании идеологически враждебной установки более чем у 1/3 лиц (1445 человек), допустивших негативные проявления. Анализ материалов свидетельствует, о распространении среди молодежи интереса к зарубежному вещанию. Так, по данным исследования "Аудитория западных радиостанций в г.Москве", проведенного отделом прикладных социальных исследований ИСИ Академии наук СССР, с большей или меньшей регулярностью радиостанции слушают 80% студентов и около 90% учащихся старших классов средних школ, ГПТУ, техникумов. У большинства этих лиц слушание зарубежного радио превратилось в привычку (не реже 1-2 раз в неделю зарубежные радиопередачи слушают 32% студентов и 59,2% учащихся).
>
> Исследование "Формирование мировоззрения и ценностной ориентации студенческой молодежи г. Омска" показало, что передачи зарубежных радиостанций периодически прослушивали 39,7% из числа анкетированных студентов. <...>
>
> (По данным социологического исследования "Аудитория западных радиостанций в г. Москве", музыкальными программами увлекается 2/3 радиослушателей в возрасте до 30 лет.) Дальше эволюция интересов и настроений во многом соответствовала схеме, которую на инструктивном совещании определил руководитель одной из секций радиостанции "Свободная Европа": "Нашему корреспонденту 16 лет. Сейчас он интересуется пластинками, но через 5-10 лет, привыкнув к нашим передачам, он будет слушать всю программу". [14]

●Советское вторжение в Афганистан (1979), вызвавшее решительные протесты, как на Западе, так и в Советском Союзе, существенно **увеличило объем репродукции «антисоветских» и «диссидентских» материалов** западными голосами. В качестве ответной меры СССР 20 августа возобновил глушение передач BBC, DW и VOA[15]. Однако

[14] См.: RFE-RL. Русская служба. - *Владимир Тольц.Указ. программа.*

[15] См. Римантас Плейскис. Указ.сочинение. Ранее, в периоды потеплений международных отношений, глушение этих радиостанций дважды прекращалось: 19 июня 1963 г. (пауза длилась до вторжения в Чехословакию (21 августа 1968 г.) и 10 сентября 1973 г. (глушение возобновилось через 2,5 недели после

ни количества используемых западными радиостанциями «диссидентских» материалов (в т.ч., ХТС), ни воздействия этих материалов на советских слушателей эта мера не уменьшила.

Это воздействие сказалось, в частности, в значительном **увеличении самиздатской «продукции»**[16], которую ХТС в силу отмеченных выше обстоятельств (репрессии против выпускающих, увеличение временного разрыва между событиями в сфере нарушения прав человека и борьбы за них и выходом очередного номера издания) уже не могла оперативно сообщать правозащитную информацию своим «потребителям». Одним из следствий репрессивной активности КГБ явилось также сокращение возможностей для самиздатчиков передавать свою продукцию, все более ориентированную в этот период на репродуцирование ее по иностранным радиостанциям и в «тамиздате», на Запад.

* * *

Издание «В» явилось одной из попыток решения констатированных выше проблем. Идея издания принадлежит Ивану Ковалеву, который до самого своего ареста был «мотором» нашего предприятия. Высказал он ее где-то осенью 1979 г. мне и Алексею Смирнову. В течение нескольких месяцев мы обсуждали технику сбора информации, ее оформления и тиражирования, определяли круг «посвященных», отрабатывали «каналы» получения и дальнейшей передачи. (За это время были созданы и переданы в ХТС и на Запад несколько пробных оперативных подборок информации – без указания имен составителей и названия). Наконец, 10 мая 1980 г.[17] вышел и начал распространяться по адресатам первый регулярный выпуск нашей «продукции».[18] Позднее, адресуясь одному из получателей ее, Иван писал:

> Это текущая информация, во многом, вероятно, нуждающаяся в проверке, уточнениях и дополнениях. Фактически это «газета Д.С.П.».[19] Не надо объявлять ее с каким-то названием, ссылки на источник тоже не надо. Выходит довольно часто. Последнее время один раз в неделю. Средний объем 10-15 страниц.
>
> Я попросил Лизу[20] перепечатывать, чтобы был один экземпляр для Вас. Будет оставаться на Чкалова[21].
>
> «Ареал распространения»: «Хроника», «Хельсинки»[22], А.Д.,[23] дипломаты, корры,[24] «Р.М.» (?)[25]

Эта записка – иллюстрация как некоторых наших (составителей и авторов) издания принципов и правил, так и их нарушения. Главным для нас были оперативность и континуитет, который в тех условиях мы пытались достичь анонимностью и «незаметностью» своего издания, отсутствием опасной для «предприятия» «рекламы» и ограничением круга лиц, соприкасающихся с нами как издателями и знающих нас в

закрытия в Москве Олимпийский игр). Глушение передач RFE-RL не прекращалось с их начала до 30 ноября 1988 г.

[16] Для аннотации разросшегося самиздата был создан даже специальный библиографический бюллетень «Сумма» , материалы которого использовались в ХТС. Однако значительная часть аннотируемых в нем материалов до заинтересованного в нем потребителя оперативно не доходила.

[17] Дата восстанавливается по нехитрой, придуманной мной для последующих уточнений и дополнений кодировке (00510-1; последняя цифра – номер выпуска, позднее она дополнялась нумерацией раздела внутри выпуска).

[18] См. иллюстрацию №1 - Первая страница первого выпуска информации «В». (10 мая 1980 г.). Машинописная копия, рукопись (автограф И.Ковалева).

[19] Д.С.П. – «для служебного пользования» - советская аббревиатура, использовавшаяся в качестве грифа на многочисленных советских несекретных печатных материалах для ограничения доступа к ним постороннего читателя.

[20] Елизавета Алексеева

[21] Адрес московской квартиры Боннэр-Сахарова.

[22] Московская Хельсинкская группа.

[23] А.Д.Сахаров, находившийся в то время в горьковской ссылке.

[24] Имелись в виду корреспонденты западных масс-медиа

[25] Издающаяся в Париже газета «Русская мысль», ставшая одним из получателей, передаточных звеньев и републикаторов информации «В». Судя по рукописной помете на том же листе, этот экземпляр выпуска В-17 дошел до адресата именно через «Русскую мысль».

этом качестве. Однако вопреки согласованным принципам «конспирации» записка написана от руки[26] и в ней упомянуто имя машинистки, перепечатывавшей «В».

Через 10 выпусков «В», в несколько изменившейся ситуации (при одном из обысков КГБ была изъята полная подборка копий нашего издания) мы вынуждены были вернуться к этой теме и опубликовать свое заявление «От составителя»:

> … Большинство выпусков «В» является информационными текстами, требующими помимо литературного редактирования еще и дополнительной проверки. Однако составитель целиком отвечает за адекватность передачи сообщаемой ему информации. Свою оценку степени достоверности сообщения составитель стремится отразить в самом тексте.
>
> Любые дополнения и поправки будут приняты с благодарностью.
>
> Составитель не желает пока объявлять «В» в качестве самостоятельного издания, стремясь увеличить тем самым его долговечность. Любые тексты «В» составитель с радостью предоставляет любому заинтересованному лицу или организации в качестве информации.
>
> Тем не менее, в случае использования сообщений «В» как готовых текстов составитель выражает свое согласие на такое их использование лишь в том случае, если «В» не упоминается как источник, но поправки и дополнения к его текстам даются […] в сносках или примечаниях издания, цитирующего «В».[27]

Этими, совместно выработанными правилами мы, составители «В», и наши пользователи и републикаторы (прежде всего ХТС, «Вести из СССР» Кронида Любарского и некоторые западные издания) руководствовались и после ареста И.Ковалева (25.08.1981), вплоть до моего отъезда из СССР и ареста А.Смирнова (сент. 1982). За это время (с мая 1980 по сент. 1982) было изготовлено и передано потребителям 83 выпуска «В», объем некоторых из них превысил 100 страниц. (А если добавить к этому и еще сотню-две страниц, самиздата которые мы прилагали к нашему изданию при каждой почти отправке его за рубеж, получался довольно мощный информационный блок.) Сопоставление содержания этих блоков с выходившими позднее выпусками ХТС и Вестей, а также западными публикациями о нарушениях прав человека в СССР и преследовании там инакомыслящих может выявить, что **именно неафишируемая информация «В» и служила в начале 1980 г. бэкграундом большинства этих публикаций, а часто и воспроизводилась в них почти дословно.**[28]

Являясь родственным ХТС предприятием и попыткой найти решения возникших у нее проблем, издание «В» естественно и тематически следовало за ней. – Проблема прав человека и преследования инакомыслия в СССР была в фокусе нашего внимания. Но наши интересы этим предметом не исчерпывались. И это сказалось на попытках расширить тематику издания. Так появились сообщения о рок-опере А.Рыбникова

---

[26] На правах старшего по возрасту я неоднократно корил И.Ковалева его «автографами» на выпусках «В». Он признавал «ошибки» и оправдывался обычно внезапной срочностью отправки материалов за рубеж и необходимостью внести в них исправления и дополнения. Каково же было мое смущение, когда я, просматривая ныне в Архиве Мемориала подборки информации «В», обнаружил, что нарушал «конспирацию» не меньше Ковалева – те же записки, исправления и дополнения, сделанные и моей рукой! (См., напр., иллюстрации №№ 4,5 к настоящему докладу.) Наиболее последовательным «конспиратором» из нас был А.Смирнов.

[27] «В», 27-22.

[28] Подобное сопоставление может опровергнуть и поверхностное противопоставление материалов «В» как *«“сырых”, необработанных новостей, которые не подвергались тщательной проверке, как это было принято в других правозащитных изданиях»* деятельности и «продукции» тех, *«кто занимался сбором, проверкой и обработкой информации о положении с правами человека в СССР»*, т.е. прежде всего синхронным выпускам ХТС и «Вестей из СССР» (см.: http://wwww.memo.ru/history/diss/ - Бюллетени “В” и “+”). Сопоставительный анализ текстов убеждает в том, что «*обработка информации*» «В» редакторами ХТС и «Вестей» сводилась прежде всего к литературному редактированию с учетом поправок и дополнений, публикуемых в том же «В», а также к сокращению исходных текстов до «стандартного» для того или иного издания размера. Возможности «*проверки*» у издателей ХТС в указанный период были крайне ограничены и часто сводились к возможностям того же «В».

«Юнона и Авось» (В28-7), об экологии Уфы (В46-22), запутанных уголовно-политических делах – убийстве актрисы Зои Федоровой ((В65-21), деле любовника Г.Брежневой (В71-17), заметки о кончине Н.Я.Мандельштам (В52-43) и т.п. В 52-м выпуске «В» впервые появляется раздел «Архив В» (опубликованы заметки психиатра Корягина). Сравнительно недавно А.П.Лавут уподобил «В» «*интернетовским лентам новостей*»[29]. Это верно лишь в смысле принципа неструктурированности в подаче информации.[30] – Не будучи профессиональными журналистами, мы, в ту пору довольно приблизительно представляли структуру «лент новостей»: разве что – по «Белому ТАССу», материалы которого были нам периодически доступны и иногда использовались в «В». Однако все эти **попытки тематического расширения информации воспринимались нашими потребителями довольно прохладно.**[31]

* * *

Это сообщение уже превысило все отведенные ему лимиты времени и объема. Но повествуя вам о структуре, содержании и принципах издания «В», о том месте, которое «В» занимало в информационном поле начала 1980 гг., я почти ничего не сказал вам о главном – о людях. О тех, кто делился с нами секретной, порой, информацией, кто самоотверженно помогал собирать ее, о тех, кто ее перепечатывал, рискуя собственной свободой, а иногда и расплачиваясь ею за свою деятельность. Я никак не упомянул тех замечательных людей, – иностранных корреспондентов и дипломатов, советских граждан и иностранцев, - которые служили нам «курьерами», регулярно или эпизодически передавая за рубеж не только нашу информацию «В», но и ХТС, и килограммы (!) публицистического, литературного, религиозного и прочего самиздата, а возвращаясь в советский «холод», привозили нам не только тамиздат и письма от зарубежных друзей, но и помощь политзаключенным и их семьям – деньги, лекарства, теплые вещи… (Многое из этого тоже проходило через «В» и его друзей.) А еще – люди, усилиями которых, информация «В» и самиздат репродуцировались на Западе, а затем возвращалась в СССР. И те, кто использовал эту информацию выступлений в защиту прав человека в Советском Союзе.

Имен некоторых из них я до сих пор не знаю. Иных уж нет в живых. Есть и такие, кто, передавая нашу информацию, нарушал тем самым должностные правила и инструкции учреждений, в которых продолжают служить, а потому и «не жаждут» огласки своих былых деяний.

И есть архивные подборки информации и бюллетеня «В», самиздата, который проходит через него – по-прежнему малоизвестный анонимный памятник всем этим живым и мертвым. Простите грубость сравнения, но пока – в неизученном виде – он напоминает мне неухоженную могилку неизвестного солдата (таких еще много в России).

И лишь исследовательское внимание к этому памятнику и тому историческому контексту, в который он многообразно вписан, к персональному вкладу в это предприятие каждого к нему причастного, к мотивации их поведения и поступков, к их судьбам может превратить архивные отложения в живой мост между нашим, еще не завершившимся «вчера» и сегодняшними проблемами. В моральном отношении такое

---

[29] См.: RFE-RL. Русская служба. - ***Вся "Хроника текущих событий" в Интернете [03-12-02]***

[30] От этого принципа попытались отойти наши преемники – С.Григорьянц и его коллеги. С 84-го выпуска (октябрь 1982) «В» оформляется как особое печатное издание (начинает именоваться «бюллетенем», на обложке его декларируется тематика постоянных разделов – все по «модели» ХТС). На мой взгляд, это отступление от прежнего принципа «незаметности» ничего, кроме удовлетворения журналистско-хроникерских амбиций (что тоже – немало!) не принесло. Но основная причина тут – в резком увеличении репрессивного давления: в мае 1983 было заявлено о прекращении издания «под угрозой ареста лиц, подозреваемых в близости к редакции» (В-105). В сентябре 1983 прекратила существование и ХТС.

[31] Наиболее показательным в этом отношении является случай с описанием нашумевшей в конце 1970- начале 1980 гг. коммерческо-коррупционной аферы «Рыба» (см.В45-26) На описание этого всесоюзного скандала меня вдохновила С.В.Каллистратова, по достоинству оценившая историческую масштабность этого комплекса уголовных дел, по части которых следствие вело КГБ СССР. Но уже в процессе сбора информации, встречаясь со знакомыми адвокатами, я столкнулся с непониманием моего интереса – ведь расспрашивал я не о «политических» делах. Позднее, когда я оказался в Германии, К.Любарский посетовал мне, что описание «Рыбы» никому на Западе не интересно – его удалось опубликовать лишь в эмигрантской «Русской мысли»…

внимание было бы естественным воздаянием тем, чьими усилиями этот незаметный пока памятник антитоталитарного резистанса был создан. Словами благодарности всем им я их хотел бы завершить это выступление.

Джованни Гуайта.
Giovanni Guaita

Сопротивление верующих на примерах Павла Флоренского и Александра Меня.

Репрессии, преследования, нарушения прав человека в отношении верующих всех конфессий, приверженцев самых различных Церквей стали неотъемлемой частью советской истории, которая началась на следующий день после революции и продолжалась до конца 80-х годов. Тем не менее эта постоянная величина не была одинаковой по степени интенсивности и по своим проявлениям в разные периоды советской власти.

В первые двадцать лет после революции (во время военного коммунизма, НЭПа, полного захвата власти Сталиным после смерти Ленина, в период коллективизации и раскулачивания и, наконец, в годы террора и великих «сталинских чисток») предпринимались попытки полного физического уничтожения Церкви: учинялись расстрелы и депортация иерархии, конфискация церковного имущества и разрушение церквей, принудительная экспатриация верующей интеллигенции. Позднее, с начала войны до смерти Сталина (в 1953 году), русской Церкви и другим Церквам, существовавшим в СССР, с трудом, но всё же удавалось найти *modus vivendi* способ существования, который позволял им выжить – в условиях строгих ограничений, безмолвно и осмотрительно – в рамках атеистического государства. Затем последовало ещё одно крайне трудное для верующих десятилетие: во время хрущёвской *оттепели* коммунистическая партия вела упорную идеологическую борьбу против религиозной веры. Дальше, в течение почти двадцати лет «застоя», когда у власти стоял Брежнев, Церкви чинились всяческие препоны бюрократического характера, и государственная репрессивная машина использовала для её подавления не только тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря, но также психиатрические клиники. Затем при Андропове положение верующих, как и многих инакомыслящих, ещё более ухудшилось и осталось в сущности неизменным во время короткого правления Черненко и в первые годы власти Горбачёва. Ощутимое изменение политической стратегии государства в отношении религии произошло лишь в 1988 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси. Но инерция системы идеологического контроля и нестабильность «перестройки» приводили к новым ущемлениям прав верующих практически вплоть до распада СССР.

Если формы преследования менялись с течением времени, то разной была и реакция на него самих верующих, позиция, которую они занимали по отношению к советской власти. Она колебалась от тотального противостояния режиму, от непреклонного разоблачения всех противоправных действий и героического самопожертвования до пособничества властям и полного компромисса. Находясь между этими двумя крайностями, многие христиане пытались сосуществовать с коммунистическими властями: одни содействовали строительству советского общества и при этом недвусмысленно исповедовали свою веру; другие не противостояли власти, но и не заключали с ней союза, живя как бы во внутренней ссылке, замкнувшись в ограниченной одним лишь культом вере; третьи, сводя к минимуму возможность встречи и столкновения с представителями власти, противостояли государственному атеизму, отдавая все силы ответственному и творческому свидетельству веры.

Я не собираюсь сейчас рисовать хронологическую картину преследований за веру в СССР. В этом докладе я представлю лишь два конкретных примера жертв антирелигиозной ненависти. Речь идёт о Павле Флоренском и Александре Мене. Жившие один в начале, а другой в конце советской эпохи, эти две фигуры, эти два священника-интеллектуала как бы охватывают весь период гонений за веру, и в их судьбах прослеживаются удивительные аналогии. Павел Флоренский и Александр Мень заплатили кровью за свою верность Христу и за свою гениальность. Люди науки и Церкви, оба они склонялись к синтетическому видению мира, в котором наука и вера, культура и религия не только встречаются и гармонично взаимодействуют между собой, но и составляют единое целое. Они подтвердили практикой жизни и собственным мировоззрением отмеченное Флоренским однокоренное происхождение слов *культура* и *культ*.

Александр Мень и Павел Флоренский каждый по-своему разработали систему интерпретации действительности, основанную на единстве. Оба достигли необычайной гармонии между теоретической мыслью и конкретной жизнью. Имея возможность эмигрировать, оба осознанно предпочли остаться в России и разделить участь своего народа.

И, наконец – это самый интересный аспект, – и один, и другой не пассивно терпели преследования, но были, несмотря на них (и несомненно именно в ответ на них), чрезвычайно активны: в крайне трудных условиях они сумели создать труды, имеющие огромное значение для современников и для последующих поколений. Именно такая «положительная реакция» на давление властей стала, на мой взгляд, той отличительной особенностью, которая главным образом позволяет дать личности как Флоренского, так и Меня не только определение *свидетель* – так переводится с греческого языка христианское слово *martyros (мученик),* – но и *праведник.* Действительно, они решительно стояли на стороне преследуемых, они сохраняли собственное интеллектуальное достоинство, не утратив способности мыслить независимо, вопреки навязываемой идеологии и оставались до конца верными своим принципам. Более того, они продолжали верить в то, что можно в любых условиях трудиться на благо мира и активно действовать, отдавая все свои силы и способности на служение человечеству.

ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО часто называют «русским Леонардо». Поистине его гениальность и многогранность феноменальны: он был биологом, физиком, математиком, инженером и одновременно философом, богословом, филологом, специалистом в области эстетики, литературы, музыки, живописи и так далее.

Флоренский родился в Азербайджане, в городке Евлахе, 9 января 1882 года. Его мать была армянкой, отец русским. Блестяще закончив 2-ю классическую гимназию в Тифлисе, он в 1900 году поступил на Физико-математический факультет Московского Университета. По окончании учебы (1904), отказавшись от работы на математическом отделении факультета, он поступил в Московскую Духовную Академию. В 1910 году Флоренский женился и в следующем году был рукоположен во священники. Всю свою жизнь Флоренский продолжал научные изыскания и параллельно писал богословские и философские труды. В период, предшествовавший революции, он был близок к кругам символистов, к литературному и культурному авангарду Москвы.

После революции он принял решение не эмигрировать: такой выбор отличал его от большей части верующей интеллигенции и его друзей, которые или сами покинули страну, или были изгнаны из нее государственными властями. Флоренский уговаривал многих «не оставлять корабля» и однажды ответил группе учеников, которые настойчиво спрашивали его, допустимо ли при определённых обстоятельствах эмигрировать: «Те из вас, кто чувствует себя достаточно сильными, чтобы сопротивляться, должны остаться, а те, кто боится и не ощущает в себе твёрдости и уверенности, могут уехать». Что же до него самого, он предпочёл не просто остаться, но продолжать научные исследования и активнее участвовать в общественной и культурной жизни страны, не скрывая при этом ни своей веры, ни своего священнического сана.

Так священник Флоренский был одновременно профессором во ВХУТЕМАСе (Государственной Высшей художественно-технической мастерской), где преподавал «Анализ пространственности в художественных произведениях», ученым секретарем в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, членом «Главэлектро» (Центрального управления электрификации России) и «Гоэлро» (Государственного Электротехнического института), автором большого числа статей многотомной Технической Энциклопедии, выпущенной в 1927-33 годах, и редактором нескольких её томов.

Флоренский принимал участие в различных совещаниях, проводимых руководством этих организаций, и во всякого рода научных симпозиумах, при этом регулярно приходил на эти собрания в подряснике.

Для того, чтобы должным образом оценить смелость его поведения, нужно помнить, что в 20-е годы партия взяла под контроль всю культурную жизнь страны и производила «чистки» среди интеллигенции, устраняя из неё все неудобные элементы. Таким образом к концу 20-х годов из России исчезло большинство наиболее антиконформистски настроенных и активных деятелей культуры: одних изгнали, депортировали, расстреляли, другие уехали из страны сами, были и такие, которые лишили себя жизни или были убиты под видом самоубийства. В их числе оказались богословы Булгаков и Бердяев, философы Струве и Лосский, художник Шагал, писатели Гумилёв, Есенин, Иванов, Бальмонт, Бунин, Шмелёв, Ремизов, Набоков, Цветаева, Мережковский, Гиппиус и многие, многие другие. В те годы с Флоренским познакомился Лев Троцкий, который открыто конфликтовал со Сталиным. Удивлённый при виде Флоренского, пришедшего в рясе на научное совещание, он довольно резко спросил его о причине такого на его взгляд неуместного выбора одежды. Флоренский ответил ему: «Я православный священник и не снимал с себя сана, поэтому я не могу иначе». Обезоруживающий ответ завоевал симпатию лидера большевиков, и с тех пор он с большим уважением относился к «попу-учёному». Флоренский был в хороших отношениях и с Бухариным. Но знакомство с высокопоставленными политическими деятелями, противниками Сталина, оказало, безусловно, пагубное влияние на его судьбу.

Именно 1925-33 годы, столь трудные для интеллектуальной элиты России, стали самыми плодотворными в творческой деятельности Флоренского. В это время он преподает и пишет статьи для Технической Энциклопедии. Помимо наиболее значительных богословских трудов, к этому периоду относятся исследования по теории искусства и философии речи и различные изобретения в области химии и электротехники. В 1927 году он изобрёл незамерзающее машинное масло (которое назвали *деканитом* в честь десятилетия революции). Только с 1927 по 1933 годы он представил в государственное патентное бюро около сорока запросов на патенты на изобретения электроматериалов и изоляторов. В частности, он определил состав *карболита,* первой выпущенной в Советском Союзе сверхтвёрдой чёрной пластмассы, из которой с 20-х по 60-е годы делали телефонные аппараты и настольные лампы: этот материал инженеры старшего поколения до сих пор называют «пластмассой Флоренского». За 30 лет до появления транзисторов Флоренский запатентовал полупроводники, впоследствии сыгравшие очень важную роль в развитии электроники.

По прошествии недолгого времени у слишком дерзкого попа-учёного, который был бельмом на глазу у большевиков, начались неприятности. В 1928 году он впервые был осуждён как реакционер и социально опасный элемент и сослан в Нижний Новгород. Годом ранее Троцкого исключили из партии, и в 1929 году он был вынужден покинуть страну. Но первый приговор, вынесенный Флоренскому, отменили по ходатайству весьма влиятельной персоны: Е. П. Пешковой, жены Горького.

Однако в феврале 1933 года Флоренского арестовали во второй раз и заключили в камеру на Лубянке. Его приговорили к десяти годам лагерей за принадлежность к несуществующей «Контрреволюционной националистской, фашистской и монархистской организации». На основе секретных документов, которые КГБ

передало родственникам Флоренского только в 1991 году, можно утверждать, что в момент ареста в 1933 году Флоренский сознательно пошёл на то, чтобы быть отправленным в лагерь, так как в этом случае несправедливо обвинившие его коллеги могли бы получить свободу. Дело в том, что один из его коллег, профессор права, арестованный пятью годами ранее, поддался настояниям и угрозам ОГПУ и подписал заранее сфабрикованные свидетельские показания, согласно которым несколько ученых, и в том числе Флоренский, были замешаны в вымышленном «деле». Последний, узнав о том, что признание им своей «вины» избавит от ада лагерей человека, донёсшего на него, согласился с ложными обвинениями.

По словам самого Флоренского евангельская готовность «положить душу за друзей своих» является врождённой особенностью, присущей личности *праведника*. Он писал: «*Были праведники, которые с особой остротой ощущали зло и грех, присутствующие повсюду, и в своём сознании не отделяли себя от этой поврежденности мира; с огромной болью они брали на себя ответственность за грех всех людей, как будто это был их личный грех, движимые неодолимой силой, заключённой в необычной структуре их личности*».

После нескольких месяцев заключения в Москве, в августе 1933 года, началась жизнь Флоренского в исправительных лагерях. В октябре его доставили на Дальний Восток (в посёлок Свободный, затем Сковородино), а ещё почти через год, в сентябре 1934-го, направили в лагерь на Соловецких островах.

В 1937 году, когда отмечалось двадцатилетие революции, Сталин решил покончить с «врагами народа»: за два года было арестовано 7 миллионов человек, которые добавились к пяти миллионам, уже содержавшимся в лагерях к январю 1937 года. По причинам, связанным, кроме прочего, с проблемами размещения заключенных, в конце 1937 года многие из них были уничтожены. Среди них оказался и Павел Флоренский: его вместе с пятьюстами товарищами по лагерю перевезли с Соловков в Ленинград, где их, ночью 8 декабря 1937 года, расстреляли в лесу на окраине города.

Флоренский обладал унитарным (и тринитарным) восприятием космоса, жизни и знания: точные науки, философия и эстетика составляли в его мировоззрении единое целое. «*Что я делал всю жизнь?* – пишет он в письме сыну, меньше, чем за год до расстрела – *Рассматривал мир, как целое, как единую картину и реальность, но в каждый данный момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и стараясь понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему, признаку*».

В эпоху полного уничтожения традиционных духовных и нравственных ценностей, в то время, когда страну терзали мучительные раздоры, он предложил новый синтез христианской веры и мировой культуры, осуществив таким образом то, что намеревался сделать ещё в молодости: постараться «*гармонично соединить всё учение Церкви с философско-научным и художественным видением мира*» (из письма к матери). Отмечая это единство у Флоренского веры и разума, мистики и научной мысли, религии и культуры, Булгаков говорил: «В нём встретились и соединились культура и Церковь, Афины и Иерусалим».

Но это ещё не всё. Мысль Флоренского всегда отражала его образ жизни и находилась в гармонии с ним: его мыслительная деятельность, в том числе теоретическая абстракция и научный поиск, никогда не была в отрыве от его собственного жизненного опыта. В нём исследователь и священник, учёный и богослов неотделимы друг от друга: этим в частности объясняется посещение им научных конференций в подряснике.

Но именно такая религиозность – всеохватывающая, просвещённая, открытая по отношению к светской культуре – была крайне опасна для режима и ненавистна большевистским властям.

На протяжении всей жизни, верный своему двойному призванию священника и учёного, Флоренский никогда не переставал учиться, изобретать, делать открытия, творить. Он оставил после себя не только живую память и духовное наследие, но ему принадлежат вполне конкретные изобретения и доведенные до конца исследования. Казалось, внешние обстоятельства не имели никакого влияния на его невероятную способность творить.

После первого ареста в 1928 году Флоренский участвовал в составлении Технической Энциклопедии: многие его статьи служили справочным материалом для тысяч советских граждан (на протяжении многих лет после его смерти), и никто не знал или не помнил о том, что их автор – священник, который был заключён в лагерь и в 1937 году расстрелян. Заключенный в камере на Лубянке, он нашёл в себе силы и спокойствие послать государственным властям *Проект будущей структуры государства* – небольшой политический трактат, написанный философом в ожидании отправки в лагерь.

И, наконец, в течение почти пяти лет пребывания в лагерях Флоренский продолжал творческую работу и получил важные результаты в области науки и техники. И это несмотря на тяжелейшие условия, в которых содержались заключённые, несмотря на голод, холод, унижения, на физическое изнеможение и полнейшее одиночество (он испытывал не только душевное одиночество из-за отсутствия рядом родных, но также интеллектуальное и духовное, поскольку был лишён какого-либо религиозного утешения).

В посёлке Сковородино на Дальнем Востоке, на станции БАМлаг (на Байкало-Амурской магистрали, построенной заключёнными и пересекающей территорию вечной мерзлоты) он устроил себе лабораторию. Здесь он пережил период исключительно плодотворной умственной деятельности, продлившийся год: он продолжил начатое в Москве изучение изоляционных материалов и электротехники, исследовал явление

вечной мерзлоты и довёл до конца разработку технологии для постройки зданий в её условиях. Эти разработки до сих пор применяются в инженерном деле (как в промышленном, так и в жилищном строительстве) и известны под его именем. Позднее город Норильск, один из самых северных городов мира, расположенный за полярным кругом, а также современные кварталы промышленных сибирских городов Салехарда и Сургута были построены с применением метода Флоренского.

В то время как Флоренский отбывал заключение в Сковородино, супруга Горького, насколько нам известно, во второй раз просила власти о его освобождении и почти добилась цели. Говорят, что Масарик предлагал советским властям перевести его в Чехословакию. Но случилось непредвиденное. В сентябре 1934 года Флоренского внезапно перевели на Соловки. Древний монастырь, оплот православия, был переустроен в лагерь и из многовекового очага русской духовности превратился в мрачный символ сталинской репрессивной машины, став одним из самых страшных мест деспотизма XX века, где неистовство диктатуры привело к невероятному числу жертв. Здесь было отнято более миллиона человеческих жизней.

Флоренский прибыл на Соловки, после длинного и изнурительного этапа, покрытый синяками и гематомами, с разбитыми очками, в изорванной обуви, с ослабленной памятью. Климатические условия крайнего Севера и лагерный уклад жизни – жёсткость постоянного надзора, полная изоляция от всего мира, строгий контроль над корреспонденцией – оказались несравненно более тяжелыми, чем в предыдущем лагере. Флоренский переживал этот перевод как самую настоящую душевную драму: он чувствовал себя сосланным в нереальный мир лжи и варварства, в мир, в котором всё казалось ему глубоко чуждым и враждебным: даже архитектура монастыря, суровая северная природа, полярный день и полярная ночь...

И всё же он, подавленный физически и духовно, и здесь принялся за дело. Продолжил изучение вечной мерзлоты, разработку антиобледенителей, строительных технологий. Кроме того, он усовершенствовал методику извлечения йода и агар-агара из водорослей: помимо проведения научных исследований по этой теме, он организовал промышленное производство йода (Йодпром). В последние дни заключения на Соловках Флоренский исследовал благотворное действие йода в профилактике гриппа и лечении дисфункции щитовидной железы. Именно он впервые предположил, что для правильного воздействия йода нужно сочетать его с молекулами молочного белка. На основе этого его последнего открытия разработаны некоторые современные препараты, используемые в лечении нарушений, связанных с недостатком в организме йода (и, следовательно, необходимые для избежания его последствий – сердечных, иммунологических, гинекологических и психических).

Всем этим он занимался с воодушевлением, которое сам вменил себе в обязанность: вынужденный выдерживать напряжённый ритм работы фабрики по производству йода, он писал своим родным, что как учёный не чувствует себя ущемленным, потому что «*процессы в природе можно сравнивать скорее с заводским производством громадных размеров, чем с лабораторным опытом*». Сама враждебность природы, казалось, даёт ему стимул для работы; и это всего лишь через месяц после столь тяжёлого для него перевода на Соловки: «*Сейчас я занят обдумыванием (в частном порядке, это не относится к моей служебной работе), как можно организовать здесь комплексное производство – целый комбинат – добычи брома из морской воды с использованием энергии ветра и приливов в хорошо замкнутом цикле различных процессов и продуктов. (...) Постепенно также продумываю различные варианты добычи йода и других продуктов из морских водорослей. По существу тут, в вопросе о водорослях и броме, очень много важного интересного, и притом тесно связанного с моими работами по электрическим материалам*».

В течение всего времени, проведённого в заключении, Флоренский поддерживал оживлённую переписку с семьёй. Эти письма, особенно после прибытия на Соловки, были его единственной связью с внешним миром.

Он писал по ночам, после изнуряющих рабочих дней на фабрике, за счёт сна. Заключённый мог отправлять ограниченное число писем в месяц (хотя Флоренский, выполняя сверхурочную работу, вместо премии часто добивался разрешения на дополнительные письма); ограничено было и количество страниц. Поэтому в каждом письме он делил место на бумаге между женой, пятерыми детьми и матерью. Он писал каждому согласно его интересам и потребностям. Он был нежным мужем и необычайно внимательным отцом, заботился об образовании детей. В своих письмах он подстёгивал старшего сына Васю, поскольку считал его слишком робким и недостаточно усердным, обсуждал науку со вторым сыном Кириллом, учеником Вернадского, ободрял младшего, Мика, который только начинал учёбу... Дочь Ольгу после его ареста исключили из школы, и у неё начались проблемы с нервами, поэтому отец старался сам дать ей образование – в письмах из лагеря.

В этих письмах, наряду с немногими новостями о его жизни в неволе, рассуждениями о природе, о себе, о его семье и роде, практическими советами близким, Флоренский затрагивал бесчисленное множество тем и давал детям самые настоящие уроки физики, математики, геометрии, инженерного дела, ботаники, минералогии, философии, эстетики, литературы, живописи, музыки, русской и всемирной истории. Он писал о генеалогии, об этимологии имён и фамилий, а также прислал дочери составленный им самим гербарий с подробнейшими рисунками различных видов водорослей.

Таким образом это оригинальное собрание писем в определённом смысле представляет собой труд, обобщающий энциклопедические знания Флоренского; это последнее, самое трагическое и самое возвышенное

его выражение. С кафедры лагеря заключённый в нём русский Леонардо в последний раз переформулировал в письмах своё унитарное ви'дение действительности.

Всё это говорит о том, что Флоренский в условиях преследований не только до конца сохранял в неприкосновенности свою религиозную веру и своё синтетическое ви'дение мира, но и продолжал творить и создавать, несмотря на невыносимо тяжёлые обстоятельства, превратив сам лагерь в свою кафедру.

АЛЕКСАНДР МЕНЬ родился в Москве 22 января 1935 года – то есть ровно через 53 года после рождения Флоренского (9 января 1882 – это 22 января по новому стилю). Для Флоренского это был один из самых трудных периодов его жизни, так как в это время его перевели в лагерь на Соловки. Александр Мень родился в неверующей еврейской семье. Его мать с ранней молодости тянулась к христианству, и после знакомства с некоторыми членами Православной Катакомбной Церкви у неё установилась с ними глубокая духовная связь. Она приняла крещение вместе с сыном, когда тому было несколько месяцев. Так маленький Алик стал расти в обстановке катакомбной Церкви, которую именно в те годы оросила кровь многих мучеников. Многочисленные нити связывали людей, окружавших его в детстве, с великой духовной традицией Оптинских старцев, со святым Иоанном Кронштадским и другими русскими святыми. В лоне этой общины – в то время, когда его сверстники штурмовали классику марксизма-ленинизма и «гениальные сочинения товарища Сталина» – юный Александр Мень открывал для себя Священное Писание и труды Отцов Церкви.

Опыт, пережитый в катакомбной Церкви, которая была вынуждена совершать таинство Евхаристии в маленьких группах на частных квартирах и в деревенских избах, оставил глубокий след в душе будущего отца Александра, и не только потому, что этим опытом он вдохновлялся впоследствии, когда кропотливо создавал свою общину: он с самого начала привык видеть Церковь прежде всего как живую общину, а потом уже как место культа.

Александра с детства интересовало священническое служение, но прежде, чем осуществить то, что – как оказалось в дальнейшем – было его призванием, он решил получить высшее биологическое образование. Он считал, что в стране «научного материализма» служитель Бога должен хорошо разбираться в науке и быть открытым для *диалога.* Прежде всего для диалога в самом себе, затем для диалога с культурой, со светской мыслью, с современностью. Но это ещё не всё. Наука и действительность были для него рычагами веры: «*Природа была моим первым учебником богословия*», – сказал он позднее. Он также говорил: «*Я входил в лес или в палеонтологический музей, как входят в церковь*». Блестяще сдав все выпускные экзамены, дипломник Мень был исключён из института незадолго до выдачи дипломов. КГБ сообщил в деканат, что этот будущий биолог посещает церковь и оказывает ей помощь, что он поддерживает связь с епископом... В СССР человек, у которого всё ещё оставались религиозные предрассудки, не мог рассчитывать на то, чтобы стать учёным.

В 1958 году Александр Мень был рукоположен в дьяконы в Москве и 1 сентября 1960 года стал священником. Это было время десталинизации. Но если новая линия партии, поощряемая ее генеральным секретарем, для многих представителей интеллигенции означало надежду на долгожданную идеологическую свободу, то в отношении религии дело обстояло совсем иначе. Никита Хрущев, постановивший за двадцать лет построить в Советском Союзе коммунизм, в 1958 году начинает агрессивную антирелигиозную кампанию: закрываются половина церквей, бóльшая часть семинарий и почти все монастыри. В государственной печати почти ежедневно появляются нападки на Церковь и веру. Назначается год, когда последний поп будет помещен в музей, а в 1961 году Юрий Гагарин, вернувшись из космоса, рассказывает о том, что не нашел там следов Бога…

В те годы все Церкви в СССР становятся объектом новой волны преследований и ограничений; на этот раз, однако, борьба с религией принимает иные формы и ведется совершенно другими методами. Во время войны были ликвидированы различные ассоциации по пропаганде атеизма. Так, в 1947 году был закрыт *Союз Воинствующих Безбожников*, а популярный журнал *Безбожник* не выходил с лета 1941 года. Конечно, на заре 60-х годов, когда на повестке дня партии стояла «оттепель» и терпимость к инакомыслию, уже нельзя было возобновить расстрелы и депортацию; невозможно было и вернуться к старым методам борьбы, например, печатать карикатуры образца 20-х годов, на которых высмеивались толстые попы. Нужно было придумать что-то новое. Так, кампания против религиозных предрассудков приобретает отныне научную окраску: плановое государственное издательское дело будет уделять много места публикациям, посвящённым атеизму, в сентябре 1959 года основывается журнал *Наука и религия*; в борьбе с религией участвуют и другие многотиражные издания, такие, как *Знание – сила, Наука и жизнь*. В различных высших учебных заведениях наряду с кафедрами марксизма-ленинизма и диалектического материализма открываются кафедры научного атеизма.

К этому власти добавляют законы, ограничивающие деятельность Церкви, а всемогущие государственные чиновники прибегают к самым немыслимым бюрократическим придиркам. Например, священник может служить только в одном приходе, многие культовые сооружения запрещается использовать по назначению по «причинам» санитарного характера, из соображений безопасности или в целях «сохранения художественного наследия» (после чего им спокойно дают превратиться в развалины); закрываются церкви, находящиеся вблизи школ, поскольку они посягают на атеистическое воспитание молодежи, закрываются храмы, которое посещает большое количество верующих, потому что они «создают помехи уличному

движению», и так далее. Некоторых священников арестовывают как тунеядцев, паразитов на теле общества. Через средства массовой информации партия широко пропагандирует случаи вероотступничества.

В таком контексте и начал своё служение молодой отец Александр, и с самого начала чётко проявилась его необычайная одарённость: он одновременно был прекрасным *пастырем* и глубоким *ученым-интеллектуалом*. В разных деревенских приходах Московской области, в которых ему приходилось служить, он основывал группы по изучению Священного Писания, приобщения к христианской жизни, добровольной службы помощи больным и пожилым людям; он устраивал встречи семей и молодёжи**,** организовывал детские праздники. Этот энергичный, открытый и образованный священник, который мог одинаково компетентно беседовать как о богословии, так и о литературе или кино, привлёк к себе интерес многих представителей московской интеллигенции. Каждое воскресное утро всё большее число москвичей садилось в электропоезд и отбывало по направлению к деревенскому храму, где служил отец Александр. Он невольно стал духовным ориентиром для интеллигенции или по словам литературоведа Сергея Аверинцева, «миссионером для племени интеллигентов». Александр Мень общался с Солженицыным, когда тот открывал для себя христианство, он крестил поэта Александра Галича, в числе его постоянных прихожан была Надежда Мандельштам, вдова выдающегося поэта, павшего жертвой сталинских репрессий: перед ее смертью он совершил над ней таинство соборования. Он состоял в дружеских отношениях со знаменитой пианисткой Марией Юдиной (которая в прошлом поддерживала тесные контакты с Флоренским) и со многими деятелями искусства, литераторами, актёрами и режиссёрами.

В маленькой церкви в *Новой Деревне,* где отец Александр служил в течение двадцати лет, столичные интеллектуалы бок о бок с местными «бабушками» образовали необычную и живую христианскую общину, которая в гуще атеистического, агрессивно антирелигиозного общества на примере самóй своей жизни показывала, чтó такое Церковь. Каждый прихожанин был членом одной из малых групп, собиравшихся раз в неделю, чтобы читать Священное Писание, молиться, делиться духовным опытом, материальными благами и талантами. При помощи такой организации прихода Александру Меню удалось в разгар коммунизма воспитать целое поколение православных мирян. В лоне его общины родились произведения искусства религиозного содержания: литературные, поэтические и музыкальные, в том числе джазовые, а также спектакли. Вначале они ставились на сцене, читались и исполнялись втайне, на квартирах и дачах, а позднее, с наступлением «перестройки», стали известны широкой публике.

Отец Александр был неутомимым пастырем, не жалевшим ни сил, ни времени на заботу о своей общине. Он был постоянно, с самого рассвета, занят делами прихода: отпевание усопшего в Новой Деревне, тайное крещение в московской квартире, встреча группы, беседа с человеком, оказавшимся в затруднительном положении... И при этом он находил возможность заниматься научной деятельностью и литературным творчеством. Начиная с 60-х годов, он написал удивительно большое количество произведений, как популярных, так и научных: от многочисленных толкований Священного Писания и книг о Церкви и православном богослужении до руководства по изучению Ветхого Завета, предназначенного для богословских академий, от монументального *Библиологического Словаря* (изданного в Москве совсем недавно, через много лет после смерти автора, в трёх больших томах) до диафильма для детей, от жизнеописания Христа, которое пользовалось необычайным успехом, до книг о великих религиях. Все эти сочинения сначала тайно передавались из рук в руки, переписанными от руки или отпечатанными на машинке, затем они были опубликованы на русском языке в Брюсселе, под разными псевдонимами, и проникали в Советский Союз по случайным каналам, провозились на дне чемоданов иностранцами, которые хотели помочь верующим в СССР. Некоторые книги Александра Меня изданы посмертно. Многое ещё находится на стадии публикации; отдельные книги переведены на различные языки.

В течение нескольких лет отец Александр создавал труд в шести томах, в котором прослеживается духовный путь человечества. Начинается это повествование с общих вопросов о науке и вере (I том, *Истоки религии)* и с того, как зародилось религиозное чувство в эпоху первобытной цивилизации (II том, *Магизм и единобожие),* продолжается рассказом о духовности Китая и Индии (III том, *У врат молчания),* даёт представление о греческой философии, мифологии и трагедии (IV том, *Дионис, Логос, Судьба),* подходит к золотому периоду ветхозаветной религии и ее великих пророков (V том, *Вестники Царства Божия),* и, наконец, даёт обобщение духовного состояния древнего мира в период, предшествующий проповеди Иоанна Крестителя (VI том, *На пороге Нового Завета).*

Духовный путь человечества, очерченный в этой работе, как бы находит затем своё продолжение в евангельской истории, рассказанной в новой книге – жизнеописании Христа (*Сын Человеческий*), составленном на основе исторических источников, данных библейской археологии, экзегетики и герменевтики, но написанном в жанре романа. Это, безусловно, шедевр отца Александра, идеальное завершение и венец всего его творчества. Эта биография Иисуса сопровождала Александра Меня всю его жизнь: от первых задумок в возрасте четырнадцати лет, когда он набросал в тетрадке схему будущего произведения и сделал первые иллюстрации к нему, до издания и нескольких переизданий книги, до последних поправок, внесённых им в текст уже в год своей гибели. Эта книга помогла обрести веру тысячам советских людей. Её общий тираж на русском языке составляет уже более четырёх миллионов, и она постоянно переиздаётся. Опубликованная в

1996 году в Италии, она была затем напечатана на десяти других языках, и в настоящее время готовятся её переводы ещё почти на десять языков.

Шеститомник Александра Меня, имеющий общий подзаголовок: «*В поисках пути истины и жизни*», говорит о том, что он воспринимает христианство не только как завершение Ветхого Завета и кульминацию иудаизма: в его понимании это цель всякого духовного устремления человека. Вся мыслительная деятельность, научные изыскания, жажда истины и красоты приводят человека к личности Иисуса Христа. Если, с одной стороны, такая концепция христианства делает Александра Меня духовным преемником Соловьёва, Флоренского и Булгакова, то с другой стороны – роднит его с западными мыслителями, такими как Тейар де Шарден. Христос – конечная точка эволюции, ее «омега», но в то же время Он начало нового времени, «альфа» Жизни. «*Христианство только начинается*», – повторял Александр Мень. А в эпилоге биографии Христа он пишет: «*Столетия, минувшие с пасхального утра в Иудее, не более чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Новая жизнь дала только первые, подчас еще слабые ростки. Религия Благой Вести есть религия будущего*».

Такое динамическое восприятие христианства означает, что христианин, хотя он и спроецирован в будущее, призван действовать *hic et nunc, здесь и теперь,* отдавать все силы построению Царства Божия. Этот труд – содействие творению Божию и, следовательно, это творчество, реализация собственных творческих способностей. Вот почему отца Александра Меня всегда окружали люди творческие. Для него Церковь, которая никоим образом не являет собой оплот обскурантизма, была идеальной средой, где таланты человека раскрываются и приносят плоды, где он полностью осуществляется как личность. Отсюда также положительный взгляд Меня на культуру и искусство, его нежелание слишком строго разделять «священное» и «мирское», его вера в Церковь, которой не нужна крепостная стена, отгораживающая её от мира.

Что касается дела его жизни, то, конечно же, Александр Мень – и как пастырь, и как мыслитель – считал, что оно состоит в провозглашении Евангелия всем людям. Исследователь по натуре, широко одарённый и энциклопедически эрудированный, он всегда старался не быть жертвой синдрома интеллектуала, замкнувшегося в своих познаниях, как в башне из слоновой кости. «*Мой нынешний долг – замешивать чёрный хлеб на каждый день; а когда все будут сыты, вы приготовите пирожные*», – говорил он своим ученикам. И если он не разработал свои исследования так, как хотел бы и мог, если не довёл до конца начатые научные работы, то только потому, что в условиях советского общества, в котором жил, он осознавал более неотложную необходимость универсального благовестия, обращённого ко всем и всем понятного.

Это осознание безотлагательности христианского свидетельства ещё больше обострилось в последние годы его жизни. Долгий период брежневского застоя завершился; несмотря на неопределённость и многие противоречия, положение верующих в СССР стало меняться к лучшему: эти изменения начались в 1988 году, накануне тысячелетия крещения Руси. И Александр Мень, едва увидев проблеск свободы, вышел на солнечный свет. Он стал первым православным священником, который переступил порог государственной школы, чтобы провести там беседы о религии**,** он первым организовал постоянную добровольную службу помощи и духовной поддержки при детской больнице, первым основал народный православный университет, открытый для всех...

С утверждением «перестройки», в последние два года его жизни, отец Александр всё чаще участвовал в открытых дебатах и конференциях. Месяцы, предшествовавшие его смерти, стали ярким заключительным фейерверком блистательных выступлений: Александра Меня по несколько раз в неделю приглашали в кинотеатры, школы, университеты, на государственное радио и телевидение. И на самой вершине этого апофеоза, 9 сентября 1990 года, в воскресенье, в пять часов утра, когда отец Александр отправился в церковь служить литургию, на его голову обрушился топор неизвестного убийцы.

После тринадцати лет расследований, несмотря на заинтересованность этим делом тогдашнего президента СССР Горбачёва и председателя Верховного Совета РСФСР Ельцина, несмотря на широкий общественный резонанс, который получило это убийство, и на давление со стороны интеллигенции, печати и различных международных авторитетных лиц, оно по сей день остаётся нераскрытым. Едва ли убийца Александра Меня будет когда-либо найден. Из всех выдвинутых версий наименее убедительная (но наиболее активно разрабатываемая различными следователями, сменявшими один другого) – та, согласно которой это убийство было случайностью, делом рук неуравновешенного человека. На самом деле отец Александр стал слишком неудобным и опасным и в те годы, когда заговорили о *гласности,* не оставалось уже другого средства, кроме топора, чтобы заставить замолчать его голос.

Кто вложил топор в руку профессионального убийцы, чем он руководствовался, простым политическим расчётом, направленным на дестабилизацию ситуации, или желанием свести старые счёты, или антисемитизмом, или своего рода православным фундаментализмом или, что вероятнее всего, совокупностью всех этих факторов?

В действительности эти вопросы бесполезны, ибо подлинная причина гибели Александра Меня, также как и Павла Флоренского, и многочисленных других мучеников XX века – это извечная ненависть мира к праведнику. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам…Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других» (Прем. Сол. 2, 12-15), говорят между собой нечестивые в книге Премудрости Соломона. В письме от 1937 года из лагеря на Соловках Павел Флоренский дает свое объяснение этого явления – стремления учинить чудовищную расправу над праведником и гением. Жалуясь на тот факт, что советская

критика возносит изысканную хвалу Пушкину, он утверждает, что «*на Пушкине проявляется лишь мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Пушкин не первый и не последний: удел величия – страдание, – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет (...) Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем безкорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома её (...) За свой же дар величию приходится расплачиваться своей кровью. Общество же проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены*».

В случаях с Павлом Флоренским и Александром Менем, я полагаю, можно с уверенностью сказать, что – хотя советская репрессивная система и сделала всё возможное с целью помешать им принести в дар свою гениальность, вплоть до того, что отняла у них саму жизнь, – им всё равно удалось передать этот дар, оставив тем самым неизгладимый след в истории духовности и культуры XX века. Наше сегодняшнее собрание доказывает правильность слов Священного Писания: «В вечной памяти будет праведник» (Пс 111, 6).

Елена Чуковская
Elena Čukovskaja
Александр Солженицын. От выступления против цензуры
к свидетельству об Архипелаге ГУЛаг.

Дамы и господа!

Мне выпала большая честь говорить на сегодняшнем собрании об Александре Солженицыне. Я пользуюсь случаем поблагодарить организаторов этого Конгресса за такую возможность. Мое выступление проходит в дни 85-летнего юбилея Солженицына, в те самые дни, когда он в декабре 1970 года, 33 года назад получил Нобелевскую премию, врученную ему позже, тоже в эти самые дни в декабре 1974-го. И еще годовщины – 30 лет назад в августе 1973 после допросов покончила собой Елизавета Воронянская, назвавшая место хранения «Архипелага». Экземпляр рукописи был конфискован госбезопасностью. Через четыре месяца после этого, тоже 30 лет назад в конце декабря 1973 года «Архипелаг» был опубликован по просьбе автора в издательстве «ИМКА-Пресс».

Солженицын — лауреат Нобелевской премии, его книги издавались большими тиражами на всех языках мира, его выступления и интервью печатались в газетах и передавались по телевизору, о его трудах постоянно проходят дискуссии в прессе. Поэтому слишком многое стало уже общеизвестным и памятным для поколений его современников. В своей книге «Бодался теленок с дубом» и в «Архипелаге ГУЛаг» автор сам рассказал о своем литературном пути. Я буду стараться, пропуская общеизвестное, рассказать о том, чему я сама была свидетелем в годы от осени 1965 и до высылки Солженицына из Советского Союза в феврале 1974, хотя, разумеется, избежать повторений и напоминания об известных вещах невозможно.

Первое впечатление

11 сентября 1965 года у Александра Исаевича конфисковали архив на квартире его московского знакомого Вениамина Львовича Теуша, и он приехал в Москву с чемоданчиком, в котором были его уцелевшие рукописи. Он пришел к иоему деду, Корнею Ивановичу Чуковскому, и Корней Иванович был потрясен его положением. Александр Исаевич ждал ареста, был в очень плохом настроении, и Корней Иванович пригласил его к себе в Переделкино, считая, что там меньше шансов арестовать его в какой-то неразберихе, что там он будет лучше защищен.

Александр Исаевич принял это приглашение и в сентябре 1965 года жил в Переделкине. Я в это время была в отъезде. И когда я приехала, я застала всех домочадцев довольно испуганными. Солженицын жил в комнате моего дяди, который в это время тоже куда-то уехал. Мне внушали, что не нужно снизу говорить по телефону, мешать, не нужно ничего у него спрашивать, одним словом все очень старались, чтобы ему было спокойно. Я ожидала увидеть человека измученного, несчастного, нервного, капризного, больного и была крайне изумлена, увидев молодого, с военной выправкой, веселого Александра Исаевича, который старался развлечь Корнея Ивановича какими-то шуточными разговорами. Держался Александр Исаевич очень бодро. Несмотря на то, что в это время на душе у него было тяжело.

А вот запись моей матери, Лидии Корнеевны? из ее дневника:

«Первое впечатление: молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, легкий, сильный, очень русский.

Главное ощущение от него: воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему.

Когда он смеется или сильно движется, он похож на пламя; иногда он — князь Мышкин; иногда Тиль; иногда — когда моложав и красив — похож на Дубровского.

Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю.

Быстро, точно, летуче, как-то, даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица: то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее — то вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке, глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот».

Приведу запись из дневника Корнея Ивановича этого времени от 30 сентября 1965: «Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал Александр Исаевич — и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь, — огромная мощь таланта»[1].

Своей квартиры в Москве у Александра Исаевича не было. В Рязани он жил, по его рассказам, в старом, развалившемся деревянном доме рядом с шумной базой или складом, где бывали 40–50 грузовиков в день. Он часто наезжал в Москву по разным делам, и с осени 1965 года иногда на день-другой останавливался на нашей московской квартире, которая находилась в самом центре, неподалеку от журнала «Новый мир», с которым в те годы Солженицын был связан.

Конспирация

В первый же раз осенью 1965 года, когда Александр Исаевич приехал к нам в Москву, он дал мне неожиданное поручение – позвонить какой-то женщине из телефона-автомата, назваться не своим именем и передать ей какие-то определенные слова. Так начиналась для меня солженицынская

[1] Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М.: Советский писатель, 1994, с. 379.

школа конспирации, которая была многосторонней и отработанной. Прежде всего, он исходил из того, что под любым потолком, где он находится, – его прослушивают. Как он был прав в своих предположениях, стало очевидным, когда в годы перестройки опубликовали «оперативные материалы» наблюдений за Солженицыным, о которых я скажу ниже. Поэтому в доме он никогда не называл никаких имен, не упоминал никаких своих планов и встреч, не звонил из квартиры по телефону, а только из телефона-автомата. Позже он учил меня выскакивать из вагона метро в последнюю секунду с тем, чтобы избавляться от «хвостов». Показывал, как выскакивать из троллейбуса. В нашу квартиру к нему часто приходили многочисленные друзья и помощники, но никого он не называл под потолком своим именем, все были переименованы.
Вот образец одной из его записок:

18.6. 1968 «Тот экз. «Архипа» отдайте Смехачу, он сам будет читать и даст сердитой бабушке».

В те годы Александра Исаевича окружало множество людей разных поколений из разных пластов его жизни – от друзей студенческих лет до учеников из рязанской школы, в которой он преподавал в начале 1960-х годов. Был еще большой круг его ровесников, тоже прошедших войну и лагеря. Приходили писатели и читатели, Солженицын получал сотни писем.
На зиму для работы он исчезал из Москвы в какое-нибудь «укрывище», как он говорил. Теперь известно, что это была деревня под Рязанью – Солоотча, или эстонский хутор.

В ту зиму, после конфискации архива, Корней Иванович затеял хлопоты о том, чтоб Солженицыну в Москве дали квартиру. Написал письмо, которое кроме него подписали Паустовский, Капица и Сергей Сергеевич Смирнов – влиятельный секретарь Союза писателей, писавший о Брестской крепости. К Смирнову ходила я, он колебался, ставить ли ему свою подпись. Я ему сказала:
— Сергей Сергеевич, ведь Солженицын до сих пор с войны не вернулся – сперва лагерь, потом ссылка, потом неустроенная жизнь в Рязани, надо ему помочь.
Смирнов подписал письмо. Но хлопоты эти успехом не увенчались. До самой своей высылки Солженицын так и не получил в Москве ни квартиры, ни прописки. После этого письма ему сразу дали другую, чуть лучшую квартиру в Рязани.
Жил он очень скромно. В эти годы его уже совсем не печатали.
Я как-то спросила его: знаете, что значит имя Александр?
Он ответил: «Знаю – защитник людей, мы с Александром Ивановичем Герценом выполнили свой долг перед человечеством».

Общественный резонанс

Конечно, главное воздействие Солженицына на современников шло через его книги, начавшись с публикации «Одного дня...». Но в 1965 году, после конфискации архива, его перестали издавать, а потом начали потихоньку изымать его книги из библиотек. В 1974 году после высылки сразу был издан приказ Главлита об изъятии из библиотек и уничтожении всех его книг, изданных в Советском Союзе.
Но, несмотря на все запреты, воздействие на современников личности Солженицына, его позиции, его поведения, его слова было огромным.
Я здесь вспомню два эпизода.
В ноябре 1966 года Александр Исаевич выступил в Курчатовском институте (Институт Атомной энергии) с чтением глав из неопубликованного «Ракового корпуса» и недавно конфискованного «В круге первом». Это была дерзость неслыханная, и слух об этом выступлении сразу разошелся по всей Москве. Я там не была, но слышала от очевидцев. Они были потрясены его свободной, смелой и артистической манерой поведения на этой встрече. Были вопросы в записках, и на них он отвечал, не уклоняясь, говорил о конфискации своего архива, в том числе и романа «В круге первом», о тех препонах, которые чинились его работе и его общению с читающей публикой, возражал против цензуры.
Поскольку в это время уже началась «клевета с трибун», о которой я скажу ниже, он решил не отказываться от возможности ее публично опровергать и принимать все приглашения на выступления, которые к нему поступят. Такие приглашения не заставили себя ждать. Зашевелились научно-исследовательские институты, бывшие в ту пору оплотом научно-технической интеллигенции.

Случилось так, что на выступлении в Курчатовском институте был кто-то из нашего Института Элементоорганических соединений, того, в котором я работала, восхитился, и пригласили Солженицына в наш институт. У нас на доске объявлений появилось сообщение о дате и времени его выступления. Однако в день выступления минут за 15 до начала к институту подъехала машина, из нее выскочили оперативники, и появилось другое объявление: Солженицын заболел, и встреча с ним отменяется. Когда я приехала домой, я застала там Александра Исаевича, который тоже внезапно узнал, что его выступление запрещено под предлогом его несуществующей болезни. А в нашем институте был переполох. Женщина, которой велели повесисить лживое объявление, доктор наук, приписала: “боимся собственной тени”; оперативники повели ее куда то...

От этого времени у меня сохранилась его записка:

«*19/X 66.* Совершенно чудовищно, но: хотя до выступления в Карповском институте (другой научный институт, куда его тоже пригласили. — Е.Ч.) осталось 2 часа – оно еще не отменено. Если не отменят – в 14.30 уезжаю туда, а оттуда – прямо на поезд.— 14.20. Выхожу. Если не вернусь, значит состоялось. Говорят, позавчера Семичастный объявил, что я читаю «роман, запрещенный цензурой». Придется публично опровергнуть, рассказать, *кто* распространяет роман» (конфискованный роман распространял тогда «для своих» без ведома автора Комитет государственной безопасности).

И еще одна:

«*30/11 66.* Сейчас отправляюсь на *n*-ную попытку встречи в институт Востоковедения (в день отъезда в Карповском тоже не состоялось)».

Встреча в институте Востоковедения после многочисленных отмен все же состоялась, но больше ни одного раза ему не разрешили выступить. Ему перекрывали любые возможности общения со своими читателями.
Что касается его записок, то чаще всего он ставил по бокам косые крестики, и это означало, что записку следовало немедленно сжечь, не хранить, т.к. там упомянуто какое-нибудь конкретное обстоятельство или названо лицо, которое не должно стать известным. В те годы мы помнили слова Анны Зегерс: «Они знают о нас только то, что мы сами о себе рассказываем».

Весной 1967 года был назначен IV съезд писателей. Допускали туда, и в особенности на трибуну, только делегатов съезда. Солженицын не был избран делегатом. Но к съезду он начал готовиться сильно заранее. Он написал свое теперь знаменитое «Письмо IV съезду писателей», и я тоже заранее напечатала его в большом количестве экземпляров. Этих экземпляров было заготовлено больше двухсот. Экземпляры были разложены в конверты с адресами тех писателей, на поддержку которых можно было рассчитывать, а также тех журнальных редакций, которые он хотел осведомить, и накануне съезда, разосланы по этому множеству адресов.
В разных концах Москвы их опускали в разные почтовые ящики разные люди. Помню в этой роли Георгия Тэнно, близкого друга Александра Исаевича, «убежденного беглеца», морского офицера, которому посвящены многие страницы «Архипелага».

Александр Исаевич старался все предусмотреть заранее.

Еще 21 апреля 67 он писал мне: «Если со мной что-нибудь случится, Веронька принесет 16-го все конверты, вы за меня надпишете каждое письмо и отправите без «росписи». Но этого не будет».

И позже, 12 мая, за несколько дней до рассылки:

«Удалось ли раздобыть украинских делегатов?» (я помогала составлять списки адресатов этих писем).

«*16 мая 67.* В субботу намереваюсь ехать в Переделкино, днем посетить Каверина, еще туда приедет ко мне Борщаговский.

С 19-го же (пятница) отдаем письмо в Самиздат. Можно утром уже забирать и давать людям, кого за день увидите».

Таким поступком Солженицын демонстрировал обществу, что вместо мертвого и формального сидения на съезде с заготовленными казенными речами и резолюциями – надо обсуждать и решать насущные вопросы текущей жизни, которые волнуют и задевают всех писателей. Он впервые во весь голос, громогласно поставил вопрос о цензуре, которая душила литературу, заговорил об обязанностях Союза писателей по отношению к своим членам, помянул писателей, погибших в лагерях или расстрелянных.
Его образ действий, его нежелание принимать въевшиеся за годы советской власти правила игры учили современников свободе, независимости и человеческому достоинству. И это был урок не менее важный, чем тот, который люди получали из его книг.
Такое невиданное обращение к съезду не допущенного туда Солженицына было беспрецедентным в истории советской писательской организации и встретило столь же беспрецедентную поддержку писателей.
Около ста членов Союза писателей высказались в поддержку этого письма. Среди них были Паустовский, Каверин, Тендряков, Можаев, Аксенов, Тарковский, Василь Быков и многие другие.
В своей «Речи, не произнесенной на IV съезде» Каверин, как главное качество Солженицына подчеркнул общую черту, соединяющую его произведения — «Могучее стремление к правде, опирающееся на чувство внутренней свободы»[2].
Письмо к IV съезду поддержали многие газеты, в том числе и газеты западных коммунистических партий, например, «Унита».

[2] В. Каверин. Речь, не произнесенная на IV съезде писателей // Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А.И.Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998, с. 232.

Известно, что внешним толчком для «Пражской весны» послужило это письмо Солженицына, которое обсуждалось также и чешскими писателями.

Клевета с трибун

Поскольку общественный авторитет Солженицына и интерес к нему был очень высок, власти применили к нему кроме конфискации бумаг, запрета на печатание, постоянной слежки еще и испытанный советский метод – клевету с трибун. На разных закрытых партийных собраниях ораторы сообщали всяческие домыслы и небылицы публике, которая не имела возможности их проверить и им возразить.

Один из читателей Солженицына записал выступление главного редактора газеты «Правда» М. В. Зимянина 5 октября 1967 года в Ленинграде на одном из таких собраний. Зимянин сказал:

«Это психически ненормальный человек, шизофреник. Он был в плену (никогда в плену не был. — *Е. Ч.*), а затем за дело или без дела (для редактора «Правды» это несущественно. — Е.Ч.) был репрессирован. Свою обиду на власть он выражает в своих произведениях. Лагерная тема – единственная в его творчестве и он не может выйти за ее пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея... я читал пьесу Солженицына «Пир победителей»... За такое в прежние времена сажали. Понятно, что мы не можем его печатать... Солженицын – преподаватель физики, вот и пусть себе преподает»[3].

Хранение архива

Работа Александра Исаевича уже в те годы была связана с большим архивом. Туда входили и рукописи написанных и задуманных книг, и заготовки, материалы для них, и огромное число читательских писем. Какие-то из этих бумаг существовали в нескольких экземплярах – это были законченные, но неопубликованные вещи, какие-то в единственном. После конфискации архива у Теуша Александр Исаевич хранил значительную часть своего архива вне дома, у друзей.

Как сам он пишет, хранение архива задавало ему не меньше задач, чем само писание. По лагерной привычке и навыку он придавал большое значение объему рукописи. До 1966 года он всегда сам печатал свои вещи на маленькой машинке, которую ласково называл «Rena» (“Rheinmetall”), печатал мелким шрифтом и таким образом, что не было ни просветов, ни полей — ему было очень важно, чтобы машинопись при хранении занимала небольшой объем. И все равно архив был огромен.

Солженицына трудно было застать врасплох, он многое продумывал заранее, и поэтому, когда он начинал писать, то сразу думал: как он будет хранить рукопись, где она будет лежать, в скольких экземплярах, какой объем будет занимать, кто будет приносить ее.

В большинстве его записок мне – поручение передать или взять какую-нибудь из его рукописей. Вот такие поручения:

«*30/XI 66* . Оставляю РК – часть II (кроме гл. 30, где последнюю страничку дописываю). Можно уносить, можно и оставить».

«*Апрель 67*. Веронька на днях придет взять мой 1 экземпляр РК-1 для правки.
Роман в малиновой папке можно дать только в бережные руки и не для перепечатки. Остальные экземпляры устроены, и в том числе печатать возьмут. Он понадобится мне только в середине мая.

Если успеете до отъезда – подбросьте один экземпляр «Пасхального хода» Еве».

Он держал рукописи у друзей, под разными шифрами, так чтобы любую часть архива можно было в любой момент запросить, привезти, отвезти. Те вещи, которые не ходили по рукам, хранились очень строго. И Солженицына всегда окружали люди, которые были ему настоящими друзьями. Это они хранили, перевозили, передавали...

После напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» к нему хлынул поток писем читателей, рассказывающих о своем лагерном прошлом, о своей жизни. Эти важнейшие свидетельства современников легли в основу многого, рассказанного на страницах «Архипелага». Читатели обращались к автору с огромным доверием, с просьбами о защите и помощи. В недолгую пору своего признания в СССР Александр Исаевич успел вмешаться в судьбы некоторых своих корреспондентов и помочь им. Когда-то Зощенко опубликовал книгу «Письма к писателю». Я уверена, что если когда-нибудь опубликовать сотую часть писем к писателю Солженицыну, мы получим историю нашего общества в 60-е и последующие годы, рассказанную голосами свидетелей изо всех слоев общества.

Своими книгами Солженицын всегда умел затронуть самые болевые точки русской истории, поэтому взгляды его корреспондентов часто сталкивались, но тем более они интересны и существенны.

Вернусь к судьбе архива. После провала 1965 года все было поставлено так, что он сам переставал бывать в тех домах, где хранился его архив, чтобы не навести на след. Рукописи передавались по цепочке, с тем, чтобы тот, кто стоял в ее начале, не знал конкретного места хранения и не мог его выдать. Как я уже говорила, архив хранился на разных квартирах. Но так как работа автора все время продолжалась, то постоянной заботой была необходимость связаться с хранителями, передать по цепочке для хранения или, напротив, получить оттуда какую-нибудь понадобившуюся папку.

---

[3] Сб.: Слово пробивает себе дорогу, с. 207–208.

Его рукописи, которые не печатали типографии, — однако же распространялись и по Москве и по другим городам. Это значит, что кто-то приезжал, кто-то приходил, кто-то увозил. Это тоже был широкий круг людей. А иначе это все было бы невозможным.

Распространение самиздата

Важной стороной общественной деятельности Солженицына было распространение Самиздата. Его фигура как магнитом притягивала к себе все произведения авторов, не попадавших на страницы советских изданий. Всеми возможными путями они передавали ему через знакомых или непосредственно свои труды, и у Александра Исаевича накапливался большой фонд таких работ. К нему часто попадали книги, опубликованные зарубежными русскими издательствами,– изд-вом им. Чехова или ИМКА-Пресс, последние номера «Нового журнала», книги Набокова. Он прикладывал немалые усилия, чтобы сделать их достоянием общественности, отдавал эти рукописи и книги своим многочисленным помощникам и болельщикам для перепечатки и распространения, раздавал вместе со своими вещами, передаваемыми в Самиздат, и тем самым тоже будоражил и вносил живую струю в общественную жизнь. Около него, вокруг него всегда было множество интересного чтения.

Привожу несколько примеров из записок того времени:.

«2/III 67 «Багровый остров» привезу завтра.

16/5 67 Оставляю почитать воспоминания Шаляпина.

Весна 1968 г. Надо бы перекинуть НН эту записку с речью Карякина.

12.2.68 Якировское обращение слишком расплывчато. Речь Галанскова – хороша! А Григоренко – это потрясающе! (Собираюсь дать Александру Трифоновичу, мне ее сейчас перепечатывают).

22/XI 68 Прочтите маме эту дословную запись вчерашней передачи ВВС (диктофон).

5.8.69 «Кладу «Лолиту», которая мне решительно не понравилась (тяжело, длинно, талант ущербнулся).

22/X Оставляю «Бабий яр».

Март 1970 Если у вас сохранился лишний Грибачев и эта последняя статья Бжезинского – отложите их для меня».

Общественная поддержка

В этом выступлении нет возможности рассказать о той общественной поддержке А. Солженицыну и его труду, которая проявлялась на всех уровнях нашего общества. Ему помогали сотрудники библиотек и ученые историки, бывшие лагерники, многочисленные старые друзья и новые знакомые из числа читателей его книг, писатели и издатели, наши и иностранные журналисты. Эта помощь шла по разным направлениям – специалисты собирали нужные справки в библиотеках, читатели распространяли его вещи, друзья хранили архивы, издатели вопреки всему прилагали усилия к публикации, иностранные журналисты отправляли на Запад его книги, не разрешенные к изданию на родине. Многое об этих людях Солженицын рассказал в своем «Теленке». Оглядываясь назад, я с грустью вижу, что за прошедшие годы не осталось в живых очень многих из числа помощников Солженицына тех уже давних лет.

Работа над «Архипелагом ГУЛаг»

Но вернусь к началу нашего знакомства. Как-то Александр Исаевич сказал мне, что сам печатает на машинке все свои книги. А в это время были уже написаны такие большие произведения, как «В круге первом» и 5 частей «Архипелага ГУЛаг». Я предложила, если понадобится, помочь ему в перепечатке его вещей.
И вот, в мае 1966 года я получила открытку:

4.5.66 «Кажется не в силах буду отказаться от щедрого подарка, который вы мне предлагаете – двух недель жизни. Поэтому, если у вас есть в запасе выходные, как вы говорили – поберегите их на вторую половину мая».

В конце мая он привез мне тетрадочку с первым вариантом первой части «Ракового корпуса». Это была аккуратная толстая школьная тетрадка с полями. На полях цветными карандашами были размечены места, которые автор хотел выделить для себя. Почерк, очень особенный и четкий. Последующие два года внешне были заняты завершением «Ракового корпуса» и борьбой за его напечатание в Советском Союзе, которая сопровождалась многими событиями — шли разговоры, обсуждения, письма в защиту. Речь шла и о печатании «В круге первом». Под завесой этих хлопот Солженицын и вернулся к своей потаенной работе над «Архипелагом».
Александр Исаевич все построил таким образом, чтобы внешне выглядело так, будто он поглощен работой над другими книгами. Работа над новой третьей редакцией «Архипелага» совпала с годами борьбы за публикацию «Ракового корпуса».

Я записала некоторые его мысли о прозе:

«Мне надо писать большие вещи, я люблю архитектурно строить, а рассказы не выгодно. Растрачивание сил».

«Как чудно сказал Замятин, что в стихе ритм арифметический, а в прозе – интегральный, и что прозу писать труднее».

«До сих пор свои рассказы все знаю наизусть. Ритмическая проза».

Я здесь много говорю о конспирации, об усилиях, прикладываемых автором для сохранения своих вещей. Эти волнения и тревоги были совсем не на пустом месте. Можно сослаться, например, на книгу «Кремлевский самосуд», документально подтвердившую атмосферу непрерывной слежки и сыска, в которой он жил. Книгу открывает «Меморандум по оперативным материалам о настроениях писателя А. Солженицына»: в 1965 году под каким-то потолком был подслушан и записан рассказ Солженицына о том, что он пишет новую книгу. Вот некоторые строки из этой записи, где выражено настроение автора:

«Я сейчас должен выиграть время, чтобы написать «Архипелаг». Я сейчас бешено пишу, запоем, решил сейчас пожертвовать всем остальным... Я использую свой опыт только в самых ударных местах, в ярких сценках, в которых я сам был свидетелем. Полная картина «Архипелага», прямо лава течет, когда я пишу «Архипелаг», нельзя остановить»[4].

Сейчас трудно себе представить, в каких условиях работал Солженицын, в каком темпе велась эта работа. Надо напомнить, что свои показания о пребывании в лагерях дали ему 227 свидетелей, чьи имена в свое время приходилось тщательно скрывать и зашифровывать, чтоб не подвергать их преследованиям, а теперь все они будут названы автором в ближайшем переиздании книги. Для того чтобы найти и записать этих свидетелей, тоже пришлось поколесить по стране. Материал приходилось собирать от очевидцев, допуск в архивы был ему закрыт. Вся рукопись «Архипелага» никогда не лежала перед автором на столе, а была только та глава, с которой он работал. И когда он узнавал какой-то новый факт, который нужно было поправить, он должен был ехать — иногда на другую улицу, а иногда в другой город — и вносить исправление в рукопись. Или приглашать человека, хранящего эту страницу, к себе.
Та редакция «Архипелага», которой я была свидетелем, делалась в марте-мае 1968 года. Книга была задумана и начата еще в 1958 году, следующая вторая редакция была сделана на основе потока писем после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Работа над новой, третьей редакцией шла с фантастической быстротой. В марте-апреле был переделан и сильно дополнен весь первый том. По моей записи: «Почти нет страниц без правки – причем она в сторону ужесточения против Ленина и Горького». Первый том он правил в Рязани и присылал мне главы, которые я печатала. Рукописи мне привозили его бывшие школьные ученики.
В мае месяце Елизавета Денисовна Воронянская и я поехали на дачу Солженицына в Рождество-на-Истье. Это был маленький деревянный дом, не отапливаемый, куда невозможно было проникнуть до тех пор, пока не закончится разлив рек. Была там комнатка внизу, где жили мы с Елизаветой Денисовной, и комнатка наверху, где жили Александр Исаевич и Наталья Алексеевна (его первая жена), и еще была терраска, на которой мы собирались. Работали с раннего утра и до ночи. Александр Исаевич правил главы из «Архипелага» одновременно и из второго и из третьего тома для переписки, и мы с Елизаветой Денисовной их печатали на двух машинках. Я – второй том, а Елизавета Денисовна – 3-й. Потом он внимательно читал и правил напечатанное. К июню вся эта работа была закончена.

И во всё время работы никогда весь «Архипелаг» не находился на даче. Все время приезжал кто-нибудь из друзей, увозил и прятал заново перепечатанные главы. Запомнилось, как Александр Исаевич нашел несколько ошибок в главах, копии которые были уже увезены, и назвал список обнаруженных опечаток «Поздние слезы». Шестая и седьмая части книги хранились в рукописи, одна из глав — под названием «Мужичья чума» — была закопана на огороде, существовала в единственном экземпляре, и Александр Исаевич при нас ее выкапывал.

После возвращения в Москву я встречалась с Георгием Павловичем Тэнно, «убежденным беглецом», уже упомянутым выше, который успел прочитать и проредактировать главы о своем побеге с каторги. Эта работа шла во время тяжелой последней болезни Георгия Павловича. Он скончался осенью 1968 года.
Когда была закончена третья редакция «Архипелага», а пленка отправлена за границу на хранение, Александр Исаевич обратился к прежним своим хранителям и помощникам с просьбой уничтожить все предыдущие редакции. Все хранители ему написали, что уничтожили промежуточные экземпляры. То же самое написала Елизавета Денисовна. Но она (как выяснилось позже) не уничтожила свой экземпляр...

[4] По оперативным материалам о настроениях писателя А. Солженицына // Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А.Солженицыне. М.: Родина, 1994, с. 12, 13

Однако Александр Исаевич считал, что осталось строго ограниченное число копий, три или четыре, и они хранились так: один — был переплетен и доступен только автору, остальные завернуты в газету, заклеены скотчем и зашиты в неброские мешки… Даже человек, который это хранил, не мог читать или давать читать родным и знакомым. То есть принимались все меры, чтобы об «Архипелаге» ничего не было известно, и чтобы он не ходил по рукам.

После окончания «Архипелага» в 1968 году Солженицын перешел к работе над новым вариантом романа «В круге первом», потом к работе над «Августом Четырнадцатого», вскоре он был исключен из Союза писателей, потом получил Нобелевскую премию... Происходило много событий. «Архипелаг» лежал. Был момент, когда Александр Исаевич хотел дать его прочесть Твардовскому, но как-то не получилось. Твардовский ничего не знал об «Архипелаге», как ничего не знал и Корней Иванович. Мало кто о нем тогда знал. Не знал и комитет по Нобелевским премиям, присудивший Солженицыну премию за 4 года до публикации «Архипелага».

Но в августе 1973 года произошел этот ужасный провал... Летом 1973 года велась травля Сахарова и Солженицына в печати, выступали академики, писатели... Тем летом Елизавета Денисовна Воронянская вместе со своей приятельницей Ниной Пахтусовой отдыхала в Крыму. А я попала в тяжелую авто аварию и была в больнице. Елизавета Денисовна часто писала мне из Крыма.

Она была человеком восторженным, экзальтированным, очень немолодым, ей было уже за 70. Она тяжело болела, с трудом ходила, жила одна, в коммунальной квартире в Ленинграде, на Лиговке в каком-то достоевском темном доме. Там у нее была комнатка рядом с кухней.

По возвращении из Крыма она сразу была арестована и увезена на допрос. Пять дней подряд ее допрашивали. Она назвала место, где хранится не сожженная ею рукопись «Архипелага». Вернулась домой и повесилась. Я узнала об этом 30 августа 1973 года. Профессор Эткинд, который был на ее очень странных похоронах, прилетел на следующий день с печальным известием в Москву. А за день до этого о конфискации «Архипелага» узнал по цепочке Лев Копелев, находившийся тогда в Ленинграде, и сообщил об этом мне через своих родных. С этим известием я поехала на дачу к Солженицыну.

Для него случившееся было потрясением. В ближайшие дни, после того как он обо всем узнал, он сделал распоряжение в западное хранение опубликовать «Архипелаг». Фотопленка давно лежала у надежных людей за границей. Через 3 месяца, в конце декабря 1973 года в Париже, в издательстве «ИМКА-Пресс» вышел первый том книги, и начался чудовищный скандал.

Ведь что такое было в 1973 году печатать «Архипелаг» от своего имени, ни за кого не прячась?!.. И не отговариваясь тем, что «без ведома автора». Здесь опять современников поражало не только то, ЧТО писал Солженицын, — поражала совершенно небывалая и несвойственная советскому человеку модель поведения. КАК он отстаивал и утверждал свои взгляды в обстановке травли и угроз. Солженицын реагировал на все совершенно по-своему и безо всяких колебаний. Несмотря на то, что у него были крошечные дети, что в Москве его не прописали, что он увлеченно работал над «Красным колесом», да еще в это время писал «Письмо вождям» — он сразу все это отодвинул, решил издавать “Архипелаг”, понимая, что его ждет. Еще в 1965 году он говорил, что «Архипелаг» будет печатать в 1972–73 годах. А по его судьбе, закрученной в эти годы, получилось, что он все откладывал. Он знал, что это будет обрыв в его жизни, перелом. Но когда все случилось — он абсолютно не колебался.

Готовность идти до конца

Иногда можно было услышать – Солженицын защищен своею известностью. Но эта известность складывалась из многих поступков, совершенных буквально на краю пропасти.

Я уже приводила выше его записку накануне рассылки письма съезду. Тогда же на первых главах рукописи “Теленка” появилась надпись: “Если не буду жив”.

В сентябре 1967 года, когда шла борьба за печатанье “Ракового корпуса” такая записка: «Настроение у меня – не уступать ни одного сантиметра, просто не хочется... Я приеду прямо 22-го на бой, свеженьким».

И в ноябре 1969, после исключения из Союза писателей: «Я настроен боево! Конечно, хотелось бы еще годик – но не дают, так не дают. Что я не сам начинаю, а они напали – в этом есть моральное облегчение большое, освобождаюсь от самоупреков».

Высылка из СССР

Многим памятны советские газеты января-февраля 1974 года, улюлюканье и свист по поводу первого тома «Архипелага».

12 февраля 1974 года Солженицын был арестован, лишен гражданства и вывезен на самолете из СССР. Его книги были изъяты из библиотек, имя запрещено и не упоминалось в нашей стране десятилетиями.

Уже на следующий день в момент высылки Солженицына, 13 февраля появилось «Московское обращение», где были заявлены такие требования:

1) **Опубликовать «Архипелаг ГУЛаг» в СССР и сделать его доступным каждому соотечественнику.**
2) **Создать международный общественный трибунал по расследованию совершенных преступлений.**
3) **Оградить Солженицына от преследований и дать ему возможность**

работать на родине.

Письмо подписали академик Сахаров, Елена Боннэр, Владимир Максимов, Павел Литвинов, Анатолий Марченко, Лариса Богораз и другие.

Надо ли говорить, что тогда эти требования выполнены не были, а и в наши дни второй пункт так и остался невыполненным.

На следующий день после высылки Солженицына писатель Юрий Нагибина пишет о нем:
«История — да еще какая! — библейского величия и накала творится на наших глазах. Последние дни значительны и нетленны, как дни Голгофы… возблагодарим Господа Бога, что он наградил нас зрелищем такого величия, бесстрашия, бескорыстия, такого головокружительного взлета. Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи, почему Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ?.. Он, которого Ты дал отнять у нас, подымал нас над нашей малостью, с ним мы хоть могли приблизиться к высокому образу. Но Ты осиротил нас, и мы пали во прах. Теперь нам уже не подняться. Пуста и нища стала наша большая страна, и некому искупить ее грехи. Храни его, Господи, а в должный срок дай место подле себя, по другую руку от Сына»[5].

Восприятие «Архипелага ГУЛаг» современниками

Вернусь в август 1973 года, к трагедии Елизаветы Воронянской. На обыске у нее были конфискованы ее воспоминания, а у ее подруги Н.Пахтусовой — ее дневник. Теперь и то и другое напечатано среди казенных протоколов заседаний Политбюро ЦК и бесчисленных Информаций Комитета государственной безопасности в упомянутом сборнике «Кремлевский самосуд»:

Вот что пишет Елизавета Воронянская об «Архипелаге»:

«Ни один мыслящий и думающий человек не пройдет мимо этого Эвереста русской литературы, охватившего непостижимое народное страдание, показавшее потаенную, скрытую каторжную жизнь доброй половины русского народа за полвека правления коммунистов... Эта книга поведала самую страшную, самую кровавую трагедию двухсотмиллионного народа за всю его вековую историю... В «Архипелаге» он рассказал о пламени, в котором сгорела наша страна»[6].

Пахтусова в своем дневнике так характеризует «Архипелаг»: «Такой книги еще не было ни разу во всей истории человечества. И по содержанию, и по жанру, который не поддается определению. Это не литературный жанр и не литературное произведение, а сама жизнь человеческая, сжатая в кровавый сгусток страдания, отчаяния, смирения, и бунта... Это Евангелие XX века! И создал его Прометей, а в политическом смысле это бомба, и случись такое чудо, что свободно прочел бы ее весь народ — да это повело бы к восстанию и баррикадам...

[Но]выйди она при его жизни, она убьет его сразу же. Суд. Лагеря, расстрел, яд, подстроенная гибель под колесами машины – вот что его ждет после издания этой книги. А он идет на это» [7].

Солженицын сделал то, что считал своим долгом: сохранил память об этой эпохе, сохранил голоса людей, погибших друзей. Он выжил и поэтому должен был рассказать об их судьбе... Он мне говорил: «Я не отличаюсь и не выделяю себя из тех, с кем сидел. Разница только в том, что мне надо многое сказать»... «Надо печататься, надо же как-то воздействовать на окружающих»...

После высылки Солженицына «Архипелаг» начал просачиваться в Россию постепенно, годами, маленькими книжечками «ИМКА-Пресс», фотокопиями с этих книжечек, главы из книги звучали по западным радиостанциям.

Когда наступила перестройка, Солженицын поставил условием разрешения на публикацию своих книг в России – печатание «Архипелага ГУЛАГ» раньше всех остальных его произведений. Это условие не без сопротивления властей было выполнено, и с августа по декабрь 1989 года (через 16 лет после парижского издания) большие отрывки из книги напечатал московский журнал «Новый мир» в нескольких номерах, а потом большие куски из книги вышли в других журналах: «Литературная Киргизия», «Даугава», «Семья» и др. Полностью книга в 1990 году была опубликована сразу в шести издательствах.

На публикацию в «Новом мире» читатели отозвались сотнями писем. Со времени появления на страницах журнала «Одного дня Ивана Денисовича» ни одна журнальная публикация не вызывала такой мощной и бурной читательской реакции. В редакцию сплошным потоком шли письма — потрясенные, восторженные, скорбные, иногда негодующие.

В декабре 1998 года, когда исполнилось 25 лет со времени выхода в Париже в ИМКА-Пресс первого тома «Архипелага», в московском «Мемориале» был проведен вечер, посвященный этому событию.

---

[5] Юрий Нагибин. Дневник. М.: Олимп. Астрель, 2001, с. 319–320.

[6] Фрагменты из «Воспоминаний» Воронянской Е.Д. // Кремлевский самосуд, с. 233–234.

[7] Информация Комитета Государственной безопасности при Совете министров СССР. 10 августа 1973 // Там же, с. 235–236.

Приведу отрывки из выступлений двух бывших заключенных – писателей Феликса Светова и Льва Тимофеева, а также современного политического деятеля Григория Явлинского, выступавших на этом вечере. Еще надо пояснить, что в этот самый день в Думе на голосование поставили вопрос о восстановлении памятника Дзержинскому, скинутому с постамента в памятные дни августа 1991 года.

Феликс Светов: Мне не забыть это невероятное ошеломление от прочитанного. Вся наша жизнь изменилась после выхода «Архипелага». Не будет преувеличением сказать, что удар, нанесенный «Архипелагом Гулаг» по этому чудовищному режиму, был таким сильным, что он не очнулся уже от него, вся эта кошмарная бетонная стена пошла трещинами, и их не смогли залатать в течение последующих лет.

Конечно это наша история, недавняя, но история. Но эта книга необычайно современна, она злободневна, она вся повернута и обращена в наше время. Если нацизм существовал всего лишь 12 лет, да и то оказалось много для Германии и для человечества, то мы жили в этом режиме 3/4 века. 3 поколения людей жили на Архипелаге или рядом с ним... Я убежден, что все безобразия, которые мы видим, связаны именно с дыханием Архипелага. Если мы хотим понять, что происходит сегодня, мы там найдем все корни.

Книга поразительна еще тем, что она не оставляет ощущения ужаса. Речь идет о страшных преступлениях. В XX веке были три огненные точки: Освенцим, Хиросима и Гулаг. На самом деле конечно Гулаг. Мы и здесь впереди планеты всей.

Лев Тимофеев: Я должен поблагодарить Александра Исаевича Солженицына за судьбу, за умение думать, за ту внутреннюю свободу, которой у меня не было бы, если бы Бог не дал взять в руки книги Солженицына.

Само появление Солженицына для нас было, как вы помните, фактом освобождения. Художник дает язык. Мы корчились всю нашу жизнь, пока не получили язык. Мы поняли, КАК об этом можно говорить. Солженицын научил нас говорить, он научил нас быть свободными, он научил нас не бояться.

Григорий Явлинский: День сегодня символичный — голосование в Думе о восстановлении памятника Дзержинскому.

Все что мы читаем в этой книжке — причина того, что сегодня происходит... Смысл чтения этой книги не только исторический. Эта книга связана с нашей сегодняшней жизнью, главным образом потому, что книга объясняет, почему наша жизнь именно такая.

Эпилог

Я всегда верила и сейчас думаю, что «Архипелаг» — это то, что останется от большого и страшного периода в истории нашей страны. «Архипелаг ГУЛаг» прослеживает историю нашего общества на протяжении почти сорока лет — с 1917-го по 1956 год, рассказывает о множестве конкретных судеб, обладает невероятной плотностью изложения. Например, глава о строительстве Беломоро-Балтийского канала занимает всего восемь страниц, но история этого сооружения и судьбы людей, участвовавших в строительстве, просто врезываются в память, как будто прочел толстую книгу... Насколько меньше мы знали бы, если бы у нас не было этой книги. Так случилось, что именно «Архипелаг» выполнил важнейшую миссию: книга была сразу прочитана. На Западе начали распадаться Коммунистические партии — Франции, Италии, возникло движение «Дети Солженицына»... Это был могучий удар по мировому коммунистическому движению, представляющему огромную угрозу для жизни человечества. До сих пор у нас в стране не прошел суд над преступлениями коммунизма. Реакция, вызванная «Архипелагом ГУЛаг», была и остается таким единственным судом.

Когда я прочитала «Архипелаг», у меня было такое чувство, что я открыла книгу одним человеком, а закрыла ее — другим. Я была потрясена каждой страницей, не только тем, ЧТО я читала, но и тем, КАК это написано. Это слово, сказанное поразительным художником, поэтому книга берет за душу и заставляет себя услышать и пережить.

Когда писался «Архипелаг», а потом хранился для будущего, казалось, что как только люди его прочтут, потрясенный мир изменится. Оказалось, мы все-таки либо переоценили веру в силу слова, либо недооценили желание людей не знать. Мне кажется, что, несмотря на все сказанное выше, осмысление «Архипелага» — его издание, прочтение, обдумывание, обсуждение, — в нашем обществе пока не заняли того места, которое должны были бы занять. И это не вопрос литературного вкуса, это вопрос нашего отношения к своей истории. Эту книгу должны были бы изучать в школе, по крупицам восстанавливать судьбы людей, иногда лишь бегло упомянутых на ее страницах, собирать читательские конференции.

«Архипелаг» продолжает оставаться современным, он не устаревает, он написан с поразительной лирической силой. Я уверена, путь нашей страны был бы другим, если бы «Архипелаг» люди как следует прочли и обдумали.

И еще. Как известно, все гонорары за «Архипелаг» Солженицын передал учрежденному им «Русскому общественному фонду». Его фонд с середины семидесятых годов помогает по всей стране тысячам людей — сперва помощь оказывалась политзаключенным и их семьям, теперь — старикам-репрессированным. Это —

огромное общественное дело. И дело тут не только в материальной, но и в моральной поддержке. О фонде, я уверена, еще будет рассказано теми, кто занимался фондом в годы, когда это было смертельно опасно, и позже, уже в наши дни.

Сергей Ходорович
Sergej Chodorovič

Солидарность простых людей и помощь семьям заключенных

Уважаемые дамы, господа, девушки и юноши!

В 1974 году русский писатель Александр Исаевич Солженицын учредил «Русский Общественный Фонд Помощи узникам совести и их семьям», на что пожертвовал все существовавшие на то время, и все будущие гонорары за свою книгу (Архипелаг ГУЛАГ). Это было время, которое теперь называют (застойным)… Для того, чтобы увидеть, как функционировал Фонд, лучше представить себе людей, волонтёров фонда, необходимо обернуться и взглянуть на предшествующие годы подкоммунистического существования страны.

В феврале 1917 года в России произошла революция. Царь отрекся от трона, создано Временное Правительство, продекларированы все мыслимые гражданские свободы, но в стране нарастал хаос. Не прекращающийся кризис власти закончился тем, что вооруженным путем власть в стране захватили коммунисты и держали ее 70 лет. Режим, установленный в стране коммунистами, не имеет аналогии во всей предыдущей истории человечества. Конечная цель – построение коммунизма во всем мире. Они никогда не упускали эту цель из вида, но, для начала, принялись строить его в России… Ленин указал своим соратникам, что главный вопрос – это вопрос власти. Это указание вождя было усвоено без возражений, и от первого дня до последнего коммунисты уничтожали всех, кто, по их мнению, мог угрожать абсолюту их власти. Но количество убитых и замученных в лагерях (по различным подсчетам, приводятся цифры от 30 до 60 миллионов жертв коммунистического режима за все годы его существования) однозначно показывает, что только для сохранения и укрепления власти, убитых слишком много… Очевидно, что должна была быть и другая причина. И эта причина была. Коммунисты определили, что для построения коммунистического общества, необходимо переделать самого человека, создать нового человека, годного быть членом, этого самого, коммунистического общества. Новый человек должен был быть безрелигиозным, безнациональным и не иметь представления о частной собственности. Задача «создать нового человека» выглядит откровенно дьявольской, и именно от этой задачи, коммунисты не отступались никогда во всё время, пока держали власть, пока не покинула их дьявольская сила, и пока они не рухнули, в три дня превратившись в труху. Тех, кто переделке не поддавался, они уничтожали. Были определены, по социальному признаку преимущественно, категории людей, не пригодных для построения коммунизма, переделке не подлежащие – эти люди были обречены и безжалостно уничтожались. Повторюсь ещё раз: этих людей было многие миллионы…

Коммунисты победили в гражданской войне и к середине двадцатых годов в стране не осталось сил, которые могли бы угрожать их абсолютной власти. После гражданской войны причиной репрессий, массового уничтожения людей была не борьба за власть, а формирование нового человека. Сначала оказалось необходимым разрушить человека, вытравить из него Божественное начало, а уже потом… Впрочем, что потом, было не совсем ясно.

Всякий, кто помогал родным репрессированного, поддерживал с ними дружеские отношения, сам подвергался репрессиям. Сочувствие, сострадание, милосердие были осуждаемы, как порок, достойный наказания. От друзей, сотрудников репрессированного требовали его публичного осуждения. Принуждали детей отрекаться от родителей… Естественно, люди сопротивлялись насколько, у кого хватало сил, что ожесточало террор коммунистов против народа. (Есть интересный эпизод в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Маргарита, героиня романа, просит дьявола, посетившего вместе со своею свитою Москву тридцатых годов, не мучить одну из грешниц. Реакция дьявола была такова: «остается, пожалуй, одно – обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!…Я о милосердии говорю, - объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. – Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки»). Наибольшую стойкость проявили люди верующие в Бога, и они-то подвергались особым репрессиям без перерыва все годы советской власти. В этот период христианских, прославленных церковью Святых Мучеников за Веру Христову в России оказалось больше чем за всю её предыдущую историю.

В двадцатые же годы запрещена всякая благотворительная деятельность. Были уничтожены комитет помощи голодающим (ПОМГОЛ), Фонд помощи политическим заключённым, который возглавляла Екатерина Пешкова, церкви запретили заниматься благотворительностью. Мрак сгущался. Люди, уже только в одиночку, могли сопротивляться растлению. Силы были не равны, и большинство не выдерживало и сдавалось. Пушкинский стих: «На всех стихиях человек/Тиран, предатель или узник», – точен для этого времени. Тем сильнее впечатление производят случаи, когда люди выдерживали и оставались самими собой. Надежда Яковлевна Мандельштам, жена, может быть, самого значительного российского поэта двадцатого века, в своих обширных, талантливо написанных мемуарах зримо передаёт атмосферу тех лет, вакуум в котором они с мужем оказались во время и после его ссылки. Надежда Яковлевна оказалась, как раз, тем человеком, который выстоял и сохранил свою душу. Вслед за мужем она поехала в его ссылку, а когда его в 1938 арестовали во второй раз, она написала письмо к главе репрессивных органов страны Лаврентию Берия. Даже сейчас, письмо поражает спокойным игнорированием того, что его содержание ставит под угрозу её собственную жизнь. Там есть такие строки: «Мне неясно, каким образом велось следствие о контрреволюционной деятельности Мандельштама, если я – вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг – не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы». А заканчивает она просьбой: «выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы *уничтожать* поэта…». Осип Мандельштам умер в лагере в 1940, а Надежде Яковлевне дано было прожить ещё долгие годы. Она дожила до времени, когда около неё появились люди, которые не боялись с ней общаться, интересовались творчеством Осипа Мандельштама и помогли ей издать, тогда ещё только за границей, стихи О. Мандельштама, которые она хранила до сих пор в своей феноменальной памяти, и её собственные мемуары. Умерла Надежда Яковлевна в Москве в 1974 году.

В пятидесятых годах, казалось, что в стране достигнуто полное единогласие. Не то чтобы сопротивление, но, даже, открыто высказанное идеологическое несогласие режиму случались крайне редко. Страна накопила огромный военный потенциал, лагерь коммунистических стран неуклонно расширялся, «призрак коммунизма» бродил уже не только по Европе, но и по остальным странам мира… Тем не менее, несмотря на успехи и достижения, начался закат режима. Со второй половины пятидесятых годов, стали появляться отдельные люди и группы несогласных, которые отваживались требовать от режима изменений, а то и просто не признавали права на существование коммунистического режима. Власти, как всегда, отвечали репрессиями. Но теперь репрессии порождали новых протестантов, и находились люди, которые не шарахались от репрессированных, но продолжали поддерживать с ними дружеские отношения, поддерживали, как могли, их семьи. То есть, в обществе стали появляться слабые дуновения свежести, стали просачиваться чистые роднички... Это время получило название: «Хрущёвская оттепель».

В шестидесятые годы инакомыслие в СССР стало фактом общественной жизни. Для огромной страны количество инакомыслящих было ничтожно мало, но их требования сиановились известны по всей стране, за ними наблюдали, их слушали, и имена многих из них были известны людям во многих странах остального мира. Власти ни когда не вступали с ними в диалог, но избавиться от них не могли. С 1965 г. (конец «Хрущёвской оттепели») власти начинают «закручивать гайки», ужесточают законодательство, устраивают «громкие процессы» над инакомыслящими. Но репрессии уже не дают прежнего результата, – инакомыслие набирает силу, сокращая годы существования противоестественного, абсурдного коммунистического режима. Теперь мы знаем, что сроку этому режиму оставалось двадцать лет. Для истории – это не срок, но для человека… Да и кто же знал тогда про эти двадцать лет? Очень непросто было человеку распрямиться. Жизнь каждого продолжала оставаться в руках государства и его карательных органов.

Время, конечно, было другое, и семья арестованных не оказывались в вакууме, как ранее, им помогали, но, напоминаю, что по-прежнему тот, кто продолжал общаться с преследуемым, хотя уже и не рисковал сам быть арестованным, но оказывался в поле зрения чекистов, и также мог лишиться работы, не получить жилплощадь, быть отчисленным при принятии в университет и т. д. То есть те, кто не боялся помогать, как правило, сами нуждались в помощи. Деньги нужны были на адвоката, на передачи, посылки заключенным. При огромных расстояниях в нашей стране особенно дорого обходились поездки родственников на свидания с заключенными. Были энтузиасты, которые регулярно проводили сборы среди знакомых, но денег постоянно не хватало.

В 1974 году произошло событие, которое трудно переоценить. Александр Исаевич Солженицын, человек, жизнь которого впрямую оказала зримое влияние на историю второй

половины двадцатого века, не только СССР, но и всего мира, который называет себя писателем, но явно не вмещается в это определение, и этим названием не исчерпывается. Все гонорары за книгу «Архипелаг ГУЛаг» (этот его феноменальный труд является энциклопедией издевательств коммунистов над народом в период от революции до 70-х годов прошлого века) он пожертвовал на помощь гонимым, учредив для распределения этих средств Русский Общественный Фонд Помощи узникам совести и их семьям. Но даже этих значительных средств было недостаточно для обеспечения нормальной жизни гонимым и их семьям. И продекларированной задачей Фонда было: «помочь физически выжить», большее Фонд гарантировать не мог. С момента образования Фонда и до настоящего времени его президентом является Наталия Дмитриевна Солженицына, человек с ясным умом, очень эмоциональный, с крепкими не по-женски нервами, наделенная огромной энергией и работоспособностью. Без такой опоры в жизни, А.Солженицыну едва ли удалось бы сделать то, что он сделал. В 1974 году Александр Исаевич Солженицын был арестован, лишен гражданства и под охраной вывезен из страны. Наталия Дмитриевна с четырьмя детьми и своей матерью уехала вслед за ним. А первым распорядителем Фонда на территории СССР стал еще один человек-легенда, Александр Гинзбург. На него легла, казалось бы, непосильная задача – сделать функционирование Фонда реальностью. Нужно было, чтобы помощь реально доходила до тех, кому она предназначалась. Александр Гинзбург справился со всеми сложностями – помощь нуждающимся доходила регулярно. При нем сложилась структура Фонда, от которой затем не отступали последующие за ним распорядители (за время, до распада СССР, всх распорядителей было 7 человек: Александр Гинзбург, Мальва Ланда, Татьяна Ходорович, Кронид Любарский, Арина Гинзбург, Сергей Ходорович и Андрей Кистяковский).

Власти не сразу отреагировали на появление Фонда. Ничего подобного их уголовным кодексом предусмотрено не было, и ни под одну статью Фонд не подходил. А.Гинзбурга арестовали только в феврале 1977 года, и хотя ему не инкриминировали впрямую работу Фонда, но отношение властей к Фонду сложилось, и в прессе Фонд стал квалифицироваться, как незаконная организация, существующая на деньги западных спецслужб с целью борьбы с советской властью. Такая формулировка угрожала каждому, кто принимал участие в работе Фонда, с применением к нему статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание, вплоть до смертной казни. В дальнейшем следователи широко пользовались, ведя допросы подследственных, угрозой применения этой статьи, и в двух случаях она была инкриминирована волонтерам Фонда, но, слава Богу, без смертной казни.

Я принимал непосредственное участие в работе Фонда довольно длительное время, и далее я буду говорить, как свидетель его деятельности. Забот у Фонда было непомерно, под его опеку попадали подследственные, отбывающие срок в тюрьмах, лагерях и ссылках, поднадзорные, узники психиатрических лечебниц – тюрем для принудительного лечения, и оставшиеся малолетние дети, престарелые родители всех этих категорий репрессированных.

Кроме Русского Общественного Фонда Помощи узникам совести и их семьям, который оказывал помощь всем на территории СССР, кто преследовался по разным вариантам инакомыслия, по политическим, а то и просто не непонятным мотивам, независимо от их национальной, религиозной принадлежности, от их политических взглядов и места проживания, были фонды и группы-центры помощи гонимым с более узкими рамками. Например, Фонд помощи узникам Сиона, который брался помогать людям, репрессированным за попытки выехать в Израиль, в СССР много различных религиозных сект и, как правило, в каждой секте были фонды для поддержания узников из своих единоверцев. Наш Фонд постоянно согласовывал с ними свои действия.

Известную сложность представляло слежение за тем, чтобы помощь доходила до каждого подопечного, чтобы кто-то «не выпал» из нашего поля зрения и не остался без помощи. Каждого вновь обнаруженного гонимого нужно было закрепить за кем-либо, кто будет оказывать ему помощь. Нужно было иметь список всех подопечных и регулярно вносить в него изменения. Естественно, что этот список не должен был попасть в руки властей. Нужно было составлять списки необходимых лекарств, добывать эти лекарства, хранить и доставлять тем, кому они предназначались. Те же хлопоты с продуктами для передач и посылок заключенным, для снабжения едущих на свидание родственников. Нужно было находить и оплачивать адвокатов, «доставать» билеты на поезда, самолеты и пароходы едущим на свидание. Особо нужно было помогать зацепиться за жизнь тем, кто, отбыв срок заключения, освобождался и по приговору не имел права жить в больших городах. Как правило, нужно было кому-то сопровождать женщин, едущих на свидание с детьми, пожилых родителей. Фонд практиковал посылки к праздникам Рождества и Пасхи всем детям своих подопечных, и это было непросто сделать… Все это осложнялось вообще крайне низким уровнем

жизни и негодным бытом в нашей стране, а, главное, неудовольствием властей и их карательных органов деятельностью Фонда. Однако все это делалось. Делалось самоотверженными, абсолютно бескорыстными усилиями многих людей. Напомню, что работа в Фонде, которой участники его отдавали все свои силы, никак не оплачивалась, не было ни одной оплачиваемой должности, включая распорядителя Фонда. Впрочем, и должностей-то никаких не было. Распорядитель Фонда был выделен из прочих своим названием, главным образом, для того, чтобы Фонд не был безликим, чтобы было к кому обращаться тем, кто нуждался в помощи. Ну, и координировать довольно разнообразную деятельность Фонда должен был конкретный человек. Это было братство, скрепленное родством душ и невыносимыми обстоятельствами жизни в тоталитарном государстве.

Я знал этих людей. Время, когда я был среди них, – лучшее время моей жизни. Часть активных волонтеров Фонда были, как бы, понуждаемы обстоятельствами для участия в Фонде, то есть это были родственники репрессированных и сами репрессированные, отбывшие свои сроки, но ожидающие следующих. Это обстоятельство, конечно же, нисколько не умаляет их стремления сострадать и помогать гонимым. Но, уж абсолютное восхищение вызывают те, а их было большинство, у которых не было этих побудительных мотивов, но они рисковали своей свободой и жизнью… Их имена не были известны общественности, особенно в свободных странах, от общественности которых приходила существенная моральная помощь преследуемым. От всевозможных внесудебных преследований они были абсолютно не защищены. А преследования велись широко: лишение работы, избиение «неизвестными» во дворах и на улицах, зачастую третирование их детей в школах, и многое другое. Очень любили органы рассылать угрозы от «неизвестных» письмами и по телефону Но самой излюбленной мерой воздействия, была имитация попытки изнасилования девушек и женщин, как правило, сопровождавшаяся избиением. Ни в одном из многих и многих таких случаев преступники не были обнаружены милицией.

К этому своему рассказу я прилагаю список имен людей, которые принимали участие в работе Фонда. Естественно, список этот не велся своевременно, никакого формального «членства» в Фонде не существовало, и список, составленный теперь, никак не может быть исчерпывающим. Я надеюсь, что интерес к этому историческому времени, к людям, которые жили в нем, не угаснет, и список будет дополняться.

Люди все эти разные: от очень молодых до очень пожилых. Нет какого-либо признака, который был бы общим для всех. Были среди них люди глубоко верующие, церковные, но были такие, которые отваживались аттестовать себя неверующими. Вот такой была филолог по образованию, кандидат наук, Лина Туманова. Ей было более сорока лет. Она была одинока и больна базедовой болезнью, отчего глаза ее были заметно «навыкате». Невозможно себе представить, до какой степени она была погружена в дела и жизнь тех, кто нуждался в помощи. Кроме подопечных, которые были закреплены за ней от Фонда, она постоянно находила еще кого-то, кому помогала. Она жила в Москве, а все пути в нашей стране проходят через Москву: постоянно ее квартира была заполнена едущими на свидание (они обязательно на день-два и больше останавливались в Москве, где им активно помогали экипироваться для дальней дороги), или приехавшими в Москву с хлопотами о своих репрессированных близких. Лина ходила с ними по разным учреждениями, магазинам, кормила их, ездила с некоторыми, как сопровождающая, на свидания. Сколько я ее помню, она всегда основательно, с полной самоотдачей кому-то помогала. Когда у нее случались затруднения, она делилась ими с фондовцами, в ее глазах всегда была как бы простодушная уверенность, что ей, конечно же, помогут выйти из встретившегося затруднения. Никакого следа позы, претензий на что-либо, а также растерянности, испуга, сомнений даже, в ней не было вовсе. Она была человек естественный и милый. Ее арестовали в 1984 г. В тюрьме у нее обнаружили рак, болезнь резко прогрессировала, и власти сочли лучшим выпустить ее до суда на свободу. Она умерла в течение нескольких месяцев после освобождения, в возрасте 45 лет.

Само собой разумеется, что у Фонда не было своего помещения, официального адреса, где бы в шкафу помещались документы картотеки, отчеты и т. д. Все это рассеянно хранилось у разных людей, а если учесть, что телефоны у всех прослушивались, то по телефону говорить было, практически, невозможно о делах Фонда. Встречи были необходимы. В Москве того времени было распространено среди тех, кто оказался в противостоянии режиму, встречаться у кого-либо в квартире на импровизированных вечеринках. Эту возможность использовали волонтеры Фонда. Я помню две таких квартиры, то есть я помню их значительно больше, но особенный след оставили две. Семья Подъяпольских. Григорий Сергеевич и Мария Гавриловна – геофизики, жизнь их была полностью погружена в стихию правозащитной деятельности. Григорий Сергеевич был членом

Инициативной группы защиты прав человека, образованной в 60-х годах. Они регулярно, на протяжении многих лет, по средам устраивали в своей квартире чаепитие с пирогами. На этих «средах» собиралось каждый раз по несколько десятков человек. Всегда был кто-нибудь, кто ехал со свидания или на свидания, освободившиеся из заключения обязательно появлялись там. Наверное, трудно отыскать кого-либо из московских инакомыслящих, кто не бывал бы на этих «средах». Там и фондовцы встречались регулярно, разумеется, они встречались не только там.

Вот Нина Петровна Лисовская – всегда спокойная, с ясным взглядом, не очень молодая. Очень основательный работник Фонда. Под ее опекой, естественно, со многими помощниками, были все те, кто находился в ссылках. Она знала про них все и, как бы, не со всеми, хотя это трудно представить, вела переписку. Так вот, в ее довольно просторной квартире по пятницам тоже были чаепития. Но это были строгие чаепития. Особо ничего не готовилось, чай был и то, что кто принесет с собой. Но главное отличие было в том, что у нее по пятницам собирались только работники Фонда, и еще всегда кто-либо из подопечных Фонда. Здесь тоже атмосфера была непринужденная, но с явным уклоном в деловую сторону. Народа собиралось поменьше, чем на «средах», но здесь-то и обсуждались все проблемы Фонда, и затягивались эти чаепития до глубокой ночи, а то и до раннего утра. Нина Петровна очень эффективно проводила опеку ссыльных, но делала это настолько спокойно, неброско, что не давала властям никакой зацепки для уголовного преследования, и она не подверглась аресту. Естественно, обыски у нее проводили, на допросы ее вызывали, но так, чего-то и не добрали, и дела уголовного не получилось. Однажды, недалеко от станции метро, ее избили неизвестные, так и оставшиеся неизвестными. Она перенесла это спокойно, как само собой могущее быть, и продолжала все так же скрупулезно заботиться о своих подопечных.

Все 70-е годы власти ужесточали борьбу с инакомыслием, нет возможности перечислить все случаи их активной деятельности, которые касались хотя бы только работников Фонда. И волонтеры, в основном, ко всему были готовы. Иногда все-таки были случаи, когда некуда было деться от собственного бессилия. Так, однажды, совсем молодую девушку, имитируя попытку изнасилования, избили при этом. Били по голове, повредили мозг, она осталась инвалидом. И ничего мы не могли поделать.

Наше время истекает, но еще одного человека, из многих и многих необычных людей, я успею назвать, поскольку это уж впрямую меня лично касается. Это Иван Монигетти и его жена Таня. Я не был с ними знаком до своего ареста в 1983 году. Это было время, когда коммунисты, уже подступив к краю, делали последние безумные усилия добить инакомыслие. Страшноватое андроповское время. Иван и Таня – молодые музыканты. Иван – виолончелист, ученик Ростроповича, он уже проявился,как необычайно талантливый исполнитель. Карьера его была впереди, но для ее свершения музыканту необходимы концерты. В СССР концерты, особенно заграничные, могли получать только проверенные, незапятнанные сомнительными знакомствами люди. Но Иван и Таня познакомились с моей женой после моего ареста. Нашему сыну тогда было 10 лет, и всякая дружеская поддержка была нелишней. Иван и Таня, уезжая на каникулы, брали его с собой. Молодой талантливый музыкант рисковал своей карьерой. И до конца коммунистического режима его не выпускали за границу. Но режим рухнул, и Иван Монигетти стал виолончелистом с мировым именем.

Можно, конечно, сказать, что это ничего особенного, что это обычная порядочность. Да, это так, но у нас в стране обычные человеческие качества сделались большой редкостью. Это то, с чем 70 лет боролись коммунисты, сея смерть и ужас страха. Они далеко продвинулись на этом поприще, достигли больших результатов, калеча души людей, но, как показывают приведенные примеры, не победили!

А Фонд продолжает существовать.Семья Солженицыных вернулась на родину, и Натлья Димитриевна Солженицына продолжает быть его президентом. Фонд расширил поле своей деятельности и , кроме материальной помощи отдельным людям (постоянную помощь от Фонда получют около трёх тысяч бывших узников совести бывшего ГУЛАГа в России и странах СНГ) оказывает помощь церковным приходам, помогает изданию религиозных и мемуарных книг,выделяет гранты для работы архивистов программы «Мартиролог»,присуждает литературную премию.

Фонд учредил и оплачивает обширную Программу помощи библиотекам, которая является сейчас единственной в России. В 2002 , по этой программе, несколько тысяч библиотек в России и странах СНГ безвозмездно получили более 60000 книг.

Сейчас Фонд, под именем «Русский Общественный Фонд Александра Солженицына», работает легально и заботы его доходят до тысяч людей обездоленных, искалеченных немыслимым «социальным экспериментом», который коммунисты проделали с нашей страной.

Человек наделён механизмом памяти, очевидно, что память нужна человеку, и мы свидетели и участники прошедших дней, должны озаботиться, чтобы наше время не стало провалом в памяти людей. Но новые события и грозные проблеммы наполняют мир, и вновь, и вновь нужно противостоять злу. Чтобы всегда делать правильный выбор, давно известен рецепт, который выглядит предельно простым, но следовать ему, крайне трудно, - нужно думать о Царствии Божьем и остальное приложиться… Необходимо культивировать в себе Страх Божий. Если-же, противостоя злу, мы не увидим ценности выше, чем свобода личности и Права Человека – мир не выстоит.

Список имен, людей участвующих в деятельности Фонда

1. Абрамкин Валерий
2. Абрамкина Екатерина
3. Алексеева Лиза
4. Алексеева Людмила
5. Альбрехт Владмир
6. Аман Ив *(Amant Yves)*
7. Арманд Елена
8. Баева Татьяна
9. Бахмин Вячеслав
10. Бахмина Татьяна
11. Блехер Леонид
12. Богораз Лариса
13. Бойцова Елена
14. Боннер Елена
15. Борисов Вадим
16. Бухарина Надежда
17. Великанова Ксения
18. Великанова Татьяна
19. Вильчинская Зинаида
20. Винс Петр
21. Гаенко Вадим
22. Галецкий Ростислав
23. Гаяускас Балис
24. Генкин Сергей
25. Гинзбург Александр
26. Гинзбург Арина
27. Горбаль Микола
28. Гривнина Ирина
29. Давыдов Егор
30. Давыдова Валерия
31. Дашкевич Ярослав
32. Дзядко Виктор
33. Зайцева Любовь
34. Зайцева Ольга
35. Закс Юлия
36. Закс Борис
37. Зелендинова Вера
38. Зисельс Ирена
39. Зисельс Иосиф

40. Иванова Татьяна
41. Игрунов Вячеслав
42. Иофе Вениамин
43. Иофе Лидия
44. Йофе Надежда
45. Йофе Ольга
46. Каледа Анна
47. Каплун Ирина
48. Киселев Юрий
49. Кистяковский Андрей
50. Ковалев Иван
51. Коваль Белла
52. Коган Вера
53. Коган Игорь
54. Корсунская Ирина
55. Костерина Елена
56. Кравченко Наталия
57. Красивская Алена
58. Красивский Зиновий
59. Кристи Ирина
60. Лавут Александр
61. Лавут Сима
62. Ланда Мальва
63. Лашкова Вера
64. Леонтьев Дмитрий
65. Лисовая Вера
66. Лисовская Нина
67. Литвинова Флора
68. Любарский Кронид
69. Любич Татьяна
70. Мешко Оксана
71. Милетич Николай
72. Михайлов Борис
73. Михайлова Наталия
74. Мурженко Любовь
75. Некипелов Виктор
76. Некипелова Нина
77. Орлова Раиса
78. Орлов Александр
79. Осипова Татьяна
80. Печуро Евгения
81. Плетнева Татьяна
82. Плющ Татьяна
83. Подрабинек Александр
84. Подрабинек Алла
85. Подъяпольская Анастасия
86. Подъяпольская Мария
87. Попов Кирилл
88. Пореш Татьяна
89. Прокофьева Анна
90. Репин Валерий
91. Репина Елена
92. Романова Августа
93. Руденко Раиса
94. Румшиская Марина
95. Румшиский Борис

96. Санникова Елена
97. Сахаров Андрей
98. Светов Феликс
99. Светова Зоя
100. Сироткина Елена
101. Смирнов Алексей
102. Смолкин Валерий
103. Смушкевич Борис
104. Солдатова Людмила
105. Солженицын Александр
106. Солженицына Наталья
107. Сорокина Соня
108. Столярова Наталия
109. Таненгольц Церина
110. Таненгольц Лев
111. Татищев Степан
112. Твердохлебова Сарра
113. Твердохлебов Андрей
114. Терновская Людмила
115. Терновская Ольга
116. Тимачёв Виктор
117. Трусова Татьяна
118. Туманова Лина
119. Федорова Наталия
120. Федякина Роза
121. Ходорович Михаил
122. Ходорович Татьяна
123. Ходорович Сергей
124. Цитовская Лиза
125. Чапковский Игорь
126. Чердынцев Иван
127. Шабан Эльдар
128. Шемаханская Марина
129. Шиханович Екатерина
130. Шиханович Юрий
131. Шрагин Борис
132. Якир Ирина
133. Ярым-Агаев Юрий

Юрий Мальцев
Jurij Mal'cev

Психиатрические репрессии против диссидентов
Генерал Григоренко – бунтарь из номенклатуры

После смерти Сталина коммунистический режим в Советском Союзе перешел от массового террора к выборочным нацеленным репрессиям. Содержание в концлагерях многих миллионов заключенных становилось обременительным и даже опасным: все чаще вспыхивали восстания заключенных в лагерях, охватывавшие иногда целые области, и для их подавления приходилось посылать войска с танками. К тому же массовый террор с широким захватом не только реальных или потенциальных противников власти, но и просто безобидных пассивных граждан, был уже не нужен. В атомизированном обществе никакая организованная оппозиция уже не могла зародиться: гражданского общества уже не было, все независимые институты гражданского общества были уже давно уничтожены. Гигантский полицейский аппарат тоталитарного государства осуществлял капилярный контроль над аморфной разобщенной массой населения. Однако с прекращением массовых репрессий ослабевал постепенно необходимый элемент тоталитарного общества – всеобщий страх. Советская власть нашла выход из положения, изобретя новый эффективный метод устрашения и отпугивания – психиатрические пытки. Попасть в тюрьму или в лагерь за свои идеи – на такой риск может отважиться смелый человек, но быть превращенным в слабоумного идиотика, у которого течет слюна изо рта и падают экскременты из штанов, перед такой перспективой леденеет в ужасе даже самый отважный смельчак. К тому же такой метод очень удобен: нет необходимости в судебном процессе, неугодного человека запирают в психтюрьму безо всякого суда и на какой угодно срок, при желании даже на всю жизнь. Не обязательно даже выписывать ордер на арест: меня, например, вызвали повесткой в военкомат якобы для очередной рутинной проверки, а оттуда отвезли в сопровождении кегебистов в психиатрическую больницу Кащенко, в закрытое отделение для принудительного лечения особо опасных буйных сумасшедших.

Заключение оппозиционеров в психиатрические больницы изредка практиковалось также и при Сталине. Уже до войны существовала специальная тюремная психиатрическая больница в Казани, а после войны отрыли спецпсихбольницу в Сычовке (Смоленская область) и в 1952 году в Ленинграде на Арсенальной улице. Но когда миллионы людей отправляли в концлагеря на верную смерть от голода и холода, заключение в психбольницу было излишней роскошью. Нормой такой вид репрессии стал при Хрущеве и при Брежневе. В одной из своих речей Хрущев сказал, что в Советском Союзе нет политических заключенных, потому что в социалистическом обществе нет социальных конфликтов, не довольны лишь немногие сумасшедшие. Все решили тогда, что это просто очередная пропагандная ложь, на самом же деле это была программа.Одна за другой стали создаваться все новые и новые тюремные спецпсихбольницы: в Орле, Днепропетровске, Черняховске, Смоленске, Алма – Ате, Благовещенске, Минске, Свердловске. Кроме того во всех областных психбольницах были созданы отделения принудительного лечения.

Врачи спецпсихбольниц – это офицеры КГБ или МВД. Например, знаменитый профессор Даниил Лунц, проводивший экспертизы многих диссидентов, был полковником КГБ. Эти врачи даже не заботились о том, чтобы своим медицинским заключениям придать хотя бы наукообразный вид. Обычный диагноз для диссидентов – мания реформаторства. Впрочем, у них не было необходимости описывать симптомы болезни, так как по теории профессора Андрея Снежневского, принятой в советской психиатрии, «вялотекущая шизофрения» протекает безо всяких внешних симптомов. Поэтому в историях болезни делались такие записи: «поведение ***внешне*** нормальное», «речь ***кажется*** логической» и т.п.

А что за этим «внешним» и «кажущимся» на самом деле кроется болезнь, это знал, разумеется, только врач. Когда жена известного диссидента Леонида Плюща пришла первый раз навестить его в психбольницу и спросила у его лечащего врача Лидии Алексеевны (свою фамилию та назвать отказалась), как чувствует себя муж, она услышала в ответ: «философской интоксикации пока не обнаружила, но есть склонность к математизации психологии и медицины» (Плющ по профессии ученый математик).

Санитары же тюремных спецпсихбольниц это уголовные преступники, направленные отбывать свой срок заключения в психтюрьму санитарами. Таким образом КГБ повторил опыт, с успехом опробованный уже раньше в концлагерях, где хозяевами были уголовники, терроризировавшие политических заключенных. В психбольницах санитары – уголовники глумились над больными, они систематически избивали пациентов по всякому поводу, при малейшей попытке протеста, или безо всякого повода, просто для развлечения. Били зверски: повалив на пол, сапогами. Так больному Александру Георгиевичу Никитину перебили берцовую кость и ключицу, он остался деформированным калекой на всю жизнь, больному Ивану Ивановичу Григорьеву выбили глаз, Николаю Петровичу Иванову сломали ребра и он умер харкая кровью. Для развлечения санитары иногда привязывали больных к койке на сутки или подолгу не выводили в туалет: в камере нет ни унитаза, ни раковины.

Что значит для здорового человека быть заключенным в психбольницу – это трудно понять тому, кто не пережил этот ад. Начать с того, что сам факт неожиданного заключения в психбольницу вызывает острый психологический шок от сознания полного бесправия, унижения (ни одно слово твое не воспринимается всерьез, ты лишь неодушевленный предмет) и полной безнадежности (песпектива остаться в психбольнице до конца жизни).

Пребывание в среде настоящих сумасшедших нарушает психическое равновесие даже самого здорового человека. Спецпсихбольница – это тюрьма, окруженная колючей проволокой, с решетками на окнах. В холодной, темной, вонючей, без вентиляции, камере в тесноте 20 – 25 человек. Круглосуточно горит туслый электрический свет, круглосуточно шум, дикие вопли буйных помешаных, крики избиваемых. Но помещение в маленькую камеру не лучше. Известный диссидент Владимир Буковский был помещен в камеру с безумцем – убийцей, который зверски убил своих детей, после чего отрезал себе уши и съел их. Молодая диссидентка Ольга Йофе содержалась в камере с имбецилкой, испражнявшейся под себя в постель, собиравшей в уборной чужие испражнения и державшей их в карманах.

Но если помнить, что к этому воздействию обстановкой прибавлялось еще действие фармакологических препаратов, то результат легко угадать. Татьяна Гусева была заключена в Казанскую психбольницу за «преступление против советского государственного флага» молодой веселой девушкой. После 12 лет заключения она была уже старухой идиоткой.

Самая болезненная из применявшихся фармакологических процедур – это инъекция сульфазина. Она вызывает повышение температуры до 40 градусов, лихорадочное состояние, дрожь, резкую боль во всем теле при малейшем движении, и эту пытку продолжали по многу дней подряд. Инъекции инсулина, вызывающие шок, проводились безо всякого учета противопоказаний и были случаи, когда человек не выходил из комы. Применяли также и электрошок в виде наказания. Инъекции аминазина в ягодицы, проводимые день за днем, приводили к тому, что образовывались узлы, такие твердые, что в них даже не входила игла шприца (аминазин очень плохо рассасывается) и человек не мог ни сидеть, ни ходить от боли. Кроме того, аминазин вызывает отупение и потерю способности ориентироваться в окружающем. Также и от уколов сульфазина ягодицы распухали и больной не мог ходить от адской боли. Врачи называли это «лечение» кавалерийскими брюками. Галоперидол давался в огромных дозах без корректора. Когда жена Леонида Плюща получила с ним первое свидание, она его не узнала. Живой собеседник с острым интеллектом, каким она его знала, был превращен инъекциями галоперидола в вялого безразличного ко всему человека с потухшим взглядом, не способного даже сосредоточиться на разговоре. Неожиданно у него начались конвульсии и судороги, он стал задыхаться.

Страшной процедурой была также «укрутка». Пациента завертывали в мокрое полотнище особого состава, которое при высыхании сильно сжималось, вызывая страшные боли и удушье. Когда пациент терял сознание, укрутку ослабляли на время, а потом снова затягивали. Были случаи, когда пациент задыхался и умирал, но никто, разумеется, не понес никакой ответственности. Врачи и санитары действовали безнаказанно, совершая иногда подлинные убийства.

Не удивительно поэтому, что все время кто-нибудь из заключенных пытался покончить с собой. Попытки эти чаще всего пресекались санитарами, при этом пытавшегося жестоко избивали.

Татьяна Ходорович, член диссидентской Инициативной группы защиты прав человека, в своем обращении в защиту Леонида Плюща писала: «Наказание безумием – злодеяние, равного которому нет на земле». А Андрей Амальрик заявил в одном интервью: «Приравнивание критики к сумасшествию – саморазоблачение режима. Пример полной идейной капитуляции режима перед своими противниками». Нобелевский же лауреат Александр Солженицын сказал: «Даже гитлеровские газовые камеры были гуманнее, потому что убивали сразу».

Владимир Буковский собрал сборник документов и свидетельств об использовании в СССР психиатрии в политических целях и в 1971 году тайно переправил этот сборник на Запад, где он и был опубликован. Сразу же Буковский был арестован и приговорен к двум годам тюрьмы, пяти годам концлагеря и 5 годам ссылки.

Я хочу рассказать о человеке, которого я знал близко – о генерале Петре Григорьевиче Григоренко. Однажды, в середине 60-ых годов, я пришел к Павлу Литвинову, вокруг которого собирались тогда первые диссиденты, и увидел там человека, который сразу приковывал к себе внимание, и не только потому, что это был человек богатырского телосложения с гордой военной осанкой, сильным голосом и твердым умным взглядом, но и потому, что от него исходила также иная, духовная сила, которая истинктивно чувствовалась. Это был Петр Григоренко, человек не просто здоровый, а, если так можно сказать, гиперздоровый. И то, что власти решили объявить сумасшедшим также и его, свидетельствует о том, что они не заботились даже о малейшем правдоподобии. И что еще чувствовалось сразу, это то, что человек этот невероятной чистоты, что он не может солгать или совершить бесчестный поступок. Все, кто знали Григоренко, говорят о нем как о человеке редкого ума, доброты и благородства, приговорить его к ментициду было ужасным преступлением. В сборнике Буковского есть материалы и о Григоренко, где показывается, что генерал Григоренко был всегда осторожен в утверждениях, самокритичен и наделен в высшей степени скромностью.

Петр Григорьевич Григоренко родился в 1907 году в селе Борисовка Запорожской области в крестьянской семье. И естественно, что юношей принимал марксистско – ленинскую пропаганду как абсолютную истину и с энтузиазмом и верой принял обещания социалистической революции. Он стал активистом комсомола, а потом вступил в партию. Вместе с другими активистами маршировал и горланил комсомольскую песню:

«Эй, живей, живей, на фонари кадетов вздернем!

Эй, живей, живей, хватило б только фонарей!»

Он цитировал это впоследствии с отвращением. Понадобились многие годы жизненного опыта, чтобы постепенно убедиться в несостоятельности марксистских идей и увидеть лживость и преступность коммунистической власти. Говоря впоследствии о своей борьбе с режимом в рядах диссидентов, он сказал: «Моей верной службой коммунистической системе я тоже повинен в том вреде, который она принесла народу, и я хотел бы в оставшееся время хоть что-то исправить, искупить.»

Шестнадцатилетним юношей Григоренко оставил деревню и ушел в город. Работал на заводе, был слесарем на железной дороге, а в 1931 году по рекомендации партии был принят в Военно-техническую Академию в Ленинграде, на фортификационный факультет. Во время

прохождения практики взрывал, вместе с другими, старинные русские церкви в ходе антирелигиозной кампании режима. Впоследствии, будучи убежденным верующим, он вспоминал об этом как о своем самом большом грехе. После окончания Академии Григоренко стал профессиональным военным и делал успешную карьеру. Воевал в 1939 году на Халхин-Голе, а затем во время второй мировой войны на западном фронте. Не раз в опасных ситуациях проявлял редкое мужество, был дважды ранен – один раз тяжело в ступню ноги. Врачи грозили ампутацией ноги, только протесты жены спасли ему ногу.

После окончания войны Григоренко был назначен преподавателем кафедры общей тактики Военной Академии им. Фрунзе в Москве, а затем стал начальником научно-исследовательского отдела Академии. Он был уже в чине генерал-майора.

В это время Григоренко уже вовсе не был тем убежденным коммунистом, что раньше. Он много читал, много думал, наблюдал жизнь и у него складывалось убеждение, что существующий в Советском Союзе режим – это тоталитарная антидемократическая репрессивная диктатура партийной клики, а марксистская идеология – это набор противоречивых и не соответствующих истине догм.

Решающий поворот произошел в 1961 году. 7-го сентября Григоренко выступил на партийной Конференции Ленинского района Москвы, на которую был направлен делегатом от Военной Академии. Он сказал, что культ Сталина разоблачен Хрущевым, но не раскрыты и не устранены причины, приведшие к нему. Для устранения их необходимы свободные демократические выборы и демократический контроль над выбранными. Выступление произвело впечатление разорвавшейся бомбы, оно было выслушано в гробовом молчании. Конференцию прервали. Григоренко был лишен депутатского мандата и изгнан с Конференции. Затем его вызвали в Центральный Комитет партии. Здесь он увидел воочию их, правителей страны. Ему не дали сказать ни слова и орали: «Демократия ему нужна! Это чтобы всякая шваль могла вмешиваться в работу советских учреждений. Свободные выборы ему нужны! Это чтобы всякие демагоги могли чернить добросовестных коммунистов, мешать народу выбрать достойных! Развел демагогию!» Григоренко вышел из ЦК с мыслью: страной правит банда гангстеров, партийная мафия. Последовала ссылка на Дальний Восток, в воинскую часть в Уссурийске.

С этого момента Григоренко начинает свою борьбу с коммунистическим режимом. Вместе с сыном Григорием он создает подпольную группу, они пишут и распространяют листовки с разоблачениями преступлений режима. В одной из них говорилось о расстреле рабочей демонстрации 2 июля 1962 года в Новочеркасске и о расстрелах демонстраций протеста в Тимир-Тау и в Тбилиси. Другая листовка, озаглавленная «Почему нет хлеба», говорила о крахе колхозной системы. Но эта подпольная группа была довольно быстро раскрыта КГБ. Впоследствии Григоренко отказался от тактики подполья, которую считал у себя неизжитым пережитком марксистского мышления. Его лозунгом стало: «В подполье можно встретить только крыс». Он понял, что не надо создавать подпольные группы по примеру марксистов, а надо открыто и публично выступать против преступлений режима, тем самым лишая его всякого легального и морального оправдания репрессий. Судить теперь приходилось за открытый и честный протест, а не за анонимные выступления, прячущихся подпольщиков.

Размышления и жизненный опыт в конце концов привели к глубокому перевороту в сознании и марксист – ленинец, член коммунистической номенклатуры, советский генерал Петр Григоренко стал глубоко верующим христианином, именно эта религиозная вера позволила ему впоследствии вынести все испытания и выстоять в тех нечеловеческих страшных условиях, в которых, казалось, выстоять невозможно. Григоренко стал подлинным праведником, в изначальном смысле этого слова.

В феврале 1964 года Григоренко был арестован КГБ и допрашивался на Лубянке. Запись допросов прослушали все члены Политбюро, и Михаил Суслов сказал: «Так он же сумасшедший. Его надо надежно изолировать от людей». И судьба Григоренко была решена.

В марте 1964 года Григоренко был отправлен в Институт Судебной Психиатрии им. Сербского. Во время обследования врач Маргарита Тальце, лишенная самых элементарных понятий о моральных ценностях, спрашивала: «Вам-то при вашем окладе и ваших закрытых магазинах чего не хватало?» Но ее глупость неожиданно оказалась спасительной для Григоренко. На ее вопрос, как же он решился неуважительно отзываться «о *самом* Никите Сергеевиче», Григоренко ответил, что Хрущев долго не продержится, не дальше осени. Врач поставила диагноз: «профетизм». Но осенью Хрущев действительно был свергнут, «пророчество» сбылось, и в наступившей суматохе при смене власти, врачи решили, что у Григоренко, так странно осведомленного, есть покровители среди новых правителей. Он был освобожден 19 апреля 1965 года, но до этого ему пришлось побывать в Ленинградской спецпсихбольнице, и по распоряжению Хрущева он был незаконно лишен воинского звания и пенсии.

Когда Брежнев узнал, что Григоренко выпустили из сумасшедшего дома, он сказал: «Рано его выпустили. Жаль!»

Лишенный всяких средств существования, Григоренко стал искать хоть какую-то работу. Сначала он пытался усроиться куда-нибудь инженером, но в стране, где есть только один единственный работадатель – тоталитарное государство, и где в каждом учреждении есть специальный отдел КГБ, это оказалось невозможно. Наконец, Григоренко удалось устроиться работать грузчиком в овощной магазин по 12 часов в день за мизерную зарплату. От этой тяжелой работы на сквозняке у Григоренко открылся радикулит.

В это время уже получил массовое распространение самиздат. Григоренко стал писать статьи и давать их циркулировать в самиздате. Он близко познакомился со всеми известными в то время диссидентами и впоследствии стал членом Хельсинской группы вместе с академиком Сахаровым. Солженицын захотел познакомиться с Григоренко и пригласил его к себе в деревню. В 1968 году в Будапеште происходило Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Григоренко написал обращение к Совещанию с призывом выступить с протестом против незаконных репрессий в СССР. Текст письма он тайно (через западных корреспондентов) передал в ЦК Итальянской Компартии с просьбой огласить его на Совещании. Обращение это не только не было там оглашено, но текст его оказался в КГБ и фигурировал впоследствии в качестве одного из обвинительных документов во время следствия над Григоренко. В 1978 году Григоренко оказался в Италии и потребовал от ЦК ИКП объяснения этого факта, в ответ он услышал лишь околесицу и всяческие изощрения, чтоб обойти суть вопроса.

Среди распространявшихся самиздатом текстов Григоренко особым успехом пользовались его «Записки сумасшедшего», статья о роли Сталина во Второй мировой войне, обращение к крымским татарам. Григоренко принял близко к сердцу судьбу татарского народа. Крымские татары, высланные Сталиным в Среднюю Азию (во время депортации погибла почти половина населения), теперь требовали права вернуться на родину, в Крым. Возникло хорошо организованное общенародное движение, но активистов движения жестоко преследовали. Григоренко познакомился с ними и помогал им советами. В мае 1969 года в Ташкенте должен был состояться суд над лидерами татарского движения. Григоренко подготовил текст выступления и поехал в Ташкент. Но накануне процесса он был арестован. В знак протеста против незаконного ареста Григоренко объявил голодовку. Стали проводить принудительное питание, которое превратили в настоящую пытку. Несколько человек гебистов набрасывались на Григоренко, связывали его и били. При этом старались бить по той ноге, которая была ранена в войну и это доставляло страшные боли. В пищевод с силой вводили кишку, тоже умышленно причиняя боль. Была проведена психиатрическая экспертиза, но здесь, в далекой провинции, КГБ беспечно, слишком уверенный в результате, не позаботился о том, чтобы тщательно подобрать состав медицинской комиссии. И произошло чудо. Честные врачи, не подчиненные КГБ, признали Григоренко здоровым. Тогда КГБ отправил Григоренко снова в Институт Сербского, где и

был установлен нужный диагноз. Признак заболевания Григоренко был объявлен в таких словах: «Вы не признаете себя виновным, то есть не понимаете преступности своих действий, следовательно вы невменяемый».

В мае 1970 года Григоренко был доставлен в спецпсихбольницу в Черняховск (бывший Инстербург в Пруссии). Спецпсихбольница расположена в бывшей немецкой каторжной тюрьме. Здесь Григоренко провел три с половиной года. Его поместили в крохотную камеру, 6 кв. м., с буйным маньяком убийцей. Однажды ночью он набросился на спящего Григоренко и стал его душить. Лишь после долгой борьбы Григоренко удалось с трудом его отбросить. Надзиратель наблюдал в глазок за борьбой, но не вмешивался, ожидая чем она кончится.

Запрещена была Григоренко всякая интеллектуальная деятельность, ему не давали ни бумаги, ни ручки. Григоренко однако удалось припрятать маленький стерженек карандаша, но надзиратели узнали об этом и проводили долгие изнурительные обыски, чтобы найти его. Полное бесправие, безнадежность, унижение (оскорбительное бращение персонала, уродливая старая и грязная арестантская одежда, взгляд как на невминяемого) все это не сломило Григоренко и он продолжал бороться даже здесь. Ему удалось добиться положенной по уставу больницы прогулки во дворе, которой он был незаконно лишен. А когда однажды санитар при нем стал избивать безобидного и беззащитного больного Борю Грибова, Григоренко ударом джиу – джитсу сбил санитара на землю. Но бить Григоренко не решились: о его деле знал уже весь мир и оставшиеся на свободе диссиденты все время требовали его освобождения.

Западным психиатрам, побывшим в Москву и интересовавшимся его делом, была показана фальшивая история болезни Григоренко, с вымышленными, никогда не бывшими у него заболеваниями, в частности с перенесенным якобы инсультом с потерей речи и параличом руки. Но во встрече с ним было отказано, так как КГБ не разрешил присутствие независимого приглашенного женой переводчика, а настаивал только на своем кегебешном переводчике. В результате протестов Григоренко все же перевели из спецпсихбольницы в 5-ю Московскую Городскую психбольницу в Троицком (станция Столбы под Москвой), где он провел еще 9 месяцев в спецотделении принудительного лечения особо опасных больных.

В июне 1974 года президент США Никсон должен был посетить Советский Союз. Солженицын обратился с просьбой к Никсону ходатайствовать перед советским правительством об освобождении Григоренко. Никсон приезжал 27 июня, а 26 июня Григоренко был освобожден и приехал домой. Ему это казалось сном, он ходил по квартире и ощупывал руками мебель, не веря себе. Он уже свыкся с мыслью, что останется в сумасшедшем доме до конца жизни.

Когда Григоренко приехал в США, он обратился к американским психиатрам с просьбой обследовать его. Группа американских психиатров во главе с доктором Волтером Райч, с участием консультантов медицинского факультета Гарвардского Университета и сотрудников лаборатории биохимических исследований Института Психиатрии штата Нью-Йорк провела обследование с установкой на обнаружение симптомов заболевания и с соблюдением всех правил и норм, принятых в Америке, и пришла к выводу, что Григоренко совершенно здоров. Заключение заканчивается такими словами: «Там, где находили навязчивые идеи, мы увидели стойкость, где видели бред – мы обнаружили здравый смысл, где усматривали безрассудство – мы нашли ясную последовательность, и там, где диагностировали патологию – мы встретили душевное здоровье».

Арменак Манукян
Armenak Manukyan

О некоторых попытках сопротивления сталинским репрессиям в Армении (1930-ые годы)

Во второй половине 20-х и в 30-х годах прошлого века в СССР волнами нарастающие сталинские репрессии в стране, составляющей одну шестую планеты, частью которой была и Армения, потрясли весь мир.

Имеющие место общественно-политические процессы в СССР в конце 1920-ых годов создали благоприятные условия для установления единовластия Сталина. Непримиримое отношение к другим партиям, церкви, как и к внутрипартийной оппозиции, вместе с тем и объективно имеющиеся серьезные экономические проблемы, привели к политическим репрессиям, которые приняли массовый характер в годы сплошной коллективизации. Жестокая гражданская война создала психологическую ситуацию, которая не лишена была проявлений жестокости и непримиримости. Внутрипартийное противоборство также способствовало формированию нездоровой морально-психологической атмосферы. В эти годы в СССР почти сформировалась та тоталитарная политическо-государственная система, которая в конце 20-ых годов, получив окончательный вид, осуществила в стране массовые репрессии.

С 1922г. Армения находилась под двойным подчинением, т.к. входила в состав Закфедерации (руководство находилось в Тбилиси) и СССР (руководство находилось в Москве, где принимались все политические, экономические и др. решения).[1]

Наши исследования, проведенные в фонде прекращенных дел архива МНБ РА и в фонде «Р» МВД РА, дают основание представить следующую, почти полную картину количества репрессированных в Армении в 1930-ых годах. Так, по данным архива МНБ РА в 1930-1940г.г. в Армении были репрессированы 15669 человек, из коих 4644 были растреляны. В архиве МВД РА имеются еще 2000 дел репрессированных в те годы. Таким образом, в указанные годы в Армении были репрессированы около 18000 человек.[2] Это довольно существенная потеря для маленькой Армении, тем более, что во второй половине 30-х годов истреблялась политическая, духовная и др. элита республики.

Во второй половине 1930-ых годов в Армении первыми жертвами сталинских массовых репрессий стали первый секретарь ЦК ВП(б)К Агаси Ханджян и ученый Нерсик Степанян. Необходимо отметить, что А.Ханджян, независимо от тех или иных оценок его политической деятельности, имел национальный облик, был уважаем и любим народом. Этому несомненно способствовал и тот факт, что во время его руководства в Армении не были замечены массовые репрессии и репресии по отношению к интеллигенции и руководству республики. Он по мере своих возможностей сопротивлялся давлениям, совершающимся особенно со стороны Заккрайкома ВКП(б), руководителем которого был ставленник Сталина Берия. Однако, в мае 1936г., после длительного сопротивления, он был вынужден дать согласие на арест (решением бюро ЦК КП(б)А) известного общественного-политического деятеля Н.Степаняна, а спустя месяц 9 июля 1936г. он сам был убит в кабинете первого секретаря Заккрайкома Л.Берия.[3]

---

[1] См. С.В.Хармандарян, Ленин и становление Закавказской федерации 1921-1923гг.,Ер.1969
[2] А.С.Манукян, Политическая жизнь в Армении 1920-1940гг.,Ер.2002,стр.149-153 /ра арм.языке/
[3] См. АМНБ РА,ФПД, д.8997,т.4, л.27-35

В условиях тоталитарного режима, когда практически невозможно открытое сопротивление, все же находились люди, которые сознавая всю опасность своих действий и слов, осмеливались разоблачать обман, скрывающийся за лживым образом якобы справедливой и демократической власти. Это было сложнее делать в 30-ые годы, когда начала беспощадно действовать государственная машина репрессий. В настоящее время очень трудно найти документальные сведения о деятельности таких лиц, однако тщательное изучение архивных дел и воспоминания очевидцев дают возможность найти тех, кто сознавая всю опасность для себя и своих близких, говорили правду о обстановке в стране, доказывая, что никакое насилие не в состоянии искоренить правду.

Одним из таких лиц в Армении являлся видный ученый и политический деятель Нерсик Степанян, арестом которого в мае 1936 года в Армении начались массовые политические репрессии.

В этом смысле для представления истинной картины сталинских репрессий в Армении весьма важно изучение многотомного следственного дела на директора Института Марксизма-ленинизма, преподавателей некоторых ВУЗ-ов Армении Нерсика Степаняна.[4] Тем более, что почти во всех делах арестованных в те годы представителей научно-творческой интеллигенции республики мы встречаем обвинения в ,,преступных связях,, с ним, в принадлежности к ,,контрреволюционной организации,, якобы руководимой Н. Степаняном и бывшим 1-ым секретарем ЦК КП/б/ Ханджяном.

Коротко представим биографию Н. Степаняна, родившегося в 1898 г. в городе Гандзаке. Он с 1917 г. был членом ВКП/б/ и ЦК КП /б/ Армении. Принимал активное участие в революционном движении Закавказья, в мае 1920 г. был арестован меньшевиками в Тбилиси, в июле того же года дашнакской властью в Армении и приговорен к расстрелу. Который в дальнейшем был заменен на 10-летний срок лишения свободы. После установления Советской власти в Армении Н.Степанян получает высшее образование в Москве, в течение своей трудовой деятельности руководил Закавказским коммунистическим университетом, преподавал в Ереванском государственном университете и педагогическом институте, с 1933 по 1934 Народный комиссар просвещения, одновременно работал директором Института марксизма-ленинизма.[5]

Будучи человеком проницательного ума, железной логики и высокой принципиальности Н.Степанян никогда не прятался в тень, даже тогда, когда тысячи честных людей подвергались репрессиям.

Как отмечено выше власти обвинили известного ученого и политического деятеля в организации контрреволюционной организации, однако, как показали последующие исследования подобной организации в Армении в те годы не существовало.

В Армении Н.Степанян пользовался авторитетом и заслуженным уважением. Было известно, что он не мог примириться с культом личности Сталина, что он сокрушался по поводу антипартийных действий Берии.

В условиях установленного тоталитарного режима это был поступок смелого и честного человека, который, естественно понимал всю опасность не только для личной карьеры, но и для жизни.

Начиная с 1930-1931 годов Н.Степанян все чаще приводил примеры расхождений между словом и делом у руководителей компартии. Он писал: ,,Они не делают того, в чем клянутся на каждом шагу,,.

Композитор Аро Степанян рассказывает как Н.Степанян побывал у него дома. ,, Он нас познакомил с темой, над которой работал. Он в этот период интересовался вопросами развития общественной мысли армян. Нерсик, помню, показал книжонку Берии,

[4] Там же, д. 3036
[5] Подробно см. Ц.П.Агаян, Нерсик Степанян,Ер.1967, а также ЦГАОПО РА, ф. 1, сп..62,д.9397, л.1-13

посвященную истории большевитских организаций Закавказья, и тут же высказал свое отрицательное отношение, так как находил в ней много искажений исторических фактов,,.[6]

Характерным было поведение Н.Степаняна когда он защищал интересы бывшего дашнака, Айрапета Ованисяна, когда против последнего начали необоснованную кампанию компрометации в прессе. Очень образно звучат слова Н.Степаняна брошенные в лицо одного доносчика: ,,Вы людоеды, вы не можете рожать, но убивать можете, сколько специалистов как Айрапет Ованисян имеете, что избиваете его…,,.[7]

В те непростые годы ему принадлежат такие смелые мысли как: ,,Политическая и моральная ответственность за самое возникновения терроризма в рядах коммунистической молодежи лежит на Сталине. Террористические тендеции в рядах коммунистической молодежи является одним из наиболее болезненных симптомов того, что бонапартизм исчерпал свои политические возможности, вступил в период самой жесточайщей борьбы за существование,,. Или же ,, Я считал, что в партии отсутствует демократия. Я не верил в руководство Сталина. Я считал, что в партии нет коллективного руководства, что фактически все зависит от личной воли Сталина, что по существу имеется только его личная диктатура,,.

Еще до ареста, в 1934 году он не боялся и в окружении говорил: ,,Политика Сталина нашу страну ведет к неизбежной гибели, наше спасение может быть только во внутреннем перевороте. Сталина нужно ликвидировать, снять с занимаемого им поста,,.

В многочисленных своих высказываниях и записях, начиная с 1930-х годов Н. Степанян недвусмысленно говорил об ,,антипартийных, вражеских,, действиях Берии. На неопровержимых фактах он доказывал, что Берия натравливает людей друг против друга, разжигает страсти, чем вызывает ненависть к партии. Он обвинял Берию в искажении исторических фактов, в преследовании национальных меньшинств в Грузии и т.д. Так например, он писал: ,, Армения находится на положении вассальной страны,, , ,,Я вас обвиняю в убийстве и грабеже армянского народа,, , ,, Разложившийся партийный аппарат Груз. Компартии / 1-ым секретарем КП /б/ Грузии был Берия/ лихорадочно проделывает двойную работу: с одной стороны – укрепляет националистические позиции, с помощью даже извращения истории, с другой – лишения всякой возможности изучения на основе фактов их преступной деятельности,,.[8]

Как явствует из документальных материалов, в то время в результате действий, чинимых отдельными лицами, вокруг Н.Степаняна складывалась тяжелая атмосфера.

Н. Степанян стойко вынес также все нападки на него за поддержку замечательного армянского поэта Егише Чаренца. Он открыто выступил против запрещения произведений поэта и гонений против него.

Именно в то время, когда Е.Чаренца в связи с выходом его ,,Книги пути,, обвинили в национализме и освободили от должности заведующего отделом художественной литературы Государственного издательства Армении, Н.Степанян был одним из страстных его защитников. В последствии поэта восстановили на прежней работе /декабрь 1933г./. Однако, после ареста Н.Степаняна был арестован также Чаренц, которого обвинили в принадлежности в т.н. контрреволюционной, националистической, право-троцкистской организаций, руководимой Н.Степаняном. Поэт скончался в тьюрьме НКВД Армянской ССР в октябре 1936г.

Несмотря на складывающуюся вокруг него нездоровую обстановку, Н. Степанян высмеивал подхалимов, которые под флагом идеологической борьбы громили честные кадры, решительно защищал тех, кого Берия терроризировал и выводил из строя.

Нерсик Степанян стал одним из первых жертв сталинских репрессий в Армении. Его арестовали в мае 1936 г. и через год 7 июля 1937 г. приговорили к расстрелу. 25 августа 1956

[6] ЦГАОПО РА, ф.4033, сп.6, д.312, л.5
[7] АМНБ РА, Ист.фонд, д.186,стр.21-24
[8] См. там же, стр. 5-8

г. он был оправдан. Жизнь и трагическая смерть Нерсика Степаняна еще раз показывают, что и в годы тоталитаризма и открытой репрессии были люди, которые сохранили свое человеческое лицо, так или иначе сопротивлялись режиму, помогали людям, заплатив этим самым жизнью.

На фоне общих насилий представляется весьма важной позиция армянской апостольской церкви. Именно с этими годами совпала смерть блаженной памяти католикоса Всех армян Геворка V. Фактически, после его смерти руководство армяно-григорианской церкви принял заместитель Хорен архиепископ Мурадбекян, который в 1932г. был избран католикосом и до своей загадочной смерти - 5 апреля 1938г., преданный родине с честью выполнил свою духовную миссию.

Не случайно, что 7 сентября из Закрайкома в Армению посылается документ, подписанный начальником Закгосполитуправления Л. Берия и начальником секретного отдела Х. Мугдуси "Докладная об армянском духовенстве", где было указано:" В настоящее время, в связи со смертью руководителя церкви католикоса Геворка V., вопрос об армянском духовенстве приобретает еще большее значение, исходя из всемирной политической важности созыва нового съезда армянской церкви".[9]

В конце 1930г. первый секретарь ЦК КП(б) А . Ханджян в характерном для тех лет стиле посылает доклад в ЦК ВКП (б) и Закрайком, где предлагает "разрешить созыв армянского национального церковного собрания в Эчмиадзине для выбора католикоса…"[10]

Это свидетельствует и о том, что руководство Армении было настроено провести выборы католикоса и, фактически, не второстепенную роль играло в этом важном для армянского народа вопросе.

Считаем необходимым остановиться на том важном явлении, что несмотря на созданное невыносимое положение, католикос и предводители армянской апостольской церкви поддерживали не только морально, но и пытались оказывать материальную помощь терпящим несчастье людям. При этом, помогали как священнослужителям, так и гражданским лицам, сознательно подвергая себя опасности.

Католикос Всех армян Хорен А и некоторые члены Верховного духовного совета периодически оказывали помощь объявленным "врагами народа" и членам их семей.

Это не прошло мимо внимания НКВД, и в этом смысле весьма характерно дело епископа Артака Смбатяна, который был арестован в апреле 1937г. Он был одним из образованных и уважаемых в свое время священнослужителей, членом Верховного духовного совета, представителем католикоса в Ереване, исполнял обязанности бухгалтера католикоса, пользуясь особым доверием последнего. Он в свою очередь проявлял большую преданность святейшему.

Находясь в тюрьме, подвергался допросам известными нечеловеческими методами, "признавая" свои некоторые "грехи", епископ Артак Смбатян ни в какой форме не "признал" обвинения в адрес католикоса, предъявляемые судебными органами. Основным направлением первых допросов епископа Артака Смбатяна было то, что вышеуказанные органы стремились узнать, скольким "врагам народа" он помог материально, причем любым путем выпытывали у него ответ, что он свою эту деятельность осуществлял по указанию святейшего.

Так, 20 апреля 1937г. во время допроса задается такой вопрос: "Вы опять даете не полные и не точные показания. Следствию известны факты, что вы оказывали финансовую помощь и другим арестованным,", на что он отвечает: "финансовую и хозяйственную помощь я оказывал арестованному Таде Арутюняну… Эти деньги были посланы из положенной ему зарплаты." Во время еще одного допроса он сообщает, что помогал жене арестованного священника Тер-Карапетяна, жене дьякона Хачатура Малачяна, как и гражданам Константину Гюльназаряну, Егише Манучаряну и другим.

---

[9] ЦГФОПО РА, ф.1, сп.10, д.45, л.57

[10] Там же, л.72

Следователей интересовали также связи католикоса с заграницей, при этом основными "героями" допросов были предводитель епархии Атрпатакана (Иран), архиепископ Нерсес Мелик-Тангян и дашнаки. Не забыли известного зарубежного политического деятеля и интеллигента Аршака Чопаняна, связь с которым расценивалась как доказательство неопровержимого шпионажа.[11]

Для восприятия духа времени представим один отрывок из обвинительного заключения епископа Артака Смбатяна: "С помощью проповедей периодически вел антисоветскую националистическую агитацию, в церквях организовал сбор средств и оказывал материальную помощь гражданину Гюльназаряну, политическим заключенным Егише Манучаряну и другим, а также их семьям … вел тайную переписку с живущим в Тавризе дашнаком - епископом…" Отметим, что 5 ноября 1955г. по решению Верховного суда Арм.ССР епископ Артак Смбатян был оправдан "в связи с отсутствием состава преступления".

Не случайно, что в 1930-х годах репрессиям подверглись более, чем две трети работников Главной военной прокуратуры СССР, из коих 80 открыто выступили против беззаконий и по мере возможности боролись за законность.

Так, например военный прокурор Черноморского флота Павел Войтенко, который в 1933-1936гг. без правовой основы не подписывал санкций на аресты, был арестован в 1938г. по обвинению «в укоренении либерального отношения к арестованным», в неразрешении допросов после полуночи и т.д. Он скончался в ссылке в 1944 или 1945г.[12]

В 1930-х годах одним из самых распространенных обвинений был троцкизм. Известно, что в 1920-х годах в СССР имела место серьезная конкуренция за власть между Сталиным и Троцким.Отклики этого противостояния так или иначе распространялись и в республиках СССР. Оно имело место и в Армении. В этом отношении привлекает внимание дело арестованного 27 ноября 1936г. прокурора Котайкского района Амаяка Акопяна, который, как отмечено в обвинительном заключении, «… покровительствовал к/р (контрреволюционным –А.М.) троцкистам, не давал санкции на их арест, связялся с дашнаками и брал их под свою защиту, на судебном процессе 24 мая 1936г. имел резкое антисоветское выступление по поводу судебного приговора над к/р троцкистской бандой к/р Зиновьева, Каменева и других на митинге имел явную к/р троцкистскую вылазку». Затем упоминается, что А.Акопян во время пленума Котайкского райкома компартии пытался доказать невинность арестованных к/р троцкистов, что он в 1936г. прекратил и сдал в архив дело жителя Котайкского района к/р троцкиста Оганеса Гаспаряна. Приводятся также употребленные им во время различных судебных процессов «недопустимые» слова. Так, один раз он сказал: «Несчастные крестьяне мучаются под тяжелыми налогами» и т.д.

7 июля 1937г. закрытое судебное заседание выездной Военной коллегии Верховного суда СССР А.Акопяна осудило на 10 лет лишения свободы, с поражением политических прав на 5 лет и с конфискацией имущества. Однако этим не кончаются страдания А.Акопяна. Как выясняется из материалов дела, он свое наказание несет в Норильском лагере НКВД СССР, освободившись 3 ноября 1946г., 7 ноября 1947г. возвращается в Армению, где в марте 1949г. вновь осуждается на ссылку. В обвинительном заключении, кроме предъявленных в 1937г. обвинений, уже добавляют, что он после возвращения из мест заключения позволил себе высказывания «антисоветского характера». В этот раз не сочли необходимым «детализировать» его «преступления», и А.Акопян второй раз попадает в водоворот массовых репрессий в 1949г.

16 мая 1956г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР прекратила дело бывшего прокурора Котайкского района А.Акопяна в связи с отсутствием состава преступления.[13]

---

[11] См. АМНБ РА, ФПД, д.4226, л.25-26,49

[12] Они не молчали, сост.А.В.Афанасьев, М.1991,стр.226,234-235

[13] АМНБ РА, ФПД, д.3168, л.102

Среди репрессированных в те годы юристов Армении следует выделить известного ученого-преподавателя, составителя первой конституции Арм.ССР, члена адвокатской коллегии республики Григора Чубаряна.Его дело поучительно также в том смысле, что будучи крупным специалистом в области юриспруденции, Чубарян не признал ни одного из предъявленных ему обвинений и всячески пытался добиться правовой справедливости. Это, к сожалению, ему не помогает, т.к. в июне 1937г. его арестовывают вместе с четырьмя другими «членами контрреволюционной группы». В сентябре 1939г. он осуждается на расстрел, а в ноябре 1940г. приговор изменяется на 8 лет лишения свободы, затем в 1949г. вновь высылается по тем же обвинениям.

Вот что он пишет в 1955г. в посланной на имя Главного прокурора СССР жалобе:

« 1. 19 октября 1940г. по решению Особого Совещания при НКВД СССР я был осужден на 8 лет лишения свободы.По этому решению было узаконено мое невольное мученичество, которое началось со дня моего ареста – 15 июля 1937г.. А между этими двумя годами:

1. 2 сентября 1939г. было судебное решение Закавказского военного трибунала о расстреле.

2. Со 2 сентября 1939г. до 2 января 1940г. – нахождение в одиночной тюремной камере под опасностью исполнения смертного приговора.

3. Решение Военной коллегии Верховного суда СССР об изменении этого приговора и направлении моего дела на новое расследование.

4.Отсутствие каких-либо оснований и проверенных о моей антисоветской деятельности доказательствах во время второго предварительного следствия и т.д.»

Г.Чубарян описывает свою одиссею, аргументируя с правовой точки зрения все нарушения законности, которые были допущены по отношению к нему со дня ареста. Так, например. он отмечает, что во все периоды предварительного следствия следователи стояли перед тупиком и все время, как «доказательство» своих обвинений, предъявляли сведения какой-то тайной агентуры. Даже во время допроса на суде имелись три конверта с грифом «Совершенно секретно». Затем упоминается, что до его ареста следствие не имело никакого документа, в том числе устно сказанных ему показаний Е.Чубара и Г.Евангулова. Последние были добыты после его ареста путем пыток. В жалобе также указывается, что, вопреки статьям УК, на первый допрос его вызвали спустя 1,5 месяца после ареста, не предъявляли обвинений, руководствуясь «процессуально-абсурдным принципом», что во время допросов ему твердили, что факт ареста уже создал необходимость, чтобы арестованный доказывал свою невиновность.

Во втором периоде следствием руководил сам нарком НКВД Армении Х.Мугдуси со своим заместителем И.Геворковым. Допросы нарком начал с предупреждения, что «НКВД это не профессорская кафедра и не трибуна адвоката», что в стенах НКВД действуют не конституция и статьи, а «наши революционные законы и чекистские традиции». Далее Мугдуси заявил, что с первого дня советизации Чубарян всю свою энергию, эрудицию, перо и красноречие использовал для разрушения основ советского государства и, что каждый его шаг, каждое слово учтены в НКВД и т.д.

Затем, в своей довольно обширной жалобе Г.Чубарян со всеми подробностями описывает свои страдания и научно обосновывает незаконность своего ареста. В феврале 1956г. Г.Чубарян был оправдан, и дело на него было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.[14]

Вышеизложенное, естественно, не полная картина попыток сопротивления сталинским репрессиям в Армении. По понятным причинам, очень сложно найти задокументированные примеры сопротивления тех или иных лиц в условиях сплошной идеологической, политической и индивидуальной репрессии. Однако, даже приведенные нами примеры доказывают, что в СССР, в частности, в Армении, были личности среди политиков, интеллигенции, духовенства и других слоев общества, которые осуждали тоталитарный

[14]Там же, д.1893,т.3,л.131-146

режим, пытались найти пути избавления от него. Понятно, что в данной обстановке всеобщего террора, практически было невозможно открытое проявление, по этому сопративление, как правило, носило скрытый характер, т.к. от каждого неверного шага могли пострадать родственники и близкое окружение.

С учетом этого мы должны высоко оценить поведение первого секретаря большевиков Армении А.Ханджяна, истинного интеллигента, смелого ученого Н.Степаняна, который почти открыто противостоял тоталитарному режиму, представителей армянского духовенства Хорена А. Мурадбекяна и А.Смбатяна, которые, рискуя жизнью, пытались не только духовно, но и материально помогать репрессированным и их семьям, а после своего ареста не давали «нужных» показаний, чтобы не навредить другим. Юрист А.Акопян, естественно, отлично понимал ситуацию, но несмотря на это, в мере своих полномочий боролся против беззакония, а его коллега Г.Чубар не сломался даже в местах заключения, после долгих год мучений добился своего освобождения и оправдания.

Сколько было таких людей в СССР, в частности, в Армении, наверное, никогда не сможем узнать. Однако долг каждого - собрать всевозможные свидетельства о них, т.к. это не только дань памяти и уважения перед невинно репрессированными, но и обязательство помнить об этом нечеловеческом явлении и сделать все, чтобы впредь подобное никогда не повторилось.

Пьетро Кучукян
Pietro Kuciukian
Заметки о некоторых участниках Конгресса

Елена Боннер Сахарова и армяне

Жена академика Андрея Сахарова, Елена Боннер, писала в 1990 году в предисловии к книге Самуэля Шахмурадяна *Сумгитская трагедия, армянский погром в Советском Союзе*, сборнику свидетельств тех, кто выжил после избиения армян 27, 28, 29 февраля 1988 года: «Лучше бы это предисловие написала та адзерская женщина, которая спасла одну армянскую семью и потом заявила: Мой сын видит это и завтра сам будет делать то же самое. Это предупреждение всем нам в этом мире. Если нам не удастся сделать так, чтобы каждое государство было на службе у людей, а не люди на службе у государства, большого или маленького не имеет значения, наши дети и наши внуки превратятся в толпу жестоких животных. Как в Сумгите»[1].

В 1989 году после землетрясения (треть территории была опустошена, 500.000 погибших, раненных, бездомных, бежавших от антиармянских погромов в Азербайджане) я был в Армении в качестве врача и переводчика при Итальянской Протеционе Чивиле. Горбачев и его жена Раиса только что уехали, обиженные плохим приемом армян, которые при их прибытии встретили их криками «Свободу Карабаху!» Армяне тогда возлагали свои надежды на Андрея Сахарова и его жену Елену Боннер. В центре Еревана недалеко от Площади Ленина (теперь носящей название Площадь Независимости) армяне разрушили один советский памятник. На опустевшее пространство армяне в бесконечной процессии продолжали приносить цветы, фотографии, письма, петиции. Приблизившись, я смог заметить, что фотографии и надписи относились к Сахарову и его жене Елене. В 2002 году, в центре этой площади, переименованной в Площадь Сахарова, была установлена статуя этого великого гуманиста, защитника меньшинств, защитника армян Карабаха.

Андрей Сахаров и наука

Почему фигура Андрея Сахарова, лауреата Нобелевской Премии мира, сегодня столь важна и всеми признана? Сахаров был физиком,

[1] S. Chahmouradian, *La tragedie de Soumgait, un pogrom d'Armenièns en Union Soviètique,* Editions du Seuil, Pari 1991, p.7

разработавшим проект водородной бомбы в СССР, в десять раз более мощной, чем американская бомба. Когда Хрущев приказал ему испробовать ее, взорвав в атмосфере, Сахаров пытался разубедить его, потом подчинился, но в тайне ослабил ее мощность, и взяв на себя такую ответственность, помог избежать катастрофы апокалипсических размеров. Если бы была использована вся ее мощность, то Царь –Бомба повысила бы радиоактивность земли на 30% со страшными последствиями для всего человечества. С тех пор Сахаров, вместе с женой Еленой, посвятил себя защите прав человека. И если сегодня мы здесь, мы обязаны этим также и ему, Андрею Сахарову, преследовавшемуся советским режимом.

Вокруг Гулага

Для евреев, чей геноцид был признан всеми, справедливо утверждение талмуда: «Кто спасает одного единственного человека, спасает весь мир», и следовательно, Праведник для евреев это прежде всего тот, кто спасает от смерти. Для армян, геноцид которых не был всеми признан и которые по словам Эли Визеля «умерли дважды», праведник это не только тот, кто спас человеческие жизни, но также и «активный свидетель», то есть тот, кто борясь против отрицателей и против забвения, встретившись с крайним злом и приняв на себя ответственность, дал знать о том, что произошло и восстановил коллективную память.

Такое прочтение термина подходит также и к Гулагу и к реальности советского тоталитаризма, где очень редко бывали условия для того, чтобы стать «спасителями». Противостояние тоталитарной логике внутри и вне Гулага приобрело характер защиты человеческого достоинства и морального сопротивления. «Праведников» внутри и вне Гулага мы находим прежде всего среди тех людей, которые дали знать миру об ужасе, свидетельствуя, вспоминая, рассказывая, выучивая наизусть стихи, но также и среди тех бесчисленных людей, о которых мы ничего не знаем, которые боролись в молчании и в безвестности, вынося страдание и тяжесть повседневного существования. Геноциды характеризуются стремлением разрушить физически человеческие существа, лишив их перед этим человеческого достоинства с целью достичь цели: уничтожения. В то время как о голоде, вызванном на Украине Сталиным, можно сказать, что это геноцид, в случае с гулагом целью было, как кажется, физическое использование человеческих существ (оправдываемое перевоспитанием и искуплением), сопровождаемое криминализацией и разрушением достоинства, чтобы «приручить» их, сделать их пригодными для принудительного труда, приводившего часто к смерти. Уничтожение тел при геноцидах,

уничтожение душ в гулаге. И несмотря на это число умерших в гулаге было гораздо больше, чем погибших от геноцидов. Праведники гулага это и те, кто действительно спасали (как заключенный врач Семенов или доктор Попугаева)[2], и те, более многочисленные, кто сохранили собственное достоинство. Праведники и свидетели дают снова толчок истории идти вперед, поскольку они дают надежду.

Когда Комитет решил заняться праведниками в Гулаге, после того как он занимался праведниками армянского и еврейского геноцидов, среди членов организационного комитета возникло некоторое невысказанное тонкое сомнение, что-то чего никто не мог определить. Это чувство затем усилилось после первой встречи с представителем Мемориала. Но мы не дали развиться этому чувству и продолжали поиски позитивного, «доброго» и пришли к сегодняшнему Конгрессу, на котором среди прочих выступят также и представители Мемориала, центра, который хранит память о жертвах гулага. Но вопрос вновь возникает и сегодня: «Можно ли было тогда говорить о праведниках в системе, считавшейся праведной, то есть можно ли говорить о Добре в Раю?»

МЕГЕРДИТЧ АРМЕН

Армянин Мегердитч Армен родился в Александрополе (нынешний Гумри в Армении) в 1906 году и умер в Ереване в 1972 году, он закончил Московский Институт кинематографии и основал в Александрополе Октябрьский Союз рабочих и крестьянских писателей. Армен - пролетарский писатель. Его роман *Эгнарский фонтан* 1937 года, рассказ на национальные армянские темы, предназначавшийся для кино, стоил ему депортации в Сибирь в том же самом году. В лагерях он пишет свои воспоминания, которые были затем частично опубликованы в 1964 году под названием *Меня попросили сказать вам*. Это сборник из 28 рассказов, в которых автор свидетельствует о своем лагерном опыте: восемь лет жизни, неизгладимое клеймо.

---

[2] J. Bardach, K. Gleeson, *L'uomo del Gulag*, Il Saggiatore, Milano 2001, p.246
«Доктор Семенов и доктор Попугаева научили меня, как избежать деградации, казавшейся неизбежной. Мне удалось остановить падение и обратить процесс. Если бы мне не помогли в этом, я бы вероятно стал холоден и чужд всякого человеческого и цивилизованного побуждения. Может быть это была судьба встретить мне людей, которые не только спасли мне жизнь, но и показали как оставаться чувствительным к тем, кто рядом с нами. Встреча с ними дала мне нечто, за что бороться кроме выживания, и возродила во мне надежду на возможность идти вперед. Колыма научила меня, что деградация не была просто побочным продуктом тех условий, в которых мы вынуждены были жить, она была частью плана. Намерением было не только получить большое количество рабочей силы, но и превратить заключенных в животных».

Почему свидетельствовать? Почему многие заключенные просили его написать правду о лагерях (из этих настойчивых просьб как раз и родилось название книги)? Опыт автора не ограничивается одним лагерем, а охватывает более 60, через которые он прошел во время своего заключения.

Когда, как в случае Армена, узнаешь много лагерей, невольно напрашиваются сравнения, выносятся суждения, делаются классификации, выявляются предпочтения к тем или иным лагерям. Рассказы Армена, хотя и сюрреальные и фантастические, были написаны внутри гулага под влиянием жизни лагеря, отталкивались от реальных ситуаций, свидетелем которых был автор. В каждом рассказе мы находим на фоне ужаса и разложения, эпизоды сопротивления и реакции на зло, иногда мотивируемые психическими состояниями заключенных и тюремщиков, в атмосфере абсурда.

Таков, напрмер, случай Ивана Агатова, героя первого рассказа, который должен отсидеть 8 лет в лагере, как сам Армен, срубив некоторое количество деревьев. Тоска лагеря заставляет пользоваться любой самой малой возможностью, чтобы получить немного спокойствия. Предпочтение, которое Иван Агатов оказывает своему лагерю, зависит не от характера этого места, а от условий работы. Армен дает нам мало сведений о жизни внутри лагеря: режим изоляции для некоторых заключенных, жидкий завтрак, ужин, который пьют. На самом деле лагерь Ивана Агатова, один из редких, где заключенные работают как лесорубы снаружи, без конвоя, потому что окружающая обстановка делает его ненужным. У Агатова привилегированные условия: ему позволяют идти к месту, где он должен валить лес, своей скоростью, потому что у него ноги больны острой формой ревматизма. 10 км. туда и 10 км. обратно. Ему также позволяют работать в своем темпе, 10 часов в день.

Иван Агатов раньше был художником и он очарован пейзажем, который он видит каждое утро по дороге на работу: красотой заснеженного леса. И каждый день по пути туда и обратно он «убегает» в мыслях.

Заключенные в лагере теряют свой социальный статус и следовательно также свое достоинство. Художник становится лесорубом, интеллектуал доходягой. Доходит до чего? До точки, откуда нет возврата, где искупают не совершенную вину. Иван Агатов, доходяга, когда идет, сначала мысленно рисует пейзаж, потом совершает невозможное путешествие.

Разоблачение происходит 31 декабря по пути назад. В некоторый момент Иван Агатов - один на тропе, товарищи обогнали его.

Иллюзии превращаются в реальность. Он так сильно хочет оказаться в Москве, что теряется по дороге. «Но каждая дорога имеет конец, ведет куда-нибудь». Он натыкается на препятствие: железный забор. Иван перелезает через него, и там, он не верит своим глазам, оказывается Москва, он может прочитать названия улиц, которые пересекает. Забор становится символом того, что разделяет два мира: с одной стороны дикий лес, мороз, рубка леса, лагерь, на другой стороне «счастье», связанное с его городом. Он думает только о том, как вернуться домой, увидеть жену, встретить новый год с друзьями.

Кульминационный момент рассказа – это когда Иван Агатов подходит к своему дому и видит в окнах танцующую пару: он узнает свою жену и лагерного следователя, понимает , какую ложь следователи рассказывают женам заключенных, чтобы воспользоваться ими, и понимает, что ему уже нет хода в свой дом. Он принадлежит лагерю, куда и возвращается. Его находят замерзнувшим перед входом. Он «дошел». Моральная жестокость свободы заставила его предпочесть физическую жестокость гулага. «Подлинный гулаг находится вне Гулага»[3].

Во втором рассказе говорится о московском студенте Леониде Козлове, заключенном в гулаге: колючая проволока, грязные бараки, маленькая кухня, маленькие порции и бесконечные проверки, которые не вызваны никакой логикой. Проверки проводятся даже внутри лагеря, из которого не убежишь. Среди всего этого Леонид живет довольным. «Доволен, в его несчастье, потому что его перевели в этот лагерь», он даже плачет от радости. Но что именно делает его счастливым? Проработав весь день на картофельных полях, он проводит ночи в лагерном «красном уголке», лишая себя самого дорогого, что есть у заключенного – сна. Этот чудесный красный уголок, прилегающий к кухне, не мог быть задуман нормальным человеком в таком ужасном месте, а скорее всего сделан каким-нибудь заключенным архитектором, тоскующим по Москве. Уголок становится маленькой частичкой Москвы, символом свободы, и Леонид воображает себе, что он в парке или в маленьком ресторанчике. Он так крепко верит в это, что однажды ночью, когда надзиратели проводят перекличку, отсутствует. Надзиратель находит его в уголке. Следует разговор, в котором заключенный говорит о своем прошлом, о причинах вынесения ему приговора, который он оспаривает, о своих прошлых планах, о красоте Москвы, которую надзиратель не знает. В этом разговоре самое главное – выражения, которые Леонид Козлов, употребляет: «Я свободен, я в Москве». Этот город для него – символ свободы. Устанавливается дружба между

[3] Azad Magazine, Grenoble (F), 2 trimestre 2003, p.8,9

Леонидом и надзирателем Сашей, который предлагает передать, кому следует, заявление о досрочном освобождении заключенного. Но Леонид отказывается, для него свобода в духе. Гулаг – это не препятствие для подлинной свободы.

«Счастье там, где менее всего его ждешь».

В третьем рассказе больше описательных деталей лагеря: высокие стены, покрытые колючей проволокой, решетки, сторожевые вышки по бокам, но используется только одна. Бегство невозможно. Лагерные власти однако решают зажигать каждую ночь огонь, чтобы освещать ту строну, где нет вышки. Армен иронизирует по этому поводу, потому что эта мера излишня, заключенные могли бы легче бежать, когда работают вне лагеря, и во всяком случае, никогда не смогли бы преодолеть заборы из колючей проволоки. Чтобы поддерживать огонь, нужен надежный человек. Заключенный, которому поручена эта миссия, не только должен зажигать огонь, но должен также поддерживать его всю ночь, а днем должен отправляться в лес, находить сухие деревья, рубить их и приносить в лагерь. Когда же у него будет время спать? Это дают решать ему самому, замечает Армен с черным юмором. Во всяком случае, не ночью. Выбирают некоего Акопяна, «врага народа». Еще один человек, потерявший свое достоинство, проведший уже 7 лет в лагере, ему остается еще один год, как Армену. Почему выбрали Акопяна? Ему доверяют, потому что он близок к освобождению и изменил свои политические убеждения. Старший надзиратель защищает его перед начальником лагеря, когда тот заставляет его разрушить небольшой шалаш, построенный Акопяном, чтоб защититься ночью от дождя. Старший надзиратель приходит каждую ночь навестить его. Как только он уходит, часовой единственной действующей вышки спускается вниз к Акопяну, чтобы погреться у огня, поесть картошки и поспать в шалаше до рассвета. Так продолжается много ночей, пока старший надзиратель не задерживается подольше. Оба заняты долгим разговором о политике. Акопян учился в партшколе и был партийным секретарем, а старший надзиратель партиец, учащийся в школе политпросвета и посещает собрания секретарей надзорсостава. Когда Акопян выражает свои политические взгляды, он делает это с опаской, потому что свобода выражения чужда этому месту, старший надзиратель начинает жалеть, что он дал это задание Акопяну. Но на следующую ночь старший надзиратель возвращается и рассказывает, что на последнем собрании секретарей, кого-то похвалили за то, что он выражал такие же взгляды как Акопян. Он признает, что Акопян прав, и таким образом признает его ценность. С тех пор он каждую ночь ходит к Акопяну, чтобы поучиться.

После многих таких ночей, во время которых часовой не мог спуститься, чтоб погреться, случается неизбежное. Как только старший надзиратель уходит, часовой спускается, ест и укладывается спать. Старший надзиратель возвращается, чтобы спросить что-то у Акопяна, что-то из того, что он забыл спросить, и застает часового спящим в шалаше. Он ругает часового: «Покинуть ответственное место, спать рядом с врагом народа, оставить ружье!"

Акопян все еще враг народа. Но те политические взгляды, за которые он сидит в гулаге – это те же самые, что и у старшего надзирателя. Так почему же он в гулаге? Марксизм Акопяна снова становится фашизмом, потому что он заключенный?

«Гулаг перевертывает роли».

В последнем рассказе описываются окрестности лагеря. Показаны лачуги рядом с лагерем, в которых живут вольные рабочие, и магазин. Автор подчеркивает отсутствие жизни, отсутствие запахов, цветов, света, звуков. Только у леса есть некая красота, «хотя заключенные и были не способны понять ее». Заключенный Арутюнян, как Иван Агатов и Леонид Козлов, доволен тем, что он в этом лагере. Прочему? Он иногда видит Татьяну Дмитриевну Сирину, служащую магазина. Ее красота делает ее не от мира сего. Только у нее есть цвет, цвет голубых глаз, есть свет, свет ее золотых волос, есть звук, звук ее теплого голоса, одним словом, она - это частица жизни на этом сером Севере. Как Армен, Арутюнян тоже в лагере восемь лет. Но что в нем особенного, в отличие от других залюченных? Одним своим присутствием Татьяна Дмитриевна Сирина облегчает тоску жителей поселка и заключенных, но Арутюнян счастлив видеть ее не по тем же причинам, что и его товарищи по заключению, и не потому что испытывает к ней плотское чувство. А потому что он воодушевлен благородной мыслью: он находит несправедливым, что Татьяна, предмет всеобщего восхищения, живет и работает здесь, несправедливость не приняла во внимание ее моральных качеств. Однажды Арутюнян получает разрешение идти на работу вне лагеря без конвоя и он встречает Татьяну Дмитриевну Сирину. Он просит ее: «Уйдите из этого мира, что вы тут делаете, вы не принадлежите к этому миру. Уйдите прочь!» Она понимает, потому что говорит ему : «Спасибо». Каждый раз, когда они встречаются, они повторяют мысленно все те же слова и со временем между ними устанавливается некий род дружбы. Пока в один прекрасный день Татьяна Дмитриевна Сирина не говорит Арутюняну прийти в магазин, когда она одна. Но вопреки ожиданиям Арутюняна она дает ему кусок хлеба, который тот берет автоматически, как робот. И уходит в лес. Оставляет кусок хлеба в

тундре и удаляется. Не хлеб был ему нужен, а понимание Татьяны Дмитриевны Сириной, и чтобы она разделила его чувства. Он думал только о ее счастье и теперь не хочет более ее видеть, потому что видеть означает, что она еще там, в мире, который ей не принадлежит. Арутюнян готов пожертвовать удовольствием видеть ее, лишь бы она была далеко от этого бесчестного мира Гулага.

«Гулаг не может воспрепятствовать тому, чтобы благородство могло выразиться».

Чудо в этом безумном концентрационном мире состоит в том, что человеческое достоинство смогло сохраниться у некоторых заключенных, позволяя выразиться противостоянию, самопожертвованию, несмотря на бесчеловечность системы и ее персонала. Остается, однако, опасение: поскольку Гулаг был, он может повториться, не в том же виде, не с теми же людьми, не по вине этих самых людей, а с любыми другими людьми. До этого не было прецедента, теперь он есть.

В этих коротких рассказах Армен описывает нам Гулаг и оставляет нам свое видение его. Он сохранил большую силу характера и высокое моральное достоинство, и оставил нам литературное свидетельство, которое не будучи реальным фактом, отражает похожую действительность. Его последнее утверждение обращено к будущему, к жизни: «Ни на мгновенье я не ронял факела надежды»[4].

АКХПАРЫ

После армянского геноцида 1915 года и после окончания первой мировой войны, вызвавшей миллионы жертв, выжившие армяне, будучи полезной рабочей силой, в качестве рабочих, ремесленников и крестьян были приняты разными странами – Францией, Грецией, Сирией, Ливаном, Америкой - и создали мировую диаспору. Не всегда их принимали хорошо, но со временем они ассимилировались.

После второй мировой войны, принесшей миллионы жертв в Советском Союзе (300.000 армян из населения в 1.200.000),Сталин, чтобы пополнить потери рабочей силы, путем массивной пропаганды, предложил армянам диаспоры, выжившим после геноцида 1915 года и детям выживших, вернуться в то, что осталось от их родины, в советскую Армению, клочок земли по сравнению с исторической Арменией. В период между 1946 и 1949 годами, более 150.000 армян, приехавших из

[4] Azad Magazine, Grenoble, (F) 3 trimestre 2003, p. 11, 13

Франции, Греции, Сирии, Ливана , Болгарии, США и других стран, были приняты в советской республике. Они устраивались с огромными трудностями из-за большой послевоенной нищеты, жестокостей сталинского режима, враждебности местных армян, которые звали новых пришельцев презрительным именем «акхпар», сводные братья. После краткого периода патриотического энтузиазма разочарование пришло на смену националистическому пылу. Местное население рассматривало репатриантов как граждан второго сорта, а коммунистические власти как «зараженных капитализмом». Самые молодые репатрианты, разочаровавшись в советском рае, осуществляли пассивное сопротивление, которое очень скоро привело их к столкновению с системой. Большие облавы на репатриантов в июне 1949 года привели к депортации в товарных вагонах более 50.000 акхпар в сибирские лагеря.

Альберт Андонян, родившийся во Франции в 1926 году в семье, выживших после геноцида, в 21 год следует за родителями, которые репатриируются в Армению, и становится акхпаром. Он жил в Советской Армении и в Москве. В 1992 году, после развала Советского Союза он публикует книгу воспоминаний «История одного акхпара». Он стал преподавателем французского языка и тренером олимпийской велосипедной команды в Ленинокане, нынешнем Гиумри. Он пишет в своей книге:

« Я не могу не представить вам товарища Мезроба, заместителя директора колхоза. Товарища, который никогда не смотрит вам в глаза, когда говорит. Маленького члена партии, который после смерти Сталина и расстрела Берии, покинул деревню, в которой родился и в которой жил во время войны, потому что ему было уже невозможно встречаться со своими односельчанами и видеть их взгляды, полные презрения. В течение многих лет этот человек был председателем сельсовета, то есть мэром деревни, одним из трех «лицемеров», двое других были – секретарь местной парторганизации и председатель колхоза. Он управлял своим маленьким миром со строгостью, присущей эпохе, то есть в полном соответствии с инструкциями, получаемыми от районного управления НКВД. Все члены педсовета знали его прошлое, особенно историю, которую неизменно рассказывали нам, когда были в хорошем настроении. Что случалось всегда, когда мы напивались. То есть довольно часто.

Однажды он получил из управления НКВД приказ составить список из 100 человек для депортации. Почему 100, а не 75 или 125? Объяснение очень простое. Если в высших сферах решали депортировать один миллион человек в Сибирь, это поручалось НКВД СССР, который

распределял эту цифру среди разных республик. Если доля Армении была, предположим, 40.000 человек, то республиканский НКВД делил эту цифру на число районов, которые в свою очередь делили ее на число поселков. Таким образом, наш человек должен был послать 100 человек в Сибирь умереть. Сто невинных, единственным преступлением которых было то, что они родились в этом месте.

Такую задачу трудно решить, если половина односельчан дети и подростки, треть – родственники, более или менее близкие, тем более, что никого ни в чем нельзя было упрекнуть.

Десяток или двадцать человек еще куда ни шло, но сто! Где их найти? А срок только одна неделя, чтобы составить список, никому ничего не говоря, потому что всех надо неожиданно погрузить ночью.Он был один на один с белым листом бумаги и не знал с чего начать. Мало по малу, вороша память, вспомнил, что Левон, колхозник, живший рядом, однажды отказался одолжить косу, посоветовав либо купить новую, либо наточить свою старую. Так список был начат. Потом пришел на память другой сосед, который однажды не пригласил на семейный праздник. И так появился второй номер в списке. Третьим номером был некий тип, не ответивший на приветствие несколько дней назад. И так прибавляя каждый день по пятнадцать имен, к назначенному сроку в списке было 99 кандидатов на отправку в Сибирь. Когда, кусая карандаш в попытках найти сотого, он сидел перед листом, его жена вдруг обрушилась на него: «И тебе не стыдно заниматься таким мерзким делом? Хотя ты и мэр, никто тебя не уважает и все тебя боятся. У тебя не сердце, а кусок навоза. Я не понимаю, как это ты до сих пор не отправил меня в Сибирь.» Что же она раньше этого не сказала! Проблема была решена. По крайней мере не надо будет больше слушать ее ворчание. Ее отправили вместе с другими. С тех пор он ее больше не видел.

Как проста жизнь!»[5].

(*Перевод Юрия Мальцева)*

[5] A.Andonian, *Histoire d'un akhpar*, Burean Dendy, Moskva 1992, p. 79 - 81

Елена Дундович
Elena Dundovich

Праведники, которые на Западе и в Италии заявляли о Гулаге.[1] Некоторые образцовые истории.

Александр Солженицын, *Архипелаг ГУЛаг,* 1973

Посвящаю всем,
кому не хватило жизни
об этом рассказать(…)[2]

Варлам Шаламов, *Как это началось,* 1964

Безнаказанная расправа над миллионами людей
потому и удалась,
что это были невинные люди.
Это были мученики, а не герои.[3]

Винченцо Баккала к Пиа Пиччони, Одесса, 1937

Защити ты память обо мне,
я не виновен[4].

ВВЕДЕНИЕ

Не легко выбрать среди многих книг с воспоминаниями о Гулаге[5], появившихся на Западе начиная с 30-ых годов и до наших дней, такие, где можно найти некоторые образцовые истории. Действительно, делая такой выбор чувствуешь замешательство: во-первых, потому что испытываешь чувство несправедливости, не вспоминая и не

---

[1] Термин ГУЛаг – это сокращение от Главное Управление Лагерей. В написании Гулаг – термин стал уже синонимом всей системы лагерей в СССР. В дальнейшем также и здесь будет употреблено написание Гулаг.

[2] Vol. I- II, Milano, Mondadori, 1973, p. 13

[3] Vol. I, Torino, Einaudi, 1999, p. 476.

[4] Эта фраза содержится в письме, которое Пиа Пиччони направила газете «Унита» 26 февраля 1992.

[5] Общий обзор существующей литературы о Гулаге можно найти в статье H.Kaplan "*The Bibliography of the Gulag today"* в книге E.Dundovich, F.Gori, E.Guercetti, *«Reflections on the Gulag, With a Documentary Appendix on the Italian Victims of Repression in the USSR,* Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Anno Trentasettesimo, 2001, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 225-298. Выражается благодарность в частности автору за те ценные советы, которые мне позволили провести исследования, содержащиеся в этом докладе.

восстанавливая память о всех тех, кто после многих лет страданий и неописуемых лишений нашли мужество заявить о Гулаге и его ужасах[6], во-вторых, обращаешься мыслью ко всем тем, кто были Праведниками, в том смысле этого термина, в каком он принимается во время работ этого конгресса, но которые по тем или иным причинам (желание забыть, страх преследований, неспособность выразить в письменной форме пережитое) не оставили нам свидетельств об их опыте, являясь лишь цифрой в статистике репрессий. Замешательство меньше, но лишь отчасти, в том, что касается итальянцев: немногие выжившие среди итальянских жертв советского террора и в частности те, что были осуждены на многие годы трудовых лагерей или лагерей для военнопленных[7], оставили память об их опыте в своих письмах[8], дневниках или мемуарах, написанных после освобождения[9]. В некоторых случаях, наиболее известный - это случай Эдмондо Пелузо, о котором будет говориться в одном из следующих докладов, сами протоколы допросов, сохранившиеся в досье, найденных в русских архивах, сохранили нам память о пытках, о физическом и моральном противостоянии. Но и здесь тоже мысль обращается к тем итальянцам, которые в молчании, не оставив следов, пережили этот ужас и остались анонимными жертвами в истории[10] . Но мысль бращается также и к их родственникам, в течение многих лет напрасно ждавшим их возвращения, и которые в некоторых случаях, как например Нелла Мазутти, о которой будет речь в связи с историей Эмилио Гварнаскелли, как Пиа Пиччони, жена Винченцо Баккала, расстрелянного в Одессе в 1937 году, чья дочь Паризина находится в зале, как Джованна Де Марки, дочь Джино, тоже расстрелянного, никогда не соглашались забыть. Настойчивость, с которой они напоминали о трагическом конце своих близких и об ужасах всей системы, делает их по-моему, хотя и не

---

[6] Чтобы избежать такого замешательства сделана попытка дать в примечаниях как можно более полный обзор произведений о Гулаге, появившихся на Западе, начиная с 30-ых годов и до наших дней. Каждое цитирование сопровождается кратким описанием жизни автора в период ареста, заключения в лагерь, или депортации.

[7] Имеются в виду отец Джованни Бреви и отец Леони, о которых говорится на следующих страницах.

[8] E. Guarnaschelli, *Une petite pierre,* Paris, Maspero, 1979

[9] Имеются в виду Данте Корнели, Леонардо Дамиано, Томмазо Сговио, Серджо Де Мартино и Надзарено Скариоли, о которых говорится во второй части выступления.

[10] Биографии итальянцев, репрессированных в Советском Союзе в период с 20-ых годов и до конца Второй Мировой войны, находятся в разделе «Profili biografici» в цитир. книге E.Dundovich, F.Gori…,pp.325-470. Последние сведения, основывающиеся на данных поступающих из русских архивов, можно найти в сайте www.gulag-italia.it, посвященном истории ГУЛага, который Фонд Фельтринелли создал вместе с московской ассоциацией Мемориал в 2002 году.

непосредственно, полноправными участниками той истории, которой занимается этот конгресс.

Во второй половине тридцатых годов[11] появились на Западе первые свидетельства переживших сталинские лагеря. Эти книги были изданы в основном[12] во Франции и в Германии[13] и не случайно: французские издательства были единственными на континенте, которые действовали еще в атмосфере демократии и свободы, а в Германии сильные антибольшевистские настроения, которые питал нацизм, делали очень желанными для пропаганды режима книги такого рода. Во Франции сначала вышли книга Анте Цилига «В стране великой лжи»[14] в 1936, а затем через три года книга Виктора Сержа *"S'il est minuit dans le siècle"*[15]. Политический и личный опыт авторов этих двух книг имеет общие корни: сначала страстная приверженность коммунизму, затем преследования и арест и наконец изгнание из Советского Союза, свобода и свидетельство об ужасах сталинизма: Анте Цилига был членом югославской коммунистической партии с 1918 года и советской компартии с 1926 года и затем членом Коминтерна. В 1930 году он был арестован и приговорен к трем годам заключения, которые провел в Челябинской тюрьме, на востоке Урала. Во время трехлетнего заключения он проводил продолжительную голодовку и угрожал самоубийством, но это, как он сам пишет «вместо того, чтобы облегчить мне возвращение свободы, мне подарило (…) ссылку в Сибирь»[16].

---

[11] Здесь не принимается во внимание продукция двадцатых годов, потому что система трудовых лагерей, называемая обычно Гулаг, была создана в СССР в 1929 году. Поэтому свидетельства, относящиеся к репрессивной и пенитенциарной советской системе двадцатых годов, не включены в это исследование.

[12] В те годы были опубликованы также две книги, одна в Нью-Йорке и одна в Лондоне: первая в 1935 году G. Kitchin, *"Prisoner of the OGPU",* New York, Longmans 1935. Финский делец Китчин работал в Советском Союзе как представитель одной нью-йоркской компании. Он был арестован в 1928 и содержался в трудовом лагере 4 года. Вторая книга Ольги Дмитриевны, настоящее имя ее не известно, под названием *"Red goals"* – Автор была арестована в 1923 году и провела 8 лет в советских тюрьмах, на Соловках, а также в лагере Беломор канала. Освобожденная в 1932 она смогла покинуть СССР в 1935.

[13] В Германии в эти годы была опубликована книга I.K. Albrecht, *"DerVerratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatbeamter in der Sowjetunion",* Hrsg. Von der Antikomintern, Berlin-Leipzig, Nibelungen Verlag, 1939 – немецкий инженер, член ГКП, Альбрехт работал в СССР с 1924 по 1932. Был арестован в 1932, заключен в разных лагерях, освобожден в 1934 благодаря вмешательству немецкого правительства.

[14] A. Ciliga, "*Au pays du grande mensonge",* Paris, Gallimard 1936, переведена затем на итальянский в 1951 под названием *"Dieci anni dietro il sipario di ferro. Siberia"*, Roma, Casini 1951

[15] Victor Serge, *"S'il est minuit dans le siècle",* Paris, Grasset 1939

[16] A. Ciliga, *"Au pays du grande mensonge",* op. cit. p.2

Освобожденный в 1936 он поселился в Париже, где решил опубликовать свои воспоминания, первый настоящий обвинительный акт против СССР Сталина и советской репрессивной системы со стороны активного коммуниста. Три года спустя вышла книга Виктора Сержа (чье настоящее имя было Виктор Львович Кибальчич) журналиста, публициста, историка и писателя, без сомнения фигуры самой яркой и пленительной в революционном движении первой половины XX века. Вначале он был анархистом, затем большевиком и наконец последователем Троцкого, за что и был арестован в марте 1928 года. Освобожденный спустя всего лишь два месяца благодаря тому шуму, который произвел во Франции его арест, Серж жил в изоляции, твердо противостоя нищите, остракизму старых товарищей, тяжелой повседневной борьбе за выживание. Он посвятил свои силы литературе, понимаемой как педагогическое орудие, как единственная в те годы форма сохранения исторической памяти о революции и о ее результатах.. Персонаж слишком неудобный для режима, он был вскоре снова арестован и приговорен к трем годам депортации в Сибирь. Несмотря на сильную кампанию в его защиту, развернувшуюся во Франции даже с участием известных своей приверженностью сталинизму интеллектуалов таких, как Ромэн Роллан и Андре Жид, Серж был освобожден и выслан из СССР только отбыв весь срок, в 1936 году. В этом году он начал писать в Брюсселе *"S'il est minuit dans le siècle"*, литературное изложение своего драматического опыта во время заключения.

С конца тридцатых годов произведения, рассказывавшие о советской концентрационной системе, становились все более редкими[17] и это не только потому, что разразилась война. После 1933 года три фактора повлияли на это: с одной стороны, организация концентрационной системы стала более эффективной и побеги из лагеря, довольно частые в предыдущие годы, стали более затруднительны, с другой стороны, широко практиковавшийся сталинским руководством

[17] В Германии вышли в 1941 воспоминания Klug Kajetan *" Die Grosste Sklaverei der Weltgeschichte: Tatsachenbericht aus dem Strafgebieten der GRU",* Ausgezeichnet von Karl Neuscheler, Berlin, Zentralverlag der NSDAP, F.Eher, 1941, затем переведенные на польский в 1943 во время нацистской оккупации. Австрийский коммунист Кайетан был арестован в Москве в 1936 и отправлен в Караганду и затем в Воркуту. Освобожденный в апреле 1941 года уехал из СССР благодаря помощи немецкого посольства и основался в Германии в июне 1941 года. Его свидетельства о советских лагерях были сразу использованы в пропагандных целях. Они сначала были опубликованы в брошюре, изданной по случаю выставки о Советском Союзе, организованной Отделом пропаганды нацистской партии в антикоммунистических целях, затем в 1943 были снова опубликованы в книге Hector Ghilini, *"Galères en Paradis: un documentaire sur la barbarie et l'esclavage en URSS 1917- 1943",* Paris, Jean-Renard 1943, книге с сильным антикоммунистическим и антисемитским акцентом.

«государственный террор» включал в себя также обычай приговаривать к новым срокам тех, кто уже был ранее репрессирован, сведя к минимуму таким образом и без того уже малое число освобождавшихся, и наконец, решение советского правительства закрыть свои границы сделало практически невозможным бывшим заключенным покинуть страну.

ОТ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ДО СЕКРЕТНОГО ДОКЛАДА ХРУЩЕВА

В годы, последовавшие за окончанием второй мировой войны, литература, говорившая о Гулаге, стала более богатой. Появились в эти годы некоторые книги, написанные поляками, которые после 1939 года были депортированы в Советский Союз[18], и мемуары о годах заключения в СССР двух французов, Франсиса Борне и Жана Руно[19]. Но самым известным эпизодом этого периода, действующими лицами которого были некоторые люди, которых с полным правом можно назвать «Праведниками» в принятом на этом конгрессе смысле, хотя бы уже потому, что Французская Компартия пыталась дискредитировать их свидетельства, была история с судебным процессом между Давидом Руссе и французской газетой *Леттр франсэз*: публично обвиненный газетой во лжи Руссе, потребовавший официального создания специальной следственной комиссии о советских лагерях, вызвал свидетелями на процесс некоторых людей, которые на личном опыте узнали ужасы сталинских лагерей и которые затем оставили об этом

---

[18] Среди этих книг самая знаменитая Иозефа Чапского – Jozef Czapski, *"Terre inhumaine", Paris, Self 1949* – Польский офицер, арестованный после вторжения в Польшу в 1939 году, был освобожден через несколько месяцев и ему было позволено провести исследования, чтобы найти некоторых исчезнувших польских офицеров (на самом деле уже убитых советскими властями). Его книга много раз издавалась после войны. Появились и другие книги: A. Ekart, *Echappé de Russie,*Paris, Achette 1949 – Польский инженер был арестован вместе с женой в 1939 году и депортирован в Архангельскую область, а затем с 1940 по 1947 год на крайний север Сибири. J.Gliksman, *"Tell the West. An account jf his experience as a slave laborer in the Union of Soviet Socialist Republics",* New York, The Gresham Press 1948 – варшавский юрист социалист был в заключении в СССР с 1939 по 1941, A. Krakowiecki, *"Ksiazka o Kolymie, London, Katolicki Osrodek Wydawniczy",* "Veritas" 1950 – польский журналист был в заключении на Колыме с 1940 по 1942 год. M.Rudzka, *"W domu niewoli",* Roma 1946 - эвакуированный из Львова он был арестован и перевезен в Сибирь. Другой поляк Менахем Бегин, еврей, после освобождения поехал в Палестину, где написал Menahem Begin, *"White Nights. The story of a prisoner in Russia"*, London, Macdonald 1957. Бегин был арестован в Вильне за сионистскую деятельность и осужден на принудительные работы.

[19] F.Bornet, *"Je reviens de Russie",* Paris, Plon 1947 , здесь описывается Карлаг, в котором он содержался, J.Rounault, *"Mon ami Vassia",*Paris, Sulliver 1949 – француз по национальности Руно работал в 1945 году в Румынии, где он был арестован и депортирован вместе с другими румынами.

воспоминания в своих книгах. Это были: Элинор Липпер[20], Маргарет Бубер Нейман[21], арестованная и депортированная в Караганду она была затем выдана Сталиным Гитлеру, после подписания пакта Риббентроп-Молотов, и заключена в немецкий лагерь Равенсбрук, где пробыла до 1945 года, поляк Юлий Марголин[22], австриец Александр Вайсберг[23] и наконец Валентин Гонзалес, по прозвищу Эль Кампезино[24], генерал 46-й дивизии испанской республиканской армии, сначала произведенный Сталиным в маршалы, а затем депортированный. Гонзалес сумел бежать из лагеря и из Советского Союза в 1948 году и обвинял в предательстве ценностей демократии и свободы советский режим, на стороне которого он сражался и которым затем был надолго упрятан в заключение. Его судьба не была похожа на судьбу многих других участников испанской гражданской войны, искавших убежища в Советском Союзе и отправленных в концлагеря, где они и нашли смерть. Среди них были также и итальянцы, как например Уго Читтерио, чья история стала известна только теперь, благодаря судебным протоколам, сохранившимся в русских архивах[25].

---

[20] E.Lipper, *"Onze ans dans les bagnes soviétiques"*, Paris 1950. Элинор приехала в Советский Союз в 1937 году и была почти сразу же арестована. Она пробыла в заключении 11 лет в разных тюрьмах и лагерях Колымы.

[21] M.Buber Neumann, *"Under Two Dictators",* London, Dodd 1949, английский перевод *"Als Gefangene bei Stalin und Hitler",* s.l.. Rote Weisbucher 1949. Книга была переведена также на итальянский в 1994 году, Маргарет была женой Ганца Неймана, известного немецкого коммуниста, арестованного в СССР в 1937 году и затем погибшего.

[22] Ю.Марголин *«Путешествие в страну зе-ка», Нью Йорк, Изд. им. Чехова 1952.* Автор жил в Палестине и в 1939 году совершил путешествие в Польшу, где был арестован советскими властями и отправлен на север возле Онежского озера, затем в лагерь в Алтайском крае. Был освобожден только в 1946 году.

[23] A.Weissberg, *"Conspiracy of Silence"* , London, H.Hamilton 1952 – австрийский ученый, эмигрировавший в 1931 году, Вайсберг был арестован как сторонник Бухарина и заключен в тюрьму в Харькове на три года, затем был освобожден и передан немцам в 1940 году.

[24] V. Gonzalez, *"La vie et la mort en URSS, 1939-1949",*Paris ,Plon 1950. Книга переиздавалась много раз также и на других языках. О судьбе испанцев в советской стране смотрите также R.H.Moreno, *"Rusia al desnudo.Revelaciones del Comisario Comunista Espanol Rafael Pelayo de Hungria, commandante del Ejercito Ruso",* Madrid, Actualidad mundial, 1956. Бежавший в СССР после 1939 года Пелайо де Хунгриа был в советском лагере до 1954 года.

[25] Протоколы допросов Уго Читтерио были опубликованы в цитировавшейся книге *Reflections on the Gulag,* pp.479-498. О судьбах итальянских участников испанской гражданской войны, бежавших в СССР и заключенных затем в советские лагеря см. E.Dundovich, *"Dall'URSS alle Brigate Internazionali, Ugo Citterio e i sogni di una generazione",* in "Spagna Contemporanea", n.23, готовится к печати. В 1952 году вышла также известная книга Густава Герлинга – Грудзинского G. Herling-Grudzinski, *"A World apart",* New York, Roy Publishers, о ней будет говориться в одном из докладов.

ПОСЛЕ СЕКРЕТНОГО ДОКЛАДА ХРУЩЕВА

Подлинное изобилие произведений, свидетельствовавших о советской концентрационной системе, было в 1953 – 1956[26] годах, в эти три года, последовавшие за смертью Сталина, лагеря начали демонтировать. Освобождение узников и их возвращение на родину дало новые свидетельства немцев[27], французов[28], норвежцев[29], датчан[30], чехов[31], финнов[32], венгров[33], израилтян[34] и людей других национальностей[35].

---

[26] Об истории лагерей в начале пятидесятых годов и об экономических и политических причинах их закрытия см. Marta Craveri, *"La resistenza nel Gulag",* Soveria Mannelli, Rubettino 2003

[27] Claudius W. *"A Soviet Isolator",* Oxford, St. Antony's Colege, 1956. Немец Клаудиус был арестован в 1950 году как шпион и амнистирован в 1955 году. G.Fittkau, *"My thirty-third year: a priest's experience in a Russian work kamp",* New York 1958, S. Leonhard, *"Gesthohlenes Leben. Schicksal einer politischen Emigrantin in der Sowjetunion",* Frankfurt a M. Europaische Verlag 1956, немецкий коммунист, эмигрировавший в СССР в 1935 году, был арестован в 1936 и провел 12 лет в тюрьмах Москвы, лагерях Воркуты и ссылке в Алтайском крае. Был освобожден в 1948 году. A.Von Junken, *"Was die Hunde heulen: die Sowjetische Wirklichkeit von unten betrachtet",* Stuttgart Deutsche Verlag sanstalt 1958. Протестантский священник в ГДР был обвинен в развращении молодежи и заключен в Воркуту, где пробыл с 1950 по 1955 год. J.Scholmer, *La grève de Vorkuta,* Paris, Amiot-Dumont 1954 – арестованный как шпион в ГДР был отправлен в лагер Воркута, где принял участие в восстании 1953 года. W.Starlinger, *Limites de la puissance sovietique,* Paris, Editions Spes 1956 – врач, пробыл в заключении в Сибири с 1947 по 1954 год.

[28] E.Caubet, *Rescapé,* Paris, Del Duca 1958. Де Сантер, *Советские послевоенные концлагери и их обитатели,* Мюнхен 1960 – русско-французский артист был репатриирован в Советский Союз в 1945 году и содержался в разных лагерях в течение 12 лет, A.Sentaurens, *Dix-sept ans dans les camps soviétiques,* приехав вместе с мужем в СССР в 1930 была арестована в 1937 и освобождена в 1956 году.

[29] O.Larsen, *Nightmare jf the Innocents,* Ljndon, Melrose 1955. Норвежский рыбак Ларсен бежал в СССР в 1940 году, но был арестован в Мурманске и отправлен назад в Норвегию. Вернулся в СССР после войны, был снова арестован и на этот раз осужден на 10 лет лагерей. Освобожден в 1954 году.

[30] A. Thomsen, *In the Name jf Humanity,* London, Longmans 1963 - датский врач Красного Креста, в то время как он помогал жертвам нацизма, был арестован в 1946 году и отправлен в Воркуту, где оставался до 1954 года. В книгу включен дневник его жены литовки, тоже заключенной в Воркуте.

[31] F. Polak, *Jak zili a umirali sovetsti otroci,* New York , Polok 1960 – чешский офицер был арестован в 1942 и заключен в Унзлаг, где пробыл до 1945 года.

[32] T. Flinkman, *Neliasti karkuteilla. Muistelmia 22 vuoden vankeusaialta Neuvostoliitossa,* Helnsinki, Tammi 1957. Автор, эмигрировавший в СССР, провел 22 года в советских тюрьмах и лагерях, из которых много раз пытался бежать, A.Lehmus_ *Suomalaiset kommunistit itakarialasa,* Tampere, Hameen kiriapaino 1958 – финский коммунист

В Италии в те годы были опубликованы в частности воспоминания двух священников, приехавших в СССР как военные капелланы Армира, то есть итальянской армии , сражавшейся на Дону зимой 1942 и 1943 годов: отца Джованни Бреви[36], который был, кстати говоря, одним из последних итальянцев, репатриированных в Италию после второй мировой войны[37], и отца Пьетро Леони[38]. Этот последний, вернувшись в

отправился в Россию после революции 1917 года и завербовался в Красную Армию, в которой служил в 20-ых годах. Был арестован в Ленинграде в 1933 году, заключен в разные лагеря и после многих приключений сумел бежать в Финляндию, U.Parvilahti, *Beria's Garden. A 10 Years' Captivity in Russia and Siberia,* London, Hutchinson 1959. Автор был офицером связи между финской и советской армией, схвачен в 1945 году и заключен во Владимирскую тюрьму, а затем в лагеря Темлаг и Дудинка. Освобожден в 1954 году.

[33] R. Rupert, *A Hidden World, Cleveland,* World Publ. 1963 – венгерский адвокат , обвиненный в шпионаже в пользу Англии, провел девять лет в венгерских тюрьмах и в советских лагерях, J. Lengyel, *Le Pain Amer,* Paris, Denoel 1966 – венгр, приехал в СССР вместе с Бела Кун, арестован в 1937, отправлен в Сибирь, где пробыл до 1954 года.

[34] S. Shabath, *Be mahanot ha-tsafon,* Jerusalem 1959

[35] B. Armona, *Leave your Tears in Moscow,* Philadelphia and New York 1961. Барбара была латышкой, в 1929 году вышла замуж за американца, была депортирована в1948 и освобождена только в 1960, после визита Хрущева в Соединенные Штаты, W. J. Ciszek, *With God in Russia,* New York, McGraw Hill 1964. Цичек был американским священником, приехавшим нелегально в СССР в 1939 году, был арестован по подозрению в шпионаже. Провел пять лет в советских тюрьмах и десять лет в Норильском лагере. Был обменян в 1963 году, G. Lias, *I survived,* London, Evans 1954. Ливас австриец был заключен в СССР , большую часть времени в Казахстане, с 1934 по 1945 год. D.Nimigeanu, *Inseminarile unui taran deportat din Bucovina,* Paris Fundatia regala universitaria Carol I, 1958. Автор был крестьянином в Буковине, депортирован в СССР после 1944 года. J.H.Noble, *I was a slave in Russia: an American tells his history, New York, The Devin Adair Company 1958* – американец, арестованный в Дрездене в 1945 году, был отправлен в лагерь Воркута, где принял участие в восстании заключенных в 1953 году.W.E.B. Piddington, *Russian Frenzy,* London, Elete Book 1955. P.Povysil, *Tote, die Atmen,* Hannover, A.Spouholtz 1956. Повысил был арестован в Вене в 1948 году, осужденный на 25 лет лагерей был отправлен в Воркуту, после 1952 года был заключен в Верхнеуральскую тюрьму. Вернулся в Австрию в 1953 году. N. Prykhodko, *One of the fifteen million,* Boston, Little, Brown 1952 – украинец, побывавший в сибирских лагерях с 1938 по 1941 год.

[36] *"Russia, 1942-1953",* Milano, Garzanti 1955

[37] О судьбе итальянских военнопленных в Советском Союзе и о лагерях для военнопленных, которые часто совмещали с уже существовавшими лагерями, см. Maria Tersa Giusti,*I prigionieri italiani in Russia,* Bologna, Il Mulino 2003. О последних репатриациях итальянских военнопленных см. F. Bigazzi, E.Zirnov, *Gli ultimi 28,* Milano, Mondadori 2002

[38] *Spia del Vaticano",* Roma, Edizioni Cinque Lune 1959. В начале семидесятых годов во Франции вышли также воспоминания другого капеллана Армира, иезуита Аладжани: P. Alagiani, *Ni la mort ni la vie,* Paris, Téqui 1973 - был взят в плен в 1942 году во время разгрома на Дону и заключен в Суздальский лагерь.

Италию после поражения итальянской армии в 1942 году, вернулся снова в Советский Союз в следующем году в качестве приходского священника одесской католической общины. Арестованный в 1945 году за контрреволюционную деятельность, был осужден на 10 лет принудительных работ и отправлен в Темниковский лагерь в Мордвинской республике, где по обвинению в организации восстания заключенных был снова приговорен к 25 годам принудительных работ, которые однако не отбыл, так как был освобожден в 1955 году. Эти две книги отца Бреви и отца Леони были первыми свидетельствами итальянцев , узнавших на личном опыте советские лагеря.

Это изобилие мемуаров продолжалось и в семидесятые годы, хотя число таких публикаций становилось все меньше с течением времени[39]. Свидетели умирали, воспоминания бледнели, а желание возвращаться памятью в столь болезненное прошлое слабело. Лагеря были уже закрыты, за исключением тех, в которых были заключены диссиденты брежневской эпохи. Публикацией «*Архипелага ГУЛаг»* в 1973 году кампания обвинений против советской концентрационной системы достигла своего апогея и в некотором смысле не оставляла больше места для других свидетельств, за редким исключением[40] .

---

[39] E. Ginzburg, *La vertigine,* Milano, Mondadori 1967 – Арестованная в 1937 году Гинзбург была освобождена в 1953, побывав в лагерях Колымы, Владивостока и Магадана. Y.A.Gilbon, *Confess! Confess! Eight Years in Soviet Prisons,* Boston- Toronto, Little Brown & Co. 1968 – еврей, арестованный в Польше в 1940 году, провел семь лет в советских тюрьмах и лагерях- J. Berger, *The Shipwreck of a Generation,* London, Hartville 1971 – молодой секретарь палистинской коммунистической партии отправился в поездку в СССР в 1935 и был арестован, пробыл в заключении до 1951 года. Реабилитированный в 1956 году переехал в Польшу, а затем в Израиль. M. Solomon, *Magadan,* Princeton, New York 1971 – румынский еврей был арестован в 1948 году и провел восемь лет в лагерях Магаданской области. A. Kuusinene, *Der Gott sturzt seine Engel. Hrsg. Und eingel. Von Wolfgang Leonhard,* Wien, F. Holden 1972 – жена Отто Куусинена, коминтерновского лидера, Айно была арестована в 1938 и отправлена в Воркуту. Освобожденная в 1945 году, была снова арестована в 1949 году и заключена в Мордовский лагерь, где провела пять лет. Has. Z. Lavi, *Moscova nu crede in lacrimi,* Ierusalim, the author 1972 - воспоминания бессарабского еврея, депортированного в СССР. G. von Meck, *As I remember them,* London, D. Dobson 1972 – автор провела три года в Новосибирском , Мариинском и Боровлянском лагерях с 1931 по 1934 год. K. Stajner, *7000 dana u Sibiru,* Zagreb, Globus 1973 - югославский коммунист, член коминтерна, был арестован в 1936 и оставался в заключении двадцать лет.

[40] A. Dolgun, *Alexander Dolgun's Story: an American in the Gulag,* New York, Knopf 1975 – приехавший со своей семьей в СССР в 1933 году, нашел работу в Американском посольстве в 1948 году, но был арестован. Освобожденный в 1956 смог вернуться в Соединенные Штаты только в 1971. H. Celmina, *Women in the Gulag and in the Soviet Prisons,* New York, Paragon 1975 - литовка, была в заключении с 1962 по 1966 год, сначала в Риге, а затем в лагере 17 Казанской области. E.Buca, *Vorkuta,* London, Constable 1976 – участник польского сопротивления был арестован советскими властями

Понадобилось дожить до эпохи перестройки, чтобы разрушить это впечатление и понять, что еще о многом надо рассказать. И особенно в Советском Союзе после 1985 года начали много писать о Гулаге, тогда как на Западе, после изобилия пятидесятых годов, воспоминания бывших заключенных советских лагерей стали не многочислены[41]. Среди этих последних особое место занимают , благодаря необычайности автора и его свидетельства, воспоминания Жака Росси, о котором уже говорилось в одном из докладов этого конгресса[42].

«ПРАВЕДНИКИ» В ИТАЛИИ

и отправлен на 13 лет в Воркуту. Был репатриирован в Польшу в 1958 году. A. Kanas, *Kanas,* Paris, Balland 1976 – греческий коммунист, приговоренный сначала к трем годам, а затем к 10 годам принудительных работ. O. Himilainen, *Vieras isanmaa: inkerilainen kohtalontie,* Javaskula, K.J. Gummerus Osakeyhtion kiriapainossa 1981 – финн, проведший 10 лет в лагерях и в ссылке. Вступивший в армию во время второй мировой войны был взят в плен немцами и эвакуирован в Финляндию, откуда переехал в Швецию. J. Cathala, *Sans fleur ni fusil,* Paris, A. Michel 1982 – член французской делегации в эстонии был арестован в 1939 году и пробыл в разных лагерях до 1942 года. P. Valat, *Les sentiers de la nuit,* Paris, J.C. Lattes 1983 - автор бежал из Сталага в Германии и поехал в Литву, где был арестован советскими властями и отправлен в Мичуринский лагерь. Освободившись, примкнул к движению «Свободная Франция» в Лондоне.

[41] G. Csikos, *Katorga: un Européen dans les camps de la mort soviétique. Récit,* Paris, Seuil 1986 – молодой венгр помог немцам бежать в Австрию после войны. Был арестован в 1949 и приговорен к 25 годам, которые отбыл в Норильске. Освобожденный в 1957 году был реабилитирован в 1964. L.Agrest, *Drugi brzeg Oki,* Warzawa, Neutrino 1988 – участник Армии Крайова был арестован в 1944 году и был в разных лагерях до 1956 года. S. Rosenberg, *A Soviet Odyssey,* New York – Toronto, Oxford U.P. 1988, P. Bordihn, *Bittere Jahre am Polarkreis als Sozialdemokrat in Stalins Lagern,* Berlin, Link Drusk 1990 – немецкий социал-демократ работал в ГДР, где был арестован в 1948 и приговорен к 10 годам принудительных работ, большую часть которых провел в Воркуте. Был освобожден в 1953. B.Popov, *Ot protsesa na Laiptsig do lagerite v Sibir,* Sofia, Khristo Botev 1991 – болгарский коммунист, один из подсудимых на Лейпцигском процессе, в СССР был в заключении с 1939 по 1946 год. G. Z. Bien, *Elveszett evek: egu magiar diak raboskodasa a Gulag keletsziberial lagereiben: Kolima 1945-1955,* Budapest, Puski 2000 - венгр, арестован вместе с отцом в Будапеште в 1945 году был отправлен на Колыму, где пробыл до 1955. W. Krasniewska Barbara Skarga, *Une absurde cruauté: Témoignage d'une femme au Goulag,* Paris 2000 - участница Армии Крайова была арестована и отправлена в Норильск в конце войны, где пробыла до 1956 года.

[42] *"The Gulag handbook: an encyclopedic ductionary",* New York 1989, но первое издание этой книги вышло по- русски *«Справочник по ГУЛагу – Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом»,* Pre. A. Bezansona, London, Overseas Publications Interchange 1987, за ним последовало второе издание в Москве в 1991 году, *"Fragmentes de vie"*, avec la collaboration de Sophie Benech, Paris, Elikia 1995, *"Qu'elle était belle cette utopie! Chroniques du Gulag",* avec la collaboration de Sophie Benech, Paris, Le Cherche Midi 2000.

В Италии произведения, говорящие о Гулаге, не многочисленны, и по сравнению с той тенденцией, которую мы до сих пор проследили, наблюдается контртенденция в противоположном направлении: большинство воспоминаний здесь появилось как раз начиная с семидесятых годов.

История итальянской эмиграции в Советском Союзе и репрессий против нее, начиная с двадцатых годов и до второй мировой войны, оставалась долгое время не известной. В шестидесятых годах эта тема была затронута впервые[43], но нужно было ждать еще почти десять лет, прежде чем Данте Корнели, один из немногих итальянцев, выживших в советских лагерях, вернувшись в Италию, начал рассказывать свою историю и историю многих других итальянцев, исчезнувших в Советском Союзе[44].

---

[43] Теме итальянских жертв сталинизма были посвящены в 1961 году три выпуска "Settimana Incom Illustrata" (обзор был опубликован Серра и содержал статьи*: "Si apre il processo a Togliatti: parlano le vittime del terrore stalinista",* XIV, n. 45, 12 novembre 1961; *"Le 'confessioni' degli innocenti strappate con la tortura nel carcere della Lubianka",* XIV, n. 46, pp.14-17, *"Una lagnanza perché il cibo era scarso bastava per provocare la deportazione",* XIV, n. 47, pp. 48 – 53; а три года спустя появились первые две книги Guelfo Zaccaria *"200 comunisti italiani vittime dello stalinismo"* ,Milano 1964 и Renato Mieli, *"Togliatti 1937",* Milano, Rizzoli 1964. В середине семидесятых годов появились в журнале "Il Ponte" краткие биографии Римола , Пелузо, Гецци, Росси и Баккала, написанные Альфонсо Леонетти (*Italiani vittime dello stalinismo in URSS,* 2 – 3, 1976). Кроме того, через несколько лет, в 1985 году, Марчелло Браччини начал публиковать, вместе с другими сотрудниками и среди них Роберто Гремmo, журнал «Скотский хуторок» ("La Fattoria degli Animali") с участием Данте Корнели, Нелла Мазутти, вдовы Эмилио Гварнаскелли, Марио Гварнаскелли (брата Эмилио), Пиа Пиччони, вдовы Винченцо Баккала и Владимира Бертаццони. Журнал выходит еще и сегодня и его можно найти в Институте Сальвемини в Турине и в Миланском Фонде Фельтринелли.

[44] О своем опыте в Советском Союзе Корнели написал много, среди прочего: D.Corneli, *"50 anni in URSS",* Tivoli, edito in proprio 1975; *"Stalin visto da una sua vittima italiana",* Tivoli; edito in proprio, 1975, *"L'annientamento della guardia bolscevica",* Tivoli, edito inproprio 1975, *"Vorkuta, un mondo esecrato da Dio e dagli uomini",* Tivoli, edito in proprio, 1975, *"Amare verità sulla guerra civile di Spagna",* Tivoli, edito in proprio 1979, *"Il dramma dell'emigrazione italiana in Unione Sovietica",* Tivoli, edito in proprio 1980, *"Due lettere aperte del 'Redivivo tiburtino'",* Tivoli, edito in proprio 1973, *"Elenco delle vittime italiane dello stalinismo (dalla lettera A alla L),* Tivoli, edito in proprio 1981, *" Elenco delle vittime italiane dello stalinismo (dalla lettera M alla Z)",* Tivoli, edito in proprio 1982, *"Rappresentanti del Comintern, dirigenti e funzionari. Persecutori e vittime" ,* Tivoli, edito in proprio 1979, *"Il Redivivo tiburtino",* Milano, La Pietra, 1977 и новое издание *"Il Redivivo tiburtino. Un operaio italiano nei lager di Stalin"* con introduzione di Antonio Carioti, Firenze, Liberal Libri 2000, *"Lo stalinismo in Italia e nell'emigrazione antifascista",* Tivoli, edito in proprio, *"Vivere in URSS (1922 – 1970). Frammenti e ricordi",* Tivoli, edito in proprio 1989.

В последние десять лет[45] эта тема была впервые разработана на основе источников из бывших советских архивов[46]: благодаря имеющейся на сегодняшний день документации стало возможным дать имя 1028 итальянцам, перенесшим в разных формах репрессии[47] в Советском Союзе[48].

Среди этих 1028 итальянцев были таже, кроме Данте Корнели, Леонардо Дамиано[49], Томмазо Сговио[50], Серджо Де Мартино и Надзарено

---

[45] Книга R.Caccavale, *Comunisti italiani in Unione Sovietica",* Milano, Mursia 1995 хотя и основана не на источниках из советских архивов, а на тщательном исследовании итальянских документов и итальянской печати, но в ней были собраны впервые, хотя и не в полном виде, биографии многих итальянских антифашистов.

[46] F. Bigazzi e G. Lehner, *Dialoghi del Terrore,* Firenze, Ponte alle Grazie 1991, E.Dundovich, *Tra esilio e castigo. Il Komintern, il PCI e la repressione degli antifascisti italiani in URSS (1936- 1938),* Roma, Carocci 1998, G.Lehner, F.Bigazzi, *La tragedia dei comunisti italiani. Le vittime del PCI in Unione Sovietica,* Milano, Mondadori 2000.

[47] Утрата гражданских прав, заключение в тюрьму, депортация, ссылка, приговор к долгим срокам заключения в лагере, расстрел.

[48] Имена и биографии 1028 итальянцев приведены в книге *Reflections on the Gulag,* op. cit. pp. 325 – 470. Их можно найти также на интернетовском сайте www.gulag-italia.it. Общий обзор истории итальянской общины в СССР с 1917 по 1956 год также в статье, содержащейся в вышеназванной книге E. Dundovich, F. Gori ed E. Guercetti, *Italian emigration in the USSR: History jf a Repression,* pp.139 – 186. Из 1028 приведенных имен около 500 принадлежат членам итальянской общины в Керчи (Крым), они были депортированы в 1942 году в Казахстан. Остальные в большей части политические антифашистские эмигранты, чаще коммунисты, приехавшие в СССР в период с двадцатых годов до первой половины тридцатых годов, так как преследовались режимом Муссолини. Из них 120 было расстреляно, 128 умерли в советских тюрьмах и лагерях.

[49] L. Damiano, *Memorie,* неизданная рукопись в Фонде Института Грамши в Риме. Леонардо Дамиано умер в Москве в 2002 году, он был последним итальянцем, пережившим сталинские лагеря. Он приехал в СССР в 1933 году и поселился в Горьком, где работал механиком на автомобильном заводе им. Молотова. Здесь он был арестован 22 апреля 1938 года и через семь месяцев приговорен к восьми годам лагеря. В 1939 году приговор был отменен и он был освобожден 14 января 1940 года. Несмотря на многочисленные запросы, направленные в Итальянскую Коммунистическую Партию с тем, чтобы ее руководители помогли ему вернуться в Италию, ничего не было сделано, см. E.Dundovich, F. Gori, E. Guercetti, *Reflections on the Gulag,* pp. 363 – 364.

[50] T. Sgovio, *Dear America! The Odissey of an American Communist Youth who miraculously survived the harsh labor camps of Kolyma,* New York, Kenmore, Partner's Press 1979. Томмазо Сговио родился в Соединенных Штатах в 1916 году, сын американских эмигрантов. В 1935 году вся семья эмигрирует в Советский Союз и поселяется в Москве. Отца Томмазо, Джузеппе, арестовывают в 1937 году и приговаривают к пяти годам лагеря, срок затем был удвоен. Томмазо арестован 21 марта 1938, после выхода из американского посольства, куда он ходит уже несколько раз, чтобы вновь получить американское гражданство и вернуться в Соединенные Штаты. В мае того же года он приговорен к пяти годам принудительных работ и отправлен в Северо-Восточный лагерь, в Бухте Нагаева. Срок наказания сначала продлен до 1946 года, затем после двух лет свободы, в 1948 году он осужден повторно на вечную ссылку в Красноярском крае.

Скариоли[51]: их истории не обыкновенны, как потому что они были из немногих, чудом выживших в концентрационном аду, так и потому что они были единственными, кто оставил об этом аде свидетельства в своих книгах (также как Эмилио Гварнаскелли в своих письмах из заключения брату Марио, только он, Эмилио, был расстрелян 28 апреля 1938 года, о нем будет подробно говориться в другом докладе). Все эти люди отличаются высоким моральным обликом и никогда не склонялись к компромиссам, отличаются также твердой волей рассказать правду, даже ценой признания о том разочаровании, которое принесла им вера в идеалы, столь печально преданные.

Среди всех этих людей, мне кажется, особо выделяется Данте Корнели багодаря богатству своих свидетельств, простоте и чистоте чувства, с которыми он возвращает нам память о стольких забытых итальянцах. Он вернулся в Италию в 1970 году после двадцати лет лагеря и ссылки в Советском Союзе и более других боролся, со своими слабыми средствами, но с несгибаемой волей, против той круговой поруки и молчания, которыми была окружена история итальянской эмиграции в Советском Союзе. В книге «Тибуртинский воскресший» Корнели рассказывает о долгих годах, проведенных в лагерях Воркуты и в сибирской ссылке. Кроме того, он приложил все свои силы к тому, чтобы вернуть из забвения лица и имена многих итальянских товарищей, которые остались в Советском Союзе и которые никогда уже не смогут вернуться в Италию. Он встречался с родственниками жертв и с немногими выжившими, провел исследования в Центральном Государственном Архиве, старательно рылся в своей памяти. Но немногие хотели слышать эту слишком неудобную правду. Он публиковал свои книги, которые сам он в свободной и демократической Италии семидесятых годов называл с горечью *самиздатом,* публиковал

Окончательно освободился в 1954 году, в 1960 году ему удается поехать в Италию вместе с матерью и оттуда он возвращается в Соединенные Штаты. Его лагерные рисунки хранятся в Гуверовском Институте, ivi, pp. 458 – 459.

[51] Надзарено Скариоли оставил свое свидетельство в интервью, данном в 1960 году итальянскому телевидению за несколько месяцев до смерти. В этом интервью, которое РАИ - 3 вновь передал в сентябре 2002 года в рамках серии «Большая История», в передаче целиком посвященной теме итальянцев, репрессированных в Советском Союзе, Скариоли не только вспоминает годы, проведенные в лагере, но также и остракизм и то презрение, с которым он был встречен по возвращении на родину, в Дженцано, односельчанами коммунистами, которые не хотели слышать критику или горькую правду о Советском Союзе. Надзарено Скариоли приехал в СССР в 1925 году, первый раз был приговорен в 1937 году к пяти годам лагеря за контрреволюционную деятельность. Срок был затем продлен еще на пять лет. После этих десяти лет заключения он был сослан в Горьковскую область, но в ноябре 1950 года был снова арестован и приговорен к ссылке в Красноярск на основе прежних обвинений 1937 года. Окончательно освобожден в 1954 году, вернулся в Италию в 1960 году, ivi, p. 454.

их за свой счет, потому что ни одно издательство в то время не пожелало обратить на них внимание. Только книга «Тибуртинский воскресший» встретила благосклонность необычного издателя коммуниста, Ла Пьетра, который однако глубоко извратил смысл книги в заметке, помещенной на четвертой странице обложки и совершенно искажавшей намерения автора.

Правда, которую рассказывал Корнели переворачивала, перефразируя Грамши, догмы и убеждения, укоренившиеся в Италии, и была многим не удобна. Так же как и его последовательность, которой он никогда не изменял, даже вернувшись в Италию и очутившись в одиночестве, снова преданный теми товарищами коммунистами, которые даже через столько лет все еще хотели похоронить в забвении судьбы, подобные его судьбе. Умберто Терначини откровенно предложил ему забыть прошлое, чтобы быть принятым снова в партию. Но и на этот компромисс Данте Корнели тоже не пошел.

Среди этих 1028 итальянцев были также Винченцо Баккала и Джино Де Марки. Винченцо был расстрелян в Одессе в ночь с 28 на 29 ноября 1937 года. Джино был расстрелян на Бутовском полигоне , под Москвой, 3 июня 1938 года. Для них никогда не придет время рассказать. Память о них сохранилась благодаря их родным, которые в течение многих лет продолжали напрасно ждать их, так как советские власти не говорили им правду. В частности Пиа Пиччони, жена Винченцо Баккала, написала в 1989 году книгу под названием «Товарищ молчание»[52], в которой рассказывает о своей жизни в Советском Союзе с мужем и с тремя дочерьми, о своем возвращении в Италию после ареста Винченцо, о двойной вине руководителей Итальянской Коммунистической Партии и Тольятти: виновных, во-первых, в сотрудничестве с советской политической полицией во время чистки итальянской общины в СССР в тридцатые годы, и во-вторых, виновных в круговой поруке и заговоре молчания в послевоенные годы, когда они в течение долгого времени притворялись, что ничего не знают об этой истории[53].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я заканчиваю это мое выступление двумя вопросами, которые я намеренно оставила без ответа, одним личным замечанием и словами,

---

[52] “Compagno silenzio”, Milano, Leonardo 1989

[53] Джованна Де Марки, дочь Джино, осталась жить в Советском Союзе и стала известной актрисой. В течение многих лет, с момента ареста, когда она была еще девочкой, она ждала возвращения отца и узнала о том, что он расстрелян лишь когда была уже взрослой. С тех пор она делает многое, чтобы сохранить память о нем, также в сотрудничестве с Муниципалитетом Фоссано, где Де Марки родился.

которые принадлежат не мне. Первый вопрос: какие из этих историй образцовые и какие нет? Мне кажется, что трудно дать ответ на этот вопрос и именно поэтому я попыталась дать как можно больше сведений о всех тех, кто на Западе и в Италии рассказали о своем опыте в Гулаге, показав его ужасы. Второй вопрос: истории, которые мы рассказали, все правдивы? Мы не можем не сказать, из уважения к той строгости, которая делает историка таковым, что мемуары - это источник, характеризующийся присущими ему элементами неопределенности, эти элементы приносит ход времени и связанное с ним изменение памяти, желание рассказать, но также и искушение умолчать о неприятных сторонах правды.

Имея все это в виду, мне кажется, что сам тот факт , что люди, о которых мы вспомнили сегодня, нашли в себе мужество сохранить прежде всего в своей собственной памяти и затем передать нам истории неслыханного насилия, перенесенного ими в Гулаге, делает их «Праведниками» в самом широком смысле этого термина. Тем более, что эти свидетельства давались часто в атмосфере политического и культурного остракизма, в отношении неудобной правды, которую многие предпочитали отрицать или просто игнорировать, особенно в Италии.

И наконец я хочу завершить это выступление словами Серджо Де Мартино, последнего из итальянских праведников, разоблачавших Гулаг, о котором я еще не говорила, «неукротимого героя, защитника самых слабых товарищей, живого примера силы, твердости и человечности», как о нем сказал Джанкарло Ленер, журналист и историк, который вместе с Франческо Бигацци уже много лет исследует судьбу итальянцев в советской стране[54]. Серджо Де Мартино родился в Керчи в 1923 году от Паскуале и Анны, выходцев из провинции Бари. Италию он никогда не видел, но в 1942 году вместе со всей семьей и со всей итальянской общиной Керчи был депортирован в Казахстан за то ,что был итальянцем. Здесь в апреле 1943 года Серджо Де Мартино был арестован и приговорен к смертной казни, замененной впоследствии на десять лет принудительных работ. Он провел тринадцать лет своей молодости в депортации, лагере и ссылке. Освобожденный в 1956 году, остался жить в Советском Союзе, где в 1988 году, уже живя на пенсии в Краснодаре, начал писать дневник своей жизни. В 1992 году, незадолго до своей смерти, этот дневник под названием «Исповедь с расшитым ртом» Де Мартино подарил Магаданскому музею и он был лишь частично опубликован в России Мемориалом. В его исповеди мы читаем:

---

[54] G. Lehner con Francesco Bigazzi, *La tragedia dei comunisti italiani. Le vittime del PCI in Unione Sovietica,* Milano, Mondadori 2000, p. 51.

«На следующее утро меня повели к начальнику – в лагере его называют *кум* – который начал меня допрашивать (…). Я заявил, что ни за что не подпишу эти обвинения (…). Начальник стукает кулаком по столу и угрожает: «Я тебя заставлю говорить! (…)» Отправившись в изолятор, вижу Пашу Рубина (…) Я едва успеваю сказать ему на ухо, чтоб принес мне в камеру нитку с иголкой (…) Паша ответил, что попробует. И говорит мне, что слышал мой допрос, прибавив: «Они серьезно хотят обвинить тебя» (…) В тарелке с едой нахожу то, что просил: иголку с ниткой. Ночью, преодолев жуткую боль, я зашил себе рот, чтобы следователь не мог больше допрашивать меня, ибо я не буду в состоянии отвечать»[55]

(*Перевод Юрия Мальцева)*

[55] Ivi, p. 53 – 55.

Пьерлуиджи Баттиста
Pierluigi Battista
Гулаг в Италии борьба правды против "отрицательства"

Итальянские левые, коммунисты естественно, но и не только коммунисты (что должно бы быть менее естественно) систематически игнорировали и не признавали неприемлемость двух мер и двух весов при сравнительном анализе тоталитаризмов двадцатого века, уже намеченном, в печальном одиночестве, Гаетано Сальвемини в его речи, произнесенной в 1935 году в Париже во время «Международного Конгресса писателей в защиту культуры». Сальвемини, перед все более возмущавшейся аудиторией защитников советизма, сказал: «Я не чувствовал бы себя в праве протестовать против Гестапо и против фашистской Овра, если бы я старался забыть, что существует советская политическая полиция. В Германии есть концлагеря, в Италии острова-тюрьмы, а в Советской России есть Сибирь. Есть преследуемые немцы и итальянцы и есть преследуемые русские.» И он заключил: «Мне жаль, что я задел убеждения многих. Быть может, нужно пожить в тоталитарном государстве, не среди правящих, а среди тех, кто были раздавлены, нужно узнать моральную деградацию, к которой приводит тоталитарное государство не только интеллигенцию, но также и рабочих, чтобы понять ту ненависть и то презрение, которые любое тоталитарное государство, любая диктатура, вызывают в моей душе». Обвинения Сальвемини, видного представителя либерально – демократической антифашистской культуры, не произвели никакого эффекта на менталитет, распространенный в левой культуре. В Италии тоже утверждался тот идеологический порок, который уже Джордж Орвелл осуждал с его обычной интеллектуальной остротой, то есть, что «вина всех левых, начиная с 1933 года, в том, что они хотят быть антифашистами, не будучи в то же время анти-тоталитаристами». Впрочем, Орвелл, чьи произведения были строго запрещены в Советском Союзе и еще сегодня запрещены коммунистической диктатурой Фиделя Кастро, всегда был не любим интеллигентами, близкими к ИКП, если даже такой острый ум, как Итало Кальвино, в заметках, посланных антитоталитаристу Джено Пампалони, ликвидировал Орвелла как « второсортного писателишку» и даже как опасного субъекта для тех, «у кого нет прививки против самого грустного и самого избитого зла нашей эпохи: антикоммунизма». Очень вульгарные слова, хотя и не столь бесстыдно вульгарные как слова Тольятти, клеймившего Орвелла как «злого колониального полицейского», но которые все же показывают сколь мало

итальянская культура коммунистической окраски была расположена принять и признать обвинения в преступлениях, совершенных советским тоталитаризмом. Все еще сегодня распространен в историческом самооправдании итальянских коммунистов тот несостоятельный довод, согласно которому слишком мало было известно то, что происходило в коммунистическом Городе Солнца. Гаетано Сальвемини и Джордж Орвелл, которые не захотели загораживать глаза идеологическими предрассудками, о режиме «двойной правды» и неисправимой моральной «гемиплегии», которую Джордж Семпрун называл причиной слепоты перед ужасами, совершенными во имя Идеала, признаваемого замечательным, несмотря на ужасные исторические последствия им вызванные, знали просто напросто потому, что хотели знать. Интеллигенты коммунисты знали или, по крайней мере интуитивно угадывали, но не хотели знать. Или же о том, что знали, сочиняли претенциозные оправдывающие концептуальные построения. Еще сегодня, спустя много лет после падения берлинской стены и после впечатляющего переименования коммунистической партии, итальянские интеллектуалы не в состоянии принять смысл строго антитоталитарного призыва Сальвемини, антифашистского, потому что антикоммунистического, и антикоммунистического, потому что антифашистского, и произведения Сальвемини либо прочитываются лишь частично, либо значение их преуменьшается. Эрнесто Росси, представитель антифашизма, который не пошел на компромиссы с режимом Муссолини, тоже вел борьбу против ханжества той культуры, которая протестовала против любого ограничения свободы по эту сторону железного занавеса, но умалчивала радикальное отрицание свободы в странах коммунистического блока. В 1952 году он пылко критиковал на страницах «Мондо» тех интеллектуалов, которые не имеют ничего сказать об итальянской партии, «безоговорочно оправдывающей полное подавление свободы печати в странах по ту сторону железного занавеса и находящей замечательным, чудесным все то, что одобрено великим товарищем Сталиным…о партии, которая никогда не делала тайны из своего намерения установить, едва это будет возможно, также и в нашей стране тоталитарный режим по примеру и под руководством диктатуры пролетариата, существующей в СССР. Коммунисты защищают свободу печати только потому, что считают, что она не может быть отменена их противниками: они хотят отменить ее сами. Они используют те же слова, что и мы: мир, правосудие, свобода, демократия – только для того, чтобы удовлетворить наши глупые мелкобуржуазные предрассудки. Коммунист перед лицом интеллектуала не коммуниста это как тот белый человек,

который поблескивает ожерельями и пустыми коробками из-под сардин перед носом африканского вождя племени.» Излишне добавлять, что Росси был атакован коммунистами и назван закоренелым реакционером, именно он, страдавший в фашистской тюрьме в отличие от тех многих интеллектуалов, которые шли на компромиссы с режимом Муссолини и затем переходили от фашизма к коммунизму, крича о своих выдуманных антифашистских заслугах. И еще сегодня, судя по тем статьям, которые о нем появлялись, фигура Росси, последовательного и непримиримого борца за либеральный антитоталитаризм, не испытывавшего никакого комплекса неполноценности в отношении коммунистов, остается в тени. Как впрочем вызывают любопытство только у наиболее чувствительных и менее ортодоксальных представителей левой культуры также и произведения Никола Кьярамонте, безупречного антифашиста, участвовавшего в испанской войне на стороне демократии, и сурового критика «недобросовестности» коммунистических интеллигентов, готовых прикрыть гадости их идеальной модели и вынужденных поэтому постоянно жить в условиях «неправды», двойственности, «двойной правды» и ханжества. То есть в конечном счете «недобросовестности».

Естественно, что конкретные обвинения коммунистической концентрационной системы были встречены полным молчанием и безразличием, лишь иногда прерываемым атаками неслыханной свирепости против лиц, свидетельствовавших о преступлениях тоталитаризма, о полицейском всесилии и о системе уничтожения и заключения, задуманной Лениным и доведенной до апокалипсического совершенства в сталинскую ночь. Имя Кравченко, выбравшего свободу Запада, чтобы бежать от коммунистического гнета, было узнано благодаря отличному издательству Лео Лонганези, заклейменному не более не менее как профашистское и правое. Во Франции за судебным процессом против Кравченко, начатым интеллигентами «отрицателями» из рядов ФКП, следила со страстью и с детальной документированностью Нина Берберова. В Италии этот процесс был замолчен. Но этот заговор молчания объясняли как свидетельство жестокой эпохи, когда интеллектуалы коммунистического толка воспринимали как должное тольяттиевские поношения Райка в Венгрии и Сланского в Чехословакии, уничтоженных после обвинений мрачно напоминающих атмосферу романа «Тьма в полдень» Артура Кестлера. Или как симптом культурной атмосферы, во время которой раздавались очень слабые возражения против кампаний очернения «ренегатов», отвернувшихся от «обанкротившегося бога», таких как Иньяцио Силоне и всех заочно

казненных «бывших», начиная с Андре Жида, которые разоблачали мерзости советской системы и которые за это были подвергнуты оскорбительным обвинениям, как отступники от Святого Дела, не допускавшего правды, отклонений и еретических интерпретаций. Слишком известна, к сожалению, судьба таких произведений как «Отдельный мир» Густава Герлинга, сотрудничавшего с Силоне и Кьяромонте в создании такого изумительного журнала как «Темпо Презенте». Или таких, как рассказы Варлама Шаламова, полная версия которых получила известность в Италии лишь с большим опозданием. Не говоря уже об отвлекающих дымовых завесах и сговорах молчания, которым в середине семидесятых годов подвергались произведения Солженицина, объекта атак и оскорбительной клеветы, вызвавшей негодование даже у такого представителя левой культуры, впрочем еретической и не правоверной, как Франко Фортини, сожалевшего о той «нетерпимости» и «презрении», которым подвергался автор «Архипелага Гулаг» и о котором даже распространяли клеветнические, никогда не подтвержденные слухи о его якобы существовавших связях с Чили Пиноше. И в середине тех же семидесятых годов Конгресс, проходивший в рамках Венецианской Биеннале и посвященный диссиденству в странах Восточной Европы, бойкотировался официальной левой, о действиях которой с большим полемическим пылом и с большой точностью рассказал Карло Рипа ди Меана, организатор и вдохновитель того Конгресса, он рассказал даже о том, как авторитетные представители венецианских официальных учреждений, начиная с архитектора Витторио Греготти, угрожали отставкой, если город Венеция будет осквернен и запачкан присутствием таких жертв коммунистической системы как Иосиф Бродский.

Замалчивания и преуменьшения значения имели место также и в отношении других коммунистических режимов, иногда не согласных с коммунизмом чисто московского образца. Коллективное очарование маоистской Культурной Революцией сопровождалось восхвалением любых форм репрессий, представлявшихся в подслащенном виде как «перевоспитание» без всяких упоминаний о жестокой системе китайского Гулага, о «лаогай», где умирали тысячи и тысячи просто «подозреваемых» или интеллигентов, поносимых и ликвидированных как «буржуазные интеллигенты» только потому, что они не были совершенно чужды соблазнам декадентской империалистической культуры Запада. Левый судья Франческо Мизиани рассказал, как он и многие его коллеги, принадлежавшие к крайним левым течениям политизированной магистратуры, на рубеже шестидесятых и семидесятых годов с удовольствием присутствовали на показательных

коллективных процессах, которые проходили на стадионах в Пекине и в Шанхае и на которых обвиняемых неизбежно убивали от имени «революционного пролетарского правосудия». И даже много лет спустя после этой кровавой бани такой талантливый и почитаемый режиссер как Бернардо Бертолуччи в фильме «Последний император» предложил нам смехотворно подслащенную версию системы «перевоспитания» в маоистском Китае. И оставаясь в области кино, вспомним о том различном приеме, который был оказан двум политически заостренным фильмам одного и того же режиссера Коста Гаврас: один фильм – это «Оргия власти» о фашистской диктатуре греческих полковников и потому демонстрировавшийся во всех залах и обсуждавшийся на дискуссиях, другой – «Признание» о процессах-фарсах (не лишенных антисемитских нот, замаскированных громкими «антисионистскими» лозунгами) в сталинской Чехословакии, с участием бывшего коммуниста актера Ива Мотана. И если уж говорить о враждебном приеме, оказанном диссидентам из коммунистических стран, нельзя умолчать о той изоляции, на которую обрекала ИКП, даже еврокоммунистическая, таких людей как Иржи Пеликан, как это недавно с большой интеллектуальной честностью признал сам Джорджо Наполитано. Одним словом, создается впечатление, что хотя исторические эпохи менялись и проходили десятилетия, внимание итальянских деятелей культуры к реальности репрессивных систем коммунистического толка, таких как полицейский и тиранический режим Кастро на Кубе, все еще и сегодня не способных вызвать негодование, оставалось слабым или вовсе отсутствующим и более всего определялось атмосферой запугивания и подозрительности в отношении культуры демократического антикоммунизма. Даже недавние положительные изменения такие, как внимание посткоммунистической печати к судьбе Бубер – Нейманн, перешедшей из коммунистического Гулага в нацистский лагерь, хотя и говорят о большей чувствительности к судьбе жертв коммунистического тоталитаризма (очень запоздалой: должна была пасть берлинская стена, чтобы позволили узнать в Италии такое фундаментальное произведение, написанное много десятилетий назад, как «Узница Сталина и Гитлера») тем не менее не изменяют, к сожалению, впечатления, что вчерашние умолчания заменены сегодняшним забвением, которое не хочет помнить самые постыдные страницы той культуры, которая не хотела и не смогла смотреть в лицо реальности, чтобы спати чистоту Догмы, предпочитая, как сказал с сожалением Ф. Фортини, «свои надежды правде».

(Перевод Юрия Мальцева)

Франческо М. Каталуччо
Francesco M. Cataluccio
Густав Герлинг – жертва и истолкователь Гулага

В сентябре 1939 года молодой студент литературного факультета Гусав Герлинг был среди организаторов, в Варшаве, одной из первых групп сопротивления немцам: Польского Народного Движения за Независимость, которое в конце октября даже опубликовало два номера подпольного бюллетеня («Biuletyn Polski»). Перейдя в ту часть Польши, которая 17 сентября была оккупирована советскими войсками, Герлинг обосновался сначала во Львове, а затем в Гродно, где была немедленно начата «советизация», проводившаяся Красной Армией и НКВД, и многие польские интеллигенты с энтузиазмом начинали служить «родине пролетариата». Герлинг жил некоторое время с безработным факиром, который оказался ему очень полезен: он мог, багодаря своей привычке ходить по горячим углям, выстаивать часами в очередях на морозе за хлебом. «Жизнь каждый день давала мне доказательства того, что даже в центре урагана есть пункты, где ярость стихии некоторое время не чувствуется», - вспоминает Герлинг[1].

В марте 1940 года, разыскиваемый советской тайной полицией, он пытался перейти в Литву, чтобы уехать во Францию или в Англию. Но по чьему-то доносу он был арестован и заключен в Витебскую тюрьму в Белоруссии. Во время допросов он сказал, что как и многие его сверстники, хотел бы идти сражаться с немцами. «Разве вы не знаете, - сказали ему, - что Советский Союз подписал договор о дружбе с Германией?»[2]. Он был осужден на пять лет и отправлен через Ленинград в трудовой лагерь Ерцево, который входил в лагерный комплекс Каргополь недалеко от Архангельска (на Белом море). Там он оставался до 20 января 1942 года. Благодаря восстановлению дипломатических отношений между СССР и Польшей, после нападения Германии на Советский Союз, он добился освобождения после долгой голодовки протеста. Вместе со многими другими поляками, бежавшими в СССР, он завербовался, в Казахстане, в армию генерала Андерса, которая сражалась под польским флагом вместе с англичанами. Самым первым его движением было купить себе тетрадь и начать записывать

[1] G.Herling_ *Godzina cieni* (Час тени), Znak, Krakow 1991, p.11
[2] G.Herling, *Inny Swiat* (1951), Czytelnyk, Warszawa 1994, p. 14 (итальянский перевод *Un mondo a parte,* Feltrinelli, Milano 1994, p.19

воспоминания об ужасном пережитом опыте, чтобы не забыть: «В тот момент, можно сказать, я родился как писатель»[3].

Во Втором Польском Корпусе он сражался в Италии, где остался также после войны, не желая возвращаться на родину. Он, как все ветераны кампании, был человеком бездомным и опыт Гулага жег его внутри. Затем в 1947 году он вместе с первой женой художницей Кристиной Доманской поселился в Лондоне, где жил очень трудно, зарабатывая себе на хлеб сотрудничеством в журнале польской эмиграции «Wiadomosci» (Ведомости). Там он сразу же познакомился с человеком, тоже побывавшим в советском лагере и затем в нацистском, который стал его большим другом: Александром Вайсбергом (1901 – 1964), физиком, бывшим коммунистом, который попросил помочь ему в составлении мемуаров, изданных по-немецки под названием *Охота за ведьмами* (Hexensabbat, 1951) и затем в следующем году по-английски с предисловием Артура Кестлера под названием *Заговор молчания* (Conspiracy of Silence)[4]. «В его книге рассказывается о борьбе за выживание в советских тюрьмах и о борьбе за то, чтобы не потерять собственное человеческое достоинство (…) Вайсберг разрушает то, что я называю «мифом Рубашова» (героя романа *Тьма в полдень*): Кестлер приписывает этому своему персонажу драматичный, но в некоторой степени благородный выбор: признать себя виновным, чтобы сослужить последнюю службу Партии. Речь шла о мифе очень популярном особенно среди бывших коммунистов, потому что он придавал некое мрачное достоинство тому, что было очень унизительным ритуалом репрессий. Книга Вайсберга разрушает этот миф, утверждая, что обвиняемых, как во время чисток, так и во время Московских процессов, вынуждали каяться пытками, шантажом и угрозами наказать родственников, очень распространенным оружием того времени (…). Великие чистки были направлены против людей, любивших свободу, и книга посвящена им»[5].

Встреча с этим гениальным человеком «излечила его (Герлинга) от болезни молчания», мучившей его в течение шести лет и мешавшей ему свидетельствовать о своем опыте в Гулаге.

В июле 1949 года в доме друзей в Рэгби Герлинг одним порывом написал шесть глав книги *Отдельный мир,* вышедшей в Лондоне в 1951 году

---

[3] G.Herling, Wlodzimierz Bolecki, *Rozmowy w Dragonej,* Wyd. Szpak, Warszawa 1997, p.94

[4] В 1966 году Герлинг написал предисловие к польскому изданию: *Wielka czytka* (Великая чистка), Czytelnik, Warszawa 1990

[5] G.Herling, Titti Marrone, *Controluce,* Tullio Pironti Editore 1995, p. 38-40

по английски с предисловием Бертранда Рассела: «Среди многих книг об опыте жертв советских тюрем и лагерей, которые я читал, *Отдельный мир* Густава Герлинга самая впечатляющая и лучше всех написанная книга. Он обладает очень редким даром простого и живого описания и совершенно невозможно сомневаться ни на минуту в его искренности. Попутчики, которые отказываются верить в очевидность таких книг, как книга Герлинга, без сомнения являются людьми лишенными человечности, потому что если бы это было не так, они не отрицали бы очевидность,а были бы ею взволнованы..."[6].

Книга, которая, даже в названии, вдохновляется *Записками из мертвого дома* Достоевского (1861-62), не роман и не *памфлет*. Итальянский критик Паоло Милано справедливо определил ее как *Bildungsroman*. Книга имеет особую повествовательную форму, объединяющую целую мозаику рассказов и историй с философскими и социологическими замечаниями, историческими справками, политическим и моральным протестом. Письмо поражает прежде всего удивительной отстраненностью, почти холодностью, с которой Герлинг описывает ужас лагеря, в котором он провел два года. Такая особенность – это плод продуманного выбора:

«Сразу же после войны я спрашивал себя, в какой форме я мог бы передать опыт тех лет. И я понял, что единственной возможной формой была *хроника,* чистая хроника или в виде дневника (…). Урок *A Journal of the Plague Year* Даниэля Дефо состоит в том, что некоторые главы темной истории человечества (катаклизмы, чума, бойни, варварские нашествия , холокост) могут быть переданы только пером совершенно бесстрастного хрониста»[7].

Сохранение дистанции от повествуемых фактов помогает передать их в их глубокой и простой драматичности, сообщая свидетельству большую гражданскую и политическую действенность. Среди немногих, кто это понял, был друг и писатель Иньяцио Силоне, который сказал: «Книги политической полемики имеют краткую жизнь, они живут лишь пока длятся обстоятельства их вызвавшие, но если книга затрагивает глубину человеческого страдания, если она видит его глазами сострадания и описывает методами искусства, то даже если она была порождена отдельным случаем, она без сомнения будет

---

[6] B.Russel, *Introduzione all'edizione inglese,* in G.Herling ,*Un mondo a parte,* op. cit.

[7] G.Herling, Dichiarazione fatta nel 1975, riportata in: W. Bolecki, *Ciemny staw,* Plejada, Warszawa 1991, p.21

жить и станет частью духовного наследия человечества и будет переходить от поколения к поколению»[8].

Описание бездны советского лагеря превращается у Герлинга в решительное и настойчивое отрицание нигилизма, этим Герлинг отличается от своего соотечественника Тадеуша Боровского (этот трагический персонаж фигурирует под прозвищем Бета» в книге *Плененный ум* (1953) Милоша[9]), которого опыт Аушвица привел к убеждению, что не существует никаких ценностей и что лагерь есть не что иное, как крайнее выражение безжалостной борьбы за выживание и насилия, характеризующих историю человечества[10]. Герлинг рассказывает какие низости вынуждены были совершать люди в лагере, подчеркивая однако всегда, что «концентрационная цивилизация» - это временное условие, от которого, кто хочет, может спастись, стараясь ей противостоять во имя человеческих ценностей, которые тюремщики хотят всеми силами уничтожить: «Человек человечен, когда находится в человеческих условиях, я думаю, что это бессмыслица нашего времени пытаться судить о человеке по действиям, которые он себе позволил в бесчеловечных условиях».

Польский писатель синтезирует так философию, к которой он пришел в результате своего опыта, и принцип, которого он придерживался, повторяя фразу Камю о чуме: «Нужно сказать вот что, чему учишься во время бед: в людях больше того, чем можно восхищаться, чем того, что можно презирать»[11].

Политическим же выводом, к которому он пришел впоследствии, было убеждение, что советский Гулаг был «машиной уничтожения» равной нацистским лагерям: «Теперь, когда я прочел некоторые свидетельства о немецких концлагерях, я вижу, что перевод на Колыму, в советские трудовые лагеря, был равнозначен отправке в немецкую газовую камеру. Эта аналогия становится еще более ясной, если принять во внимание, что как и в случае с газовыми камерами, на Колыму отправляли тех заключенных, у которых состояние здоровья было наихудшим, в России однако их посылали не на немедленную смерть, а на тяжелейшую работу, которая требовала

---

[8] Ignazio Silone, presentazione di *Un mondo a parte* per il “Bollettino del Circolo Italiano del libro” (1958), riprodotta nella quarta di copertina dell’edizione italiana-

[9] Cz. Milosz, *Zniewolony umysl,* (trad. it. *La mente prigioniera,* Adelphi, Milano 1981, p-141-166

[10] Cfr. T. Borowski, *Paesaggio dopo la battaglia,* Il Quadrante, Torino 1988

[11] G.Herling, *Dziennik pisany noca 1980-1983,* Czytelnik, Warszawa 1996, p.264 (trad. it. *Diario scritto di notte,* Feltrinelli, Milano 1992, p.180

необыкновенной физической силы и выносливости»[12]. Герлинг часто вспоминал, в частных беседах, финал великолепного эссе русского поэта Иосифа Бродского, озаглавленного *Полторы комнаты* (1985)[13], где сын разговаривает с отцом о прошлом: «Он меня удивил, когда я спросил его, чьи концлагеря, на его взгляд были хуже: нацистские или наши. Что до меня, - последовал ответ, - то я предпочел бы превратиться в пепел сразу, нежели умирать медленной смертью, постигая сам процесс".

В мясорубке Гулага, как и в деле построения социализма в Советском Союзе, мы присутствуем при триумфе безумия и глупости. Герлинг написал в 1995 году короткое предисловие к нашему *Martwa droga* (Мертвая дорога) молодого польского фотографа Томаша Кизны о железной дороге, строившейся рабским трудом заключенных, которая должна была соединить Салехард с Игаркой, но которая так и не была построена. Герлинг в свем тексте, названном «Оцепенение и глупость», хорошо схватывет смысл драматической метафоры, которая кроется за видом этих железнодорожных путей, заржавевших и бесполезных:

«Мертвый дом, Мертвые души, Мертвая дорога. Томаш Кизны избрал отличное название для своей фотовыставки, посвященной железной дороге, построенной советскими «зэками» в 1943-53 годах, железной дороге, которая по плану сталинских инженеров, умалишенных прожектеров, должна была пересечь Западную Сибирь на высоте полярного круга и соединить город Салехард на реке Обь с Игаркой на Енисее. План предусматривал строительство 1300 километров железнодорожных путей. Удалось построить 700 км. одноколейки, с раздвоением каждые 9 – 14 км., после чего (благодаря смерти Сталина) работы были прерваны, и стройку оставили в добычу вечной мерзлоте и летним болотам. В строительстве были заняты сто тысяч зэков (согласно лишь приблизительным оценкам ассоциации Мемориал работы эти убили несколько тысяч заключенных). Цена этого безумия была 42 100 000 000 рублей (цифра огромнейшая по тем временам). Как и прочие «великие стройки коммунизма», это мероприятие оказалось бессмысленным и ненужным. Не только название, но и сама выставка Томаша Кизны отлична. И для меня, бывшего зэка она была шоком. Экспедиция Кизны и его двух московских друзей Александра Вологодского и Эрика Иванова сделала возможным создание удивительной вещи: синтетической фотографии Гулага

[12] G.Herling, ibid. p. 123

[13] J.Brodskij, *Less Than One (1986),* trad. it. *Fuga da Bisanzio,* Adelphi, Milano 1987, p.243

или (я предпочитаю определение Надежды Мандельштам) «концентрационной цивилизации». Природа пока что сохранила остатки линии Салехард – Игарка: покинутые лагерные бараки с ботинками и столовой утварью зэков, покореженные рельсы, полуразвалившиеся мосты, покинутый городок Ермаково и даже триумфальную арку (преждевременную) в одном из лагерей. Но сочиняя, по просьбе Кизны, это короткое предисловие к его фотовыставке, я хотел бы предложить посетителям одно размышление, которое в некотором смысле делает эту выставку актуальной. Посмотрите на кладбище сталинской «стройки». Не есть ли это трагическая, или трагикомическая автокарикатура всей системы? Черты оцепенения и глупости разве не присутствуют также и в горбачевской «перестройке»? Эта система, желающая наконец покинуть ту гигантскую ловушку, которую она сама себе создала, способна ли окончательно оставить мертвую дорогу «к светлому будущему», указанную Лениным и Сталиным, бесполезную и бессмысленную дорогу, усеянную трупами? Несмотря ни на что я не теряю надежды, что жители разваливающейся империи окажутся наконец способны сделать это. Но при условии, что они не будут забывать ни на минуту какими «памятниками» безумия и преступления усеяна их бесчеловечная земля».

Во всех произведениях Герлинга «русский вопрос» – это проблема универсальная, культурная и политическая, и это поиск ключа к пониманию чудовищности Гулага и той политической системы, которая его породила[14]. Он писал для многих польских, итальянских, французских газет статьи о русской и советской литературе и комментарии к политическим событиям в СССР. В 1958 году вышел по- итальянски сборник этих текстов[15], которые затем были перепечатаны в *Upiory rewolucji* (Призраки революции), вышедшем сначала в1969 году в Париже[16], а затем в расширенном варианте в 1992 в Любляне. В томе 53 текста и он охватывает период с 1954 по 1988 год. Герлинг воскрешает традицию внимательного рассмотрения русского мира польских интеллектуалов, которая восходит к периоду романтизма. В предисловии к первому изданию *Призраков революции* польский писатель, уточнив, что речь тут идет о «литературной публицистике, написанной по социальому заказу», он говорит, что он не руссист и не претендует им быть,

---

[14] Zd.Kudelski, *Studia o Herlingu-Grudzinskim,* TN KUL, Lublin 1998, p.59

[15] G.Herling, *Da Gorki a Pasternak. Considerazioni sulla letteratura sovietica,* Opere nuove, Roma 1958

[16] G.Herling, *Upiory revolucij,* Institut Literacki, Paryz 1969, FIS, Lublin 1992

но что его побудило войти в чужую область убеждение, что «судьбы восточно - центральной Европы зависят прежде всего от изменений и от перемен в самой России». Но русский историк, живший в Париже, Михаил Геллер, в своей истории советской литературы и лагерей, цитируя также и Герлинга [17], не раз указывает, что польский писатель «знает в совершенстве и глубоко понимает русскую литературу». В течение многих лет, к тому же, Герлинг был из тех немногих в Европе, кто занимался Бабелем, Мандельштамом, Ахматовой, Шаламовым, Пастернаком и Солженицыным, задолго до того как тот получил Нобелевскую премию.

Ключ к интерпретации этих текстов Герлинга о русских авторах находится в эссе *Призраки революции*, которым открывается сборник, носящий то же название. Польский писатель здесь дает глубокий анализ самого замечательного эссе Николая Бердяева *Духи русской революции*[18] . Пятьдесят пророческих страниц, которые хотя и говорят о только что произошедшей советской революции (они были написаны в 1918 году), сохраняют удивительную актуальность: «Революции, происходящие на поверхности жизни ничего существенного никода не открывают, они лишь обнаруживают болезни, таившиеся внутри народного оранизма, по-новому переставляют все те же элементы и являют старые образы в новых одеяниях. Революция всегда есть в значительной степени маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, знакомые лица. Новые души рождаются позже, после глубокого перерождения и осмысливания опыта революции».

Герлинга, помимо этого утверждения, что революции это лишь возвращающееся старое, особенно интересует описание, которое Бердяев дает «действию темных магических сил зла». Но не в смысле чего-то туманно иррационального, а как выход на поверхность веяний, которые извечно пробегают по русской истории и по русской душе и которые крупнейшие русские писатели (Гоголь, Достоевский, Толстой) более или менее сознательно описали: «Революция это только великий катализатор, делающий явным то, что таилось в глубине России». Достоевский, без сомнения, - «пророк русской революции», потому что он олицетворил русский революционный порыв, то есть «метафизический и религиозный феномен, а не политический и социальный». Эссе о Бердяеве завершается

---

[17] M.Geller (Heller), *Koncentracionnyj miri sovetskaja literatura* (trad. it. IL mondo dei lager e la letteratura sovietica, Edizioni Paoline, Roma 1977).

[18] N.A.Berdjaev, *Duchi russkoj revolucii* (trad. it.: *Gli spiriti della rivoluzione russa*, Bruno Mondadori, Milano 2001

цитированием того определения России, которое дал маркиз Де Кюстин[19]: «это страна, в которой общественная жизнь представляет собой постоянно заговор против правды». Эта темная ложь, вместе с насилием Власти, были, по мнению Герлинга той стеной, о которую разбились мечты и жизни миллионов людей и которой немногие смелые поэты, писатели и интеллектуалы бросили вызов, заплатив бесконечными страданиями. Долгом культуры было показать, что советская власть представляла собой победу самых темных сторон русской души, замаскированных знаменами прогресса и свободы, и возвращающихся сегодня в миазмах национализма. Долгом было дать слово тем, кто представляют *другую душу*, до сегодняшнего дня остававшуюся достоянием меньшинства и устремлявшуюся к европейским ценностям или, как в случае Солженицына, к подлинной религиозности.

Среди русских писателей Герлинг уделил особое внимание Варламу Шаламову (1907 – 1982), автору *Колымских рассказов*[20] , самому глубокому свидетелю о лагерной реальности, посвятив ему в *Дневнике*[21] прекрасный рассказ, повествующий о его ужасном конце в психушке, в которую запер его КГБ. Герлинг находит у Шаламова даже стилистическое сходство с собой: «В своем описании ада Колымы он никогда не идет дальше краткого, сухого, почти бесцветного отчета об этом чудовищном дне человеческого существования, не поддаваясь искушению прибегнуть к стилю и языку соответсвующему жестокости описывемых фактов (…). Я замечаю у него инстинктивный или сознательный страх перед приманкой впечатляющей брутальной литературы и волю оставаться верным своей памяти. Эта верность так чиста и абсолютна и в то же время так глубоко укоренена в реальности мира Колымы, что придает рассказам Шаламова блеск искусства»[22]. И в одном интервью[23] Герлинг добавляет: «Шаламов написал более ста рассказов об опыте Гулага, на мой взгляд, еще более значительных нежели произведения Солженицына. Сам Солженицын предложил ему быть соавтором *Архипелага Гулаг*, но Шаламов, уже очень больной, боясь потерять

---

[19] A. de Custine, *Lettres de Russie* (1839), trad. it. *Lettere dalla Russia,* Fogola Editore, Torino 1977

[20] V.Salamov, *Kolymskie rasskazy* (1989-1990), trad. it. *I racconti di Kolyma*, Einaudi, Torino 1999

[21] G.Herling, *Pietno. Ostatnie opowiadanie kolymskie* (Kwieczen 1982), in G.Herling *Dziennik pisany noca,* op. cit.pp.167-172 (trad. it. *Il marchio. L'ultimo racconto della Kolyma*, in *Diario scritto di notte,* op.cit. pp.165 - 170

[22] G.Herling, *Dziennik*...p.115

[23] G.Herling, *Salamov e i racconti di Kolyma* " Il mattino", 11.02.1993

свое место в приюте для бедных, отказался (…) В книге *На пределе крайнего* Цветан Тодоров приводит эту мысль Шаламова, которая мне кажется центральной: Гулаг был великим моральным испытанием для человека, но нелепо судить о человеке , вынужденном действовать в бесчеловечных условиях. И Шаламов добавляет, что, во всяком случае, девяносто процентов людей не выдержали этого испытания». Герлинга интересует также другой аспект произведений Шаламова, который хотя и был атеистом, но утверждал, что религиозная вера помогала выжить и не превратиться в животное, топчущее других. Как раз вновь утверждая свою идею, уже высказанную в *Отдельном мире* («человек может быть человечным только в человечных условиях и я считаю абсурдным строго судить его за действия, совершаемые в бесчеловечных условиях»), и подхваченную также Тодоровым («где нет выбора, нет и никакой возможности для морали»), Герлинг говорит: «Ужасная черта концентрационного опыта – это отсутствие выбора, и это поистине жуткая вещь, уничтожающая всякую возможность этической жизни. Поэтому верно говорит Шаламов по поводу верующих , которые чаще других выживали: верить – значить иметь шанс и надежду на другую жизнь»[24]. Но не нужно забывать, что речь идет об исключениях: «Нельзя требовать многого от заключенных в лагере. Шаламов вызывает большое восхищение, потому что пытается, в отчаянных обстоятельствах сохранить свою человечность и моральность, но вообще же я считаю, что несправедливо требовать от людей, живущих в бесчеловечных условиях, оставаться людьми. Лагерь заставляет узников полностью деградировать»[25].

Здесь Герлинг затрагивает вопрос о праведниках Гулага, испытывая, как может показаться, большой скептицизм в отношении возможности быть таковым (за редкими исключениями) и сострадание в отношении тех, кто, будучи заключен в клетку, кусает ближнего, чтобы выжить. Но это не так. Герлинг был тогда, как и впоследствии, человеком, который требовал многого от самого себя и от других тоже требовал столь же морального поведения (ценою даже того, чтоб показаться слишком строгим и не знающим христианской идеи прощения). В эпилоге *Отдельного мира* говорится об одном польском архитекторе, коммунисте, арестованном в 1940

---

[24] G.Herling, Titti Marrone,*Controluce,*op. cit. p.48

[25] G.Herling, Piero Sinatti, *Ricordare, raccontare*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli 1999, p.38. Этот текст должен был быть предисловием к изданию «Колымских рассказов» (Эйнауди 1999), но был изъят из пуликации издателем, очевидно (и парадоксально) испуганным его «историко-политическим» смыслом, но не знакомым со смыслом самих рассказов Шаламова.

за то, что он отказался от добровольного изгнания в дальние области России. Он встретился с Герлингом в июне 1945 года в Риме. Он просил помочь ему освободить душу от одной вины. Он был «вынужден» донести на четырех невинных немцев из своей бригады, чтобы не быть отправленным работать в лес. Четверо были расстреляны на следующее утро. Этот человек, рассказав эту ужасную историю, умоляет Герлинга: «Ты знаешь до какой степени они нас довели, как они нас растоптали. Скажи только, что ты меня понимаешь…» Герлинг отказался: «Я мог бы произнести слово, которое он у меня просил, на следующий день после моего освобождения из лагеря. Возможно мог бы (…) Но я уже три года как вернулся к людям с человеческими критериями и понятиями и мог ли снова бежать от них, покинуть их, добровольно предать их?»[26]

Ведь именно в этой невозможности, или крайней трудности, поступать хорошо состоит сущность Зла. В своем «духовном завещании», *Вариациях о тьме. Беседах о зле*[27] , определив XX век как «век Зла», Герлинг называет себя «манихеем», то есть убежденным в том, что Зло существует действительно как самостоятельная сущность, а не, как это считают христиане, лишь в виде отсутствия Добра. Он видит Зло ощутимым и жалуется, что люди становятся нечувствительными и почти привыкшими к нему. Его беспокоит (как и беспокоило Примо Леви в финале книги *Погибшие и спасенные*) то, что уже не удается осознать его в момент зарождения. Нужно научиться смотреть на яйцо змеи, чтоб увидеть сквозь мутную скорлупу то ужасное чудовище, которое родится (это - метафора, употребленная режиссером Игмаром Бергманом в его фильме о нацизме). Впрочем, соглашается он, сегодня Добро и Зло не различаются четким образом: «Это как рак – внутреннее изменение, не ощущаемое сразу. Это разрушительная духовная болезнь, нужно время для того, чтобы обнаружить коварство человека (…) Когда я читаю газеты или смотрю телевидение, я прихожу к выводу, что у людей нет уже чувства Добра и Зла, они даже не понимают собственную вину. Чувствительность атрофирована. Зло так распространено, что оно захлестывает даже людей, казавшихся добрыми». Вспоминая свой опыт в Гулаге и размышления Шаламова, Герлинг приходит к выводу в конце своей беседы, что единственным лекарством против Зла остается одиночество: «По мнению Шаламова, единственное, что защищает

---

[26] G.Herling, *Inny Swiat,* op. cit p.315 (trad.it. p.273)

[27] G.Herling, *Entretien sur le mal (1999)* trad.it. *Variazioni sulle tenebre. Conversazione sul male,* L'ancora del mediterraneo, Napoli 2000

от зла, в существование которого он твердо верит после опыта Колымы, это одиночество (…) И я, хотя был еще очень молодым тогда, всего лишь двадатилетним, тоже понял инстинктивно, что только таким образом я смогу спастись от ужасного зла концлагеря (…) У меня были друзья, но я чувствовал себя сильнее, когда был один. Когда все засыпали, я не спал и был в одиночестве, и это были для меня самые лучшие минуты (…) Я вновь обретал мою изначальную идентичность бодрствуя. Одиночество было тогда подлинной защитой от Зла»[28]

(Перевод Юрия Мальцева)

[28] Там же, стр. 49-50

Диди Ньокки
Didi Gnocchi
Эдмондо Пелузо – жертва Гулага

Мне встретилось первый раз имя Эдмондо Пелузо в феврале 1992 года. Мне говорил о нем в Москве Фредерик Фирсов, историк Коминтерна, комментируя документы, которые начинали выходить из архивов бывшего СССР. Он мне сказал: «Вы конечно знаете дело Эдмунда Пелузо». Я не знала, кто такой Пелузо, не знала количество жертв, размеры великого террора. Я делала репортажи о России перестройки для тележурнала, для которого работала. Это была страна, которая не любила говорить о тех годах. Редко случалось, чтобы кто-нибудь упоминал об этом. Несмотря на то, что большинство населения имело по крайней мере одного далекого родственника, попавшего под репрессии. Но был в Москве род людей, которых я тогда только что узнала и которые не считали счет с историей закрытым. Они продолжали возмущаться, узнавая о документах, которые тем или иным способом выходили из бывших советских архивов. Их подход не был идеологическим «наоборот», не было желания в их исследованиях политического использования фактов. Они искали памяти. Проводили дни в кропотливом восстановлении жизней тех, кто попал в машину сталинских процессов.

Эдмондо Пелузо был одним из них, но я еще этого не знала. Я открыла это год спустя: Андрей, мой переводчик, предложил мне встретиться с одной женщиной, Зоей Дмитриевной Марченко, ветеранкой гулага, которой было лет восемьдесят. На стене ее спальни, над маленьким столом, висело черно-белое фото Сахарова. Зоя Марченко мне рассказала об аресте мужа Германа Иосифовича Таубенбергера, как троцкистского контрреволюционера, арест произошел 11 сентября 1936 года. Потом она показала мне некоторые фотокопии досье НКВД, которое касалось ее мужа. Там было свидетельство одного его товарища по камере: «Герман был одним из самых старых в нашей камере, потому что был в заключении уже давно. Ему не было позволено получать что-нибудь из дома. Это был высокий человек, худой, мзможденный, с уже совсем седыми волосами и выбитыми зубами. Он был похож на Дон Кихота. Накануне первого мая он сказал нам, товарищам по камере, что он всегда праздновал каким-нибудь образом день трудящихся и что он хочет это сделать также и теперь. Все его отговаривали, но он настаивал, и так, когда нас позвали на прогулку во двор, он поднял сжатый кулак и начал петь Интернационал. Из зарешеченных окон другие заключенные последовали его примеру. Это было скорбное и гордое пение. Надзиратели сразу же вернули нас в камеру и вскоре пришел директор тюрьмы Попов. Таубербергера поволокли прочь». Зоя Марченко потом мне рассказала конец этой истории. Она сказала, что в конце месяца ее муж был расстрелян, а некоторое время спустя арестовали также и ее. Она провела в тюрьмах, в лагерях и в ссылке двадцать лет своей жизни. Но и она тоже, как и Герман, всегда отказывалась признать себя виновной, как они хотели. Она сказала, что когда Герман пел Интернационал, гимн рабочих, он их разоблачил. И затем добавила: «Может только ваш соотечественник, Пелузо, сопротивлялся с таким же достоинством этим чудовищным и фальшивым процессам». Пелузо? Я попросила повторить это имя. За год

до этого другой человек в Москве говорил мне о нем. Зоя Марченко показала мне другие документы: ее муж несколько месяцев был заключен в Бутырской тюрьме и сидел в камере с итальянцем Эдмондо Пелузо.

Это было моей второй встречей с Пелузо и первой встречей с идеей «сопротивления» репрессивной сталинской системе, с праведниками гулага.

В тот день я решила посмотреть, куда ведут следы Пелузо, именно в тот день в доме Зои Марченко. И она назвала мне имя человека, который мог бы мне помочь восстановить шаг за шагом жизнь Эдмондо Пелузо: это была Ирина Осипова, а группа исследователей, к которой она принадлежала называлась Московский Центр Мемориал. То, что сегодня кажется таким очевидным и простым, тогда, когда документы еще были заперты в архивах бывшего КГБ, не было таковым.

Контрреволюционер – таково было обвинение, предъявленное НКВД Пелузо. Он был расстрелян в 1942 году в Красноярске, 19-го февраля. Ирина Осипова сказала мне это сразу же, как только я ее увидела. Таким был конец Пелузо. Расстрел. У нее в руках был документ об этом. Я знала, что приговоренных к смерти в России приканчивали, и приканчивают еще теперь (за редкими временными исключениями) выстрелом из пистолета в затылок. Слово «расстрелян» в документах таким образом вовсе не означает расстрела отрядом исполнителей. Есть только один единственный человек, один на один с приговоренным за минуту до смерти, то есть палач. Так было и с Пелузо. Приговоренному никогда не сообщают ни о дне казни, ни о способе ее исполнения, то же самое и родственникам. Им не говорят даже о месте захоронения. Я спрашивала почему у директоров тюрем, у юристов, у историков. Все давали одно и то же объяснение: из гуманности. Из гуманности не давали возможности матери поплакать на могиле сына? В ответ говорили: «Лучше забвение, неопределенность, неуверенность. Лучше для всех не знать».

Ирина мне объяснила, что их центр занимался делами о реабилитации жертв гулага. Она помогала иностранцам, которые хотели провести поиски, но до того момента еще ни один итальянец не просил найти документы. Она положила на стол передо мной доссье о процессе над Пелузо. Первый вопрос, который я ей задала, был: почему уже двое русских мне назвали имя Пелузо, как если бы он был известным примером чего-то, чего я еще не могла понять?

Мне ответили, что в Центре подробно изучили процесс над Эдмондо Пелузо. Случаи сопротивления репрессивной системе в сталинский период были довольно редки. Несколько голодовок протеста и несколько вооруженных восстаний в лагерях. Пелузо был особым случаем, редчайшим, необыкновенным, по ее мнению. Он не подчинился и не признал вины в наихудшие годы. На процессах все кончали тем, что признавались даже в том, чего никогда не было – Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков, Бухарин. Пелузо же отверг эту логику и несмотря на перенесенные пытки смог доказать, что все обвинение было фальшивым. Он создал маленький шедевр, хотя и не спас себе этим жизнь. Именно его действия, его судебное дело изучали с большим вниманием русские историки. Его случай был одним из тех немногих, которые Ирина

включила в свою почти самиздатовскую, по виду, публикацию, собравшую истории «сопротивления».

Она дала мне фотокопию досье НКВД. Возвращаясь в гостиницу, я несла в руках историю человека, которого русские считали редким примером мужества и который в Италии был практически не известен. На обложке досье была дата его ареста – 26 апреля 1938 года, внутри были документы обвинения и протоколы допросов. Они были так пронумерованы: 1) фальшивый документ, предназначавшийся для выдвижения обвинения в шпионаже и саботаже, 2) протоколы допросов и заявление о четырех месяцев пыток, 3) признание Пелузо, 4) запрос о продлении следствия в целях проведения дополнительных расследований, 5) список других обвинений и направление документов прокурору Совета, чтоб он назначил процесс, 6) новые допросы Пелузо с отказом от прежних показаний, 7) процесс: слушание в военном трибунале Московского округа, 8) новая отсрочка из-за отсутствия достаточных доказательств для приговора. 9) письмо, написанное по-французски рукой Пелузо, в котором он протестовал против инквизиторских методов и против перенесенных насилий, 10) запрос направить дело Пелузо в Особое Совещание НКВД. Список был длинным и продолжался так: 11) решение Особого Совещания от 18 мая 1940 года, приговаривавшее Пелузо к заключению в Красноярском Крае на 5 лет, 12) запрос вице-прокурора СССР от 1956 года об аннулировании решения о заключении, 13) запрос вице-прокурора СССР от 1956 года об аннулировании смертного приговора Пелузо 1942 года, января месяца, за антисоветскую пропаганду, 14) решение Верховного Суда СССР об аннулировании приговоров и о реабилитации Пелузо.

До этого я мало что знала о нем. Я увидела в первый раз его лицо на фотографии среди делегатов Четвертого Съезда Интернационала, проходишего в Москве в 1922 году: в группе из восьми человек был также Пелузо. Он был не таким, как я ожидала. Ничего похожего на путешественника авантюриста, каким я себе его представляла после первых полученных о нем сведений. Это был человек с тонкими чертами лица, со слегка облысевшими висками, в круглых очках, с бородой и тщательно подстриженными усами. Одет он был более изысканно, нежели другие делегаты: пиджак без морщин, манжеты выступали в должной мере из рукавов пиджака, в нагрудном карманчике хорошо сложенный платочек, жабо. Тип только на первый взгдяд не примечательный: из восьми человек на фотографии, только у Пелузо был беспокойный и пожалуй даже обуреваемый тревогой взгляд.

В те первые дни марта мне удалось собрать немного новой информации, главным образом воспоминаний некоторых мемуаристов, и из этого немного личность Пелузо выступала более или менее в одном и том же свете: конечно, интеллектуал, человек сильно стремящийся к справедливости, занятый на многих фронтах политической борьбы с фашизмом, но…

Было всегда это некое «но», предполагавшее тонкое сожаление. Это «но» относилось не столько к биографии, сколько к некоторым чертам его характера. Например, один свидетель рассказывает, что он был единственным итальянским социалистом, знавшим Китай Сунь Ятсена, и сразу же добавляет, что «даже в самых драматичных ситуациях при нем всегда было символическое кимоно в качестве халата.

Из-за этих наивных привычек он подвергался часто насмешкам товарищей». Другим рдким свидетельством было личное воспоминание Луиджи Лонго, который в 1922 году встретил Пелузо в Берлине во время его поездки в Москву с делегацией Федерации молодых коммунистов на конгресс Интернационала. «Мы прибыли в Берлин 28 октября, как раз в день похода на Рим. Уже на вокзале мы узнали об этом первые сведения. Нам их сообщили Франческо Мизиано и Эрсилио Амброджи (…). Эти товарищи вместе с Эдмондо Пелузо были нашими проводниками в Берлине. Пелузо говорил, что он знает немецкий язык и что он много путешествовал, также и на Восток, и поэтому любил расписываться как *гражданин мира*. Этот товарищ был странным типом, всегда одетым оригинальным образом, с красивой темной бородкой, тщательно ухоженной, с очень живыми блестящими глазами. Он старался казаться щеголем и конечно навлекал на себя насмешки, не всегда добродушные, особенно со стороны молодежи. Он ехал в Москву, чтобы остаться там, кажется, в качестве переводчика и *референта* по итальянским делам».

Одним словом, Пелузо был странным человеком, товарищем с незначительным избирательным сродством, человеком, который с итальянскими коммунистами, с Москвой, со страной советов, помимо политической борьбы, имел мало общего, так что товарищи по партии его считали всегда экстравагантным типом, несколько неуместным и мало соответствующим их суровой атмосфере, немного ханжой и немного провинциалом. С другой стороны, Пелузо было противно все в мещанском мире, он упорно не принимал требований порядка, уважения к начальникам, бюрократии. Без сомнения его прошлое было иным, нежели у других товарищей, он путешествовал, знал мир. Затем, при восстановлении его жизни получался портрет человека не терпевшего правил, любившего свободу, несколько эксцентричного, антимилитариста, самоучки, часто в бегах, часто преследуемого ордерами на арест, чувствительного к несправедливости, чуткого к стилю. Человека, который, если нужно было согнуться, предпочитал переносить неприятности, но идти прямо, бунтовщика, который оказывался в тюрьме во всех тех странах, где он бывал, красного, никогда не успокаивавшегося, участника всех робочих движений. Я узнала, что он учился в начальной школе в Испании, в средней школе в США, некоторое время учился в Гейдельбергском Университете в Германии, учился в Цюрихе в Швейцарии. Он называл себя *гражданином мира* и назвал так свою книгу, которую я несколько лет спустя нашла в Библиотеке Ленина. В Маниле на Филиппинах он избежал холеры, поступив за три доллара в день кочегаром на американский пароход, шедший в Сан Франциско. Он был человеком, который действительно делал революцию по дороге, который на дорогах мира никогда не ждал на остановке, а предпочитал просить встречных подвести, путешествовать неудобно, чтобы видеть, понять, открыть. В Америке на Тихоокеанском побережье он был собутыльником и одномышленником Джека Лондона, впервые напившись в пять лет, в Париже он посещал дом дочери Маркса, Лауры, и ее мужа Поля Лафарга, которые покончили с собой месяц спустя после того, как объяснили ему, что когда приходит старость лучше уйти из жизни. Сказано – сделано. Пелузо шел туда, где он был нужен, где был поворот и что-то изменялось. Он вырос не в политике, а вместе с политикой. О нем говорил Ленин: сначала плохо, потом хорошо. Им заинтересовался

Тольятти с намерением спасти его, когда он был арестован НКВД. Трудно сказать о Пелузо, что он был цельным, но когда история неожиданно поворачивала, когда речь шла об опасности, он был им.

Изучая его жизнь, я поняла, что он всегда был им. Другом тех, кто рисковал, кто жертвовал жизнью, другом Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Бебеля , Клары Цеткин, Карла Каутского. Эдмондо Пелузо был странным коммунистом, международным путешественником, одним из немногих, быть может, единственным итальянским социалистом, чувствовавшим аромат Востока, понимавшим, что Китай может быть близким, посетившим страну Сунь Ятсена, основателя великой азиатской республики, отца китайской национальной революции. Не только: он был в Кинтале в 1916 году на второй конференции Интернационала и был в Кантонской коммуне. Он кружил по миру в годы, когда ездить по нему было трудно, был человеком тысячи профессий: служащим банка, типографом, лифтером, кочегаром на корабле, журналистом, партработником. Он побывал в Испании, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Китае, Японии, США, Южной Америке, СССР.

В 1917 году он стал на сторону Октябрьской Революции, в 1918 году он участвовал в трагическом опыте спартаковцев, в 1920 году он заявил о своей солидарности коммунистической фракции Имолы, в 1921 году записался в итальянскую компартию при ее основании, в 1922 году в Москве участвовал вместе с Равера, Бордига и Лонго в четвертом когрессе Интернационала. Он убегал, чтобы сражаться с фашизмами, уверенный, что стоило делать это. Он был приговорен к смерти 31 января 1942 года и убит выстрелом из пистолета в затылок в Красноярской тюрьме, в далекой Сибири, в том самом месте, куда Ленин был сослан царем. Ирине Осиповой удалось получить из архивов бывшего КГБ, из лагеря близ Красноярска , где он содержался, одну фотографию, относящуюся к последним дням его жизни. Ему было 60 лет и в его глазах больше не было иллюзий.

Он был одной из многих жертв сталинских процессов, но, как сказала мне Ирина, он не был одним из многих. Сегодня это признают все. Пелузо был из тех немногих, и единственным из итальянцев, кто не принял логики трибуналов, кто не согласился на донос и на признания. Он защищался не обычной тактикой, как сумасшедший шахматист. Это не спасло его, но сохранило ему достоинство. Хотя в 60 лет надежды уже не было и мрак в полдень уже наступил. Это сказал он сам, как гражданин мира, с незатуманенным сознанием, чувствующим свой долг рассказать все, как оно есть. « В СССР нет никакого социализма, а есть лишь поражающие весь мир безумные эксперименты над народом, потерявшим здравый смысл. Все это похоже даже в своем конечном результате не на социализм, а лишь на грубый деспотизм. То, что тысячи лет живет в самых розовых мечтах человечества, предстает в самом извращенном виде. Советский народ погружен в море слез, скорби, лишений, обречен на бесконечные очереди за хлебом, основным пищевым продуктом, на очереди за метром материи, чтоб прикрыть наготу, на поистине рабский труд, тяжелый принудительный труд. Надо всеми тяготеет ярмо бюрократии, подавляющей их и принижающей всех до одного уровня. Как только у меня будет возможность, я открою глаза моим товарищам».

Но глаза закрыли ему. Навсегда. Его, обреченного на забвение, отбросили, как мусор. Он был реабилитирован в 1956 году. «За отсутствием состава преступления». Он никогда не был врагом народа, заговорщиком, вражеским шпионом. Он был лишь беспокойным, наивным и хрупким гражданином мира, рожденным в Неаполе, эмигрировавшим всегда туда, где было хоть немного свободы и веяния нового мира. Его портрета не было на маечках. Он стоял на грани забвения. На крайней черте. Еще целых шестьдесят лет. И теперь может снова поднять голову как «праведник».

(Перевод Юрия Мальцева)

(Прилагаются документы в переводе с русского на итальянский).

Франческо Бигацци
Francesco Bigazzi

ЭМИЛИО ГВАРНАСКЕЛЛИ

Фигура Эмилио Гварнаскелли приобретает особенно волнующие человеческие черты благодаря чистой и необыкновенной связи с Неллой Мазутти, потому что она, невидимая но неотлучная, была всегда рядом, когда Милио нуждался в смелости, чтобы противостоять допросам палачей из НКВД, когда он несмотря на жуткий голод и холод сталинского Гулага боролся с необычайной решимостью за то, чтобы отстоять ту правду, к которой он пришел, победив ужасные внутренние сомнения и мучения и когда он, поняв что речь идет уже о последней жертве, отстоял собственное достоинство как тот, кто сознает, что он борется за правое дело.

Элегантная фигура этой нежной девушки, вынужденной столкнуться с ужасами сталинизма, всего лишь семнадцатилетней, еще не совсем вышедшей из детского возраста, стоит всегда рядом с ее товарищем по партии и по жизни. Нелла Мазутти с большим порывом предлагает свое мужество, чтобы оно вместе с мужеством Милио воздвигло непреодолимую преграду логике сталинского террора. Преодолев тяжелое испытание – отказ отца признать союз с еретиком коммунистом, она будет идти всю свою жизнь рядом с молодым идеалистом, который, открыв, что он был обманут, имел мужество сказать это, и хотел, чтобы другие тоже это поняли. Нелла Мазутти без колебаний следует за ним в Гулаг за полярный круг и когда, после непрерывных мучительных поисков, узнает о смерти Милио, продолжает бороться всю свою жизнь, чтобы защитить память о нем и чтобы рассказать правду.

Политическая драма отходит на второй план по сравнению с душевным величием этих двух молодых людей. И возникает вопрос, как же так в течение десятилетий старались с большим рвением спрятать человеческую судьбу Эмилио Гварнаскелли. И успех непреклонных цензоров из ИКП был бы полным, если бы не появилось непредвиденное в лице этой женщины, столь же упорной сколь и хрупкой, столь же сильной сколь велико было ее страдание. Как раз когда я решил просмотреть мои архивы, чтобы восстановить эту человеческую судьбу столь волнующую, столь печальную и в то же время столь героическую, мне попался в руки очень важный документ, который может помочь понять причину того, почему руководство ИКП боялось Эмилио Гварнаскелли.

Письмо, написанное рукой товарища Ромоли (Марио Монтаньяна), от 14 января 1936 года, открывает нам, что руководство ИКП, когда в декабре 1934 года был убит Сергей Киров, уже имело готовый список «итальянских контрореволюционеров», которых следует вычистить. В письме представитель ИКП в исполнительном комитете Коминтерна пишет , что «в декабре 1934 года, сразу же после убийства нашего оплакиваемого товарища Кирова, дирекция Клуба итальянских эмигрантов обвинила Тину Пароди в том, что она рекомендовала Клубу два итальянских эмигранта Гварнаскелли и Маттеуччи

(Маттеуцци), известных как подозрительные элементы». «Впоследствии я узнал, - добавляет с нескрываемым цинизмом Марио Монтаньяна, - что Гварнаскелли был арестован, здесь в Москве, за конрреволюционную деятельность».

Первое выступление Марио Монтаньяна, зятя Пальмира Тольятти, требовавшего иключения из ИКП Клементины Пароди Перроне, датируется декабрем 1934 года. Эмилио Гварнаскелли, названный «подозрительным элементом» в обвинении против Тины Пароди, был арестован 2 января 1935. 14 января 1936, год спустя, Монтаньяна резко выступает в Клубе итальянских эмигрантов, требуя принять «необходимые меры» в отношении Тины Пароди, которая вскоре после этого была исключена из партии и сразу же попала в лапы НКВД. Эмилио Гварнаскелли не вернется из Гулага. Клементина Пароди обретет свободу после долгих лет сибирских лагерей. Еще до того, как сталинский террор вошел в силу и достиг кульминации в 1937 – 1938 годах, товарищ Эрколи (Тольятти) и его родственники Монтаньяна и Роботти, при активной поддержке Розайо и Д'Онофрио, провели советизацию партии и подготовили списки «подозрительных» контрреволюционеров.

Руководители ИКП в Коминтерне были сообщниками, они вовсе не были вынуждены против воли согласиться с чистками компартий, которые были прелюдией смерти тысяч товарищей. Контрреволюционеры, троцкисты, бордигьянцы должны были исчезнуть, должны были быть вычеркнуты из памяти партии и общества. Эмилио Гварнаскелли, осознавший это, использует все оставшееся ему время жизни, чтобы рассказывать со все большим жаром о своем крестном пути. Адресаты его писем – это единственные два человека, которых он любит и которым доверяет: обожаемая Нелла и брат Марио. Когда Эмилио говорит о Нелле, его письма становятся подлинными песнями любви, способными еще и сегодня взволновать той искренностью и непосредственностью, с которыми узник обращается к своей подруге.

В этой длинной переписке описан с необыкновенной ясностью переход от слепого поклонения идеалам Октябрьской Революции к открытию иной ужасной правды. Юношеский энтузиазм и любовь к «новой родине» длится с мая 1933 по март 1934 года. Брошенный в СССР, чтобы помогать строить первое государство советов, Гварнаскелли некритически принимает все темы и лозунги сталинской пропаганды. В этот период для него единственной истиной является то, что говорит Москва. И это не только во всем том, что касается России, но и в том, что касается политики Коммунистического Интернационала в разных странах, включая и Италию. Из Москвы Эмилио дает знать брату Марио, который живет на фабрике и участвует в подпольном движении в Турине, о всех актах сопротивления фашизму в Италии, повторяя слово в слово доклады сталинских функционеров, которых он называет «пономарями».

Обман длится до тех пор, пока от песочного замка, выстроенного сталинской дизинформацией, не отваливается первая песчинка сомнения. В сознании Эмилио Гварнаскелли сомнение начинает разрушать ту правду, которую он приобрел с таким энтузиазмом и такой внутренней честностью. Постепенно он от сомнения переходит к критике, а затем неожиданно от

критики к открытой оппозиции. Этот процесс начинается в сознании Эмилио 6 апреля 1934 года, когда он, обращаясь к брату, резко говорит: «Пусть тебя не ошарашивает то, что я тебе пишу сегодня». Но тревога, разумеется, возникает сразу же. Этот первый толчок смутит душу Марио и его товарищей, занятых подпольной борьбой против фашизма и полных веры в «светлый маяк» социализма, которым была для них сталинская Россия. С этого момента письма Эмилио приобретают тот драматический характер, который делает их важнейшим историческим свидетельством. Письмом от 11 декабря 1934 года, последним, которое Эмилио удается написать из Москвы перед арестом, происшедшим 2 января 1935 года, завершается эта фаза открытия истины.

Критика приобретает особенно резкую полемичность, начиная с письма от 6 апреля 1935 года, посланного из Пинеги, заброшенной деревни на полярном круге, куда Эмилио был отправлен после того, как был приговорен безо всякого процесса к трем годам депортации за «троцкистскую агитацию» (обвинение, разумеется, фальшивое). Это период ужасных физических и душевных страданий. Преследуемый, оклеветанный, осужденный на изоляцию Эмилио не соглашается молчать и не намерен принять настойчивые советы раскаяться. Его слова свидетельствуют о моральном накале и политической страсти, редких даже среди самых закоренелых коммунистических оппозиционеров сталинскому режиму.

В предисловии к книге «Маленький камень», рассказывающей о судьбе Эмилио Гварнаскелли и основывающейся на его письмах, написанных во время его пребывания в СССР, Нелла Мазутти, говорит: «письма Эмилио это крик всех живших тогда юношей, крик, брошенный мальчиком из низов, рабочим. Это письма того, кто не вернулся, потому что восстал против того пресса, которым хотели задушить свободу во времена Сталина. Он боролся за эту свободу своими жалкими средствами одинокого человека, пленника собственных поступков, сознающего свою ответственность перед теми, чьим должником правды он себя чувствовал».

Крестный путь, который завершил жизнь молодого коммуниста идеалиста впервые был описан Корнели и Заккария. Впоследствии многие другие журналисты и исследователи занимались трагической судьбой этой молодой жертвы итальянского коммунизма. Подборка его писем, опубликованная сначала во Франции, была затем переведена на итальянский. Поэтому, имея в виду эту обширную литературу, достаточно дать его краткую биографию.

«Эмилио Гварнаскелли, младший брат Марио, известного коммунистического деятеля, родился в Турине 30 июля 1911 года. В 1932 году, имея законный паспорт, эмигрировал во Францию, затем переехал в Бельгию, но переживал там материальные трудности и затем с верой и энтузиазмом поехал в СССР. Как только он приехал в Москву, Джерманетто, один из руководителей итальянской политической эмиграции, отобрал у него паспорт и заставил его принять советское гражданство. После непродолжительного пребывания в СССР, разочаровавшись в советской реальности, Эмилио Гварнаскелли обратился к руководителям итальянской эмиграции с просьбой вернуть ему его паспорт, чтобы уехать из России. Получив категорический

отказ, он обратился в итальянское посольство в Москве, чтобы получить документы, необходимые для репатриации.

Не отдавая себе в том отчета, молодой туринец совершил таким образом одно из самых тяжелых преступлений против коммунистической партии и против Советского Союза.

Итальянское посольство в Москве, не сочтя его вполне «исправившимся» и не получив от него «доказательств» его «исправления», не приняло близко к сердцу его судьбу и ничего не сделало для того, чтобы защитить его и воспрепятствовать его аресту сталинской полицией.

Между тем Костанте Мазутти, он же «Гаратти», яростный сталинист, отец Неллы, невесты Гварнаскелли, чтобы не скомпрометировать свою репутацию перед партией и перед Советским Союзом, донес на него руководителям итальянской эмиграции.

2 января 1935 года, месяц спустя после убийства Сергея Кирова и неделю спустя после ареста большой группы итальянских политических эмигрантов, проживавших в Москве, Эмилио Гварнаскелли был арестован.

Тем не менее Гварнаскелли не был осужден ни как фашистский шпион, ни как троцкистский контрреволюционер, с ним «тройка» НКВД была довольно мягка: он был приговорен к ссылке на три года в Северный Край европейской России. Советские власти ограничились тем, что держали его вдали от Москвы и не позволяли ему иметь контакты с итальянским посольством и, следовательно, уехать из СССР.

В середине 1935 года молоденькая Нелла, против воли родителей, поехала к Эмилио в Пинегу, чтобы быть рядом с ним и разделить с ним страдания ссылки. Как только она приехала в Пинегу, молодые люди поженились. Честнейший сталинист Мазутти отказался от дочери. Теперь они одни оставались в Пинеге, страдая от холода и голода. (Нелла была перевезена в Москву летом 1936 года).

Чтобы прервать переписку с Неллой и с Марио, чтобы задушить навсегда его отчаянный голос, НКВД перевело Эмилио в лагерь дальше на север, в самый суровый район Дальнего Востока, где смерть вскоре освободила его от холода и от голода.

В 1942 году в ответе, полученном от советского посольства, когда Нелла находилась в Стамбуле, говорится: «на ваше письмо от 23 февраля сообщаем, что гражданин Эмилио Гварнаскелли, итальянский подданный, умер от перитонита 14 апреля 1939 года в казанской больнице». Ложь.

Этой датой, этим местом и этой болезнью сталинские власти обозначали в справках смерть тех, кто был расстрелян или умер от мучений и голода в лагере принудительных работ.

Останки Эмилио Гварнаскелли покоятся под мерзлой землей в одном из лагерей Дальнего Востока».

(«Диалоги ужаса» под редакцией Франческо Бигацци и Джанкарло Ленер, с. 115-116, Понте алле Грацие, Флоренция 1991).

Эмилио Гварнаскелли – только один из сотен итальянских коммунистов, пропавших в СССР в мрачные годы сталинской эры. Но несмотря на это его судьба особенно поражает потому, что Милио, молодой идеалист в чистом

виде, ни разу не дал почувствовать, что он готов оставить свою борьбу за правду.

До перестройки, когда падение коммунизма было еще немыслимо, только небольшая групка журналистов и исследователей занималась трагической судьбой итальянских коммунистов в СССР. После первых намеков, открытых личными воспоминаниями Данте Корнели, первым коммунистом, подошедшим к этой деликатной теме с некоторой сдержанностью был Ромоло Каккавалле. Но только тогда, когда было возможно, используя короткий период растерянности, последовавший за крушением СССР, из архивов КГБ получить десятки досье заключенных, стало возможным иначе оценить мучительные судьбы сотен итальянских революционеров, жертв сталинских репрессий. Практически из примерно семисот политических эмигрантов, бежавших в СССР от фашизма, около 650 перенесли пытки, были заключены в тюрьму и отправлены в сибирские лагеря и около 500 умерли после нечеловеческих страданий. Точное их число из-за того, что царила строгая секретность и многие эмигранты были нелегальными, мы быть может никогда не узнаем. Фактом остается то, что на данный момент удалось составить список из 630 человек.

Подавляющее большинство жертв не были, как это сказано в смертных приговорах, ни троцкистами, ни бордиганцами, ни контрреволюционерами. Они просто были идеалистами и имели смелость усомниться в правильности методов, применявшихся системой, которую они считали самой справедливой и самой человечной в мире. Настоящие идеалисты, которые без заговоров, даже не представляя себе возможность организации оппозиции советской системе, оказывались неожиданно и неизбежно на стороне Эмилио Гварнаскелли в защите идеалов свободы и справедливости: Джузеппе Римола, Эдмондо Пелузо, Франческо Грецци, Бруно Росси и Винченцо Баккала. Несмотря на жуткое психологическое давление, несмотря на пытки, на нечеловеческие лишения, эти коммунистические борцы, более искренние и благородные, чем другие, вынесли обращение еще хуже, чем то, которому подвергались «враги народа».

Сначала они были забрызганы грязью, погребены под массой фальшивых и оскорбительных обвинений, затем были отправлены в те лагеря, где условия содержания были наихудшими, или же были убиты, и наконец, попытались всеми способами сделать так, чтобы память о них исчезла навсегда.

Судьба Эмилио Гварнаскелли не стала бы никогда известна, если бы одна слабая женщина, которая пережила с ним необычайные моменты любви в лагере Пинега, не боролась всю жизнь, чтобы сохранить о нем память. Нет сведений о том, что в настоящий момент вышло из подвалов Лубянки или из мириадов других периферийных архивов КГБ, полное лагерное досье Эмилио Гварнаскелли. О его смелости, о его изматывающей борьбе с тюремщиками, о необычайной его верности своим товарищам по партии, даже тем, кто не поколебался послать его на смерть, имеются немногие, но замечательные свидетельства, которые чудесным образом вышли на свет из лагерных досье Пелузо, Баккала, Клементины Перроне Пароди, Джузеппе Римола и других.

Сравнение допросов Эмилио Гварнаскелли и подавляющего большинства других итальянских коммунистов, прошедших через тиски сталинских тюремщиков, очень важно, потому что из них становится совершенно ясно различие в поведении. В то время как Эмилио Гварнаскелли ограничивается тем, что называет имена лишь тех «кого не мог не знать» и тех, кто находится в безопасности во Франции или в Испании, другие, жертвы страха или обмана, дают длинные списки, которые используются НКВД для новых арестов и пыток. Нечто вроде трагической цепочки Сант'Антонио.

Как характерный пример допросов итальянских коммунистов, арестованных в СССР в тридцатые годы, можно привести допросы по «делу №266 Сегалино Бруно в соответствии со статьей 38, пункт 6 советского уголовного кодекса». Речь идет не о том, чтобы навязать Сегалино вину, которой у него нет (кстати он был одним из тех, кто более всего страдал в сибирских лагерях), а о том, чтобы объяснить мрачный механизм этих допросов.

После обычных вопросов о имени, фамилии, даты рождения (1905 год, Венеция), национальности и гражданстве, следует неизбежно «иной» вопрос: «назовите имена итальянцев, проживающих в СССР, с которыми вы имели связи». Вопрос, на первый взгляд невинный, но который на самом деле оказывается очень коварным. Подавляющее большинство допрашиваемых давали длинные списки имен, среди которых агенты Сталина выявляли новых потенциальных врагов народа. Достаточно посмотреть список данный Сегалино. Все кончили тем, что оказались в лапах НКВД и большинство было расстреляно или нашло страшную смерть в сталинских лагерях.

Ответы же Эмилио Гварнаскелли очень уклончивы. Он все время отрицает главные обвинения (контрреволюционер, троцкист, враг народа) и признает только, чтобы смягчить агрессивность тюремщиков, мелкие житейские грехи. Эмилио также очень осторожен и избегает называть имена потенциальных сообщников. Когда совершенно невозможно этого избежать он либо называет товарища уже арестованного, либо известных деятелей, находящихся вне СССР, как например Этьена Мануэля Монача, будущего французского посла в Пекине. Несмотря на пытки, на страдания, несмотря на сознание, что он покинут руководителями ИКП Эмилио Гварнаскелли никогда не отказывается от солидарности с товарищами по несчастью. Его имя достойно того, чтобы быть в числе Праведников Гулага.

(Прилагаются документы в переводе с русского на итальянский).

Москва, октябрь 2003.

(Перевод Юрия Мальцева)

Виктор ШМЫРОВ
Viktor Šmyrov
Место памяти о ГУЛАГе – лагерь «Пермь-36»

Еще не очень давно и далеко ушли те времена, когда лагеря стояли в России местами чаще, чем деревни. Но материальных свидетельств жестокой истории ГУЛАГа почти совсем не осталось. ГУЛАГ был деревянным. Лагеря в основном строились как сооружения временные – их ставили для выполнения какой-нибудь конкретной работы: заготовить - вырубить и вывезти - участок леса, отсыпать дорожное полотно, построить завод, возвести плотину, Когда работа выполнялась, лагерь уходил на новое место, для новой работы, а брошенные лагерные постройки быстро ветшали и догнивали. Да и строили-то лагеря сами заключенные, строили спешно, подневольно и небрежно, не стараясь поставить накрепко и на века, потому и разрушались брошенные лагеря быстро.

Большая часть лагерей сталинского ГУЛАГа была оставлена после его смерти, амнистий, помилований и реабилитаций 1953 – 1956 годов. Современная лагерная система страны хоть и связна с ГУЛАГом генетически, но все же весьма от него удалена - даже те немногие лагеря, что стоят на тех же местах, где были заведены еще при Сталине, очень мало напоминают старые сталинские лагеря, – они постепенно изменили свой внешний облик. Потому практически и не сохранились в России наиболее очевидные и красноречивые свидетельства массового политического террора – лагеря ГУЛАГа. Лишь в стылом безлюдье Колымы стоят пронизываемые всеми ветрами развалины старых лагерей, да в тайге Сибири и Севера можно еще набрести на развалы дотлевающих барачных стен и полусгнившие упавшие вышки лагерей, брошенных в середине пятидесятых годов.

Шестая лесная исправительно-трудовая колония (ИТК-6) Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) Молотовского (Пермского) Управления НКВД (УНКВД) – (ИТК-6 УИТЛК Молотовского УНКВД) имела особую историю и по этому сохранилась до наших дней.

Колония была организована в 1943 г.[1] Первоначально колония базировалась в районе станции Селянка Чусовского района Пермской области. После вырубки первоначально отведенного колонии лесосечного фонда, в сентябре 1946 г. она была переведена на новое, нынешнее ее место – вблизи деревни Кучино.[2]

При выборе дислокации головного участка ИТК-6 определяющими были производственные задачи. Новое место обладало одним важным преимуществом – невдалеке был удобная территория для устройства плотбища и нижнего склада.[3] Берег здесь образовывал широкую первую надпойменную террасу, на которой было удобно складировать непосредственно возле реки большое количество леса и которая не заливалась водой в обычные весенние паводки. Для жизни заключенных место было малопригодным. С одной стороны лагеря – болото, с другой – река Чусовая, поэтому на территории зоны было сыро, после дождей образовывались большие лужи. В лагере изначально были устроены «жердевые тропы к баракам, кухням и вахте».[4]

[1] Государственный Архив по делам политических репрессий Пермской области (ГОПАПО). Ф. 2464. Оп. 1. Д. 22. Л. 70.
[2] Архив Информационного центра Главного управления Внутренних дел Пермской области (ИЦ ГУВД). Ф. 58. Оп. 2. Д. 2. Л. 192.
[3] Нижним складом в лесозаготовительных предприятиях называется расположенный на берегу реки склад, на который в течение всего года свозится с делянок лес и откуда он молевым сплавом или в плотах отправляется потребителям. Плотбище – место вязки плотов, устраиваемое, как правило, на неглубоком спокойном плесе вблизи невысокого берега.
[4] Архив ИЦ ГУВД. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2. Л. 199.

Кроме головной зоны (участка) в дер. Кучино в состав ИТК-6 входили еще три лесозаготовительных участка, один сплавной, три складских и одна перевалочная база, расположенные в различных местах Чусовского района и в г. Молотове.[5]

Новый головной лагерь планировался на содержание 1000 заключенных. (В 1944 г. в старом лагере было 800 заключенных, что составляло 70% от общего запланированного количества з/к.) Отчет лагеря за 1952 г. зафиксировал в нем 4 барака на 250 заключенных каждый, штрафной изолятор, медсанчасть, баню. Лагерь был обнесен забором из колючей проволоки с вышками по углам. Видимо, все основные постройки лагеря были выстроены в момент его основания в 1946 г. – к 1952 г. износ бараков составил уже 20 %.[6]

Высокая степень износа лагерных построек объясняется не только тем, что лагерь был выстроен на болотистом месте, и деревянные конструкции быстро гнили, но еще и тем, что практически все лагеря эпохи ГУЛАГа строились как временные сооружения. Лагеря и лагерные отделения (участки) создавали для выполнения конкретных хозяйственных задач – заготовки леса, строительства промышленного объекта, железной или шоссейной дороги и т.д. После выполнения задания лагерь (лагерное отделение, участок) переносился на новое место. Поэтому лагерные постройки сооружались, как правило, из сырого и некондиционного леса, строили их не специалисты-строители, а сами заключенные, не обладавшие достаточной квалификацией, навыками и опытом.

Головная зона ИТК-6 (с 1946 г. стала именоваться Участком №1 ИТК-6) [7] в дер. Кучино, видимо, изначально не имела планового количества «контингента». В 1949 г. на участке № 1 содержалось лишь 279 заключенных.[8] Поэтому, по описанию 1952 г., один из бараков был приспособлен под столовую с кухней.[9] Еще один из бараков в 1948 г. начал использоваться в качестве режимного (штрафного), в который направляли нарушителей дисциплины, отказчиков от работы и заключенных, регулярно не выполнявших производственных норм.[10]

Небольшое количество заключенных в этой зоне объясняется тем, что лес вокруг был быстро вырублен. Уже летом 1947 г. для этапирования заключенных на делянки и обратно в распорядке дня предусматривалось по полтора часа времени.[11] Обычно после того, как делянки удалялись от зоны, она сама переносилась на новое место, ближе к месту работы. В случае с Кучинской зоной этого не произошло по той простой причине, что рядом с ней находилось самое удобное место для нижнего склада.

В связи с отдаленностью лесосечного фонда от нижнего склада уже в 1947 г. в головной зоне появились 2 трактора для трелевки леса. В 1948 г. колония стала официально именоваться «Механизированной лесной ИТК-6»[12]. Она стала первым и на тот период единственным механизированным лагерем на территории Пермской области. К концу 1948 г. она имела уже весьма солидный автопарк: 4 трактора и 2 автомобиля «ЗиС». Для обслуживания и ремонта техники рядом с зоной были выстроены ремонтно-механические мастерские.[13]

В дальнейшем, с развитием ремонтно-механических мастерских, устройством кузницы, строительством гаражей, организацией специальной службы для обеспечения функционирования техники и руководства мастерскими (кроме механических мастерских в рабочей зоне были также портновская, сапожная и столярная мастерские), все эти службы были включены в состав особой рабочей зоны, примыкавшей непосредственно к зоне жилой. Обе зоны были обнесены общим забором с вышками по углам и разделены специальным разделительным забором (см. рис. 3.). Окончательное формирование рабочей зоны, вероятно, произошло в течение 1949 г. Во всяком случае, вахту в ней предполагалось построить в октябре именно этого года.[14]

В 1953 г., после смерти Сталина, большое количество лагерей и колоний было ликвидировано. Только по амнистии 1953 г. на свободу вышло более 1 млн. заключенных. Многие лесные лагеря, подобные ИТК-6, были закрыты. Этот

---

[5] Там же. Л. 201.
[6] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1с. Д. 536. Л.59.
[7] Архив ИЦ ГУВД. Ф. 2. Оп. 2. Д. 2. Л. 207.
[8] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 120. Л. 49.
[9] ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1с. Д. 536. Л.58 об.
[10] Архив ИЦ ГУВД. Ф. 58. Оп. 2. Д. 3. Л. 15-16.
[11] Там же. Д. 2. Л. 261.
[12] Там же. Д.2. Л. 235; Д. 3. Л. 31.
[13] Архив ИЦ ГУВД. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2.. Л. 294.
[14] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 120. Л. 49-50.

же лагерь сохранился, видимо, потому, прежде всего, что имел, в отличие от других подобных ему лагерей, большую материальную базу и развитую инфраструктуру.

При реорганизации пенитенциарной системы в 1953 г. лагерь был преобразован из ИТК-6 в «Лагерное отделение №6» УИТЛК Молотовского УМВД. Молотовскому УИТЛК в это же время был присвоен код УТ-389. Кодированным адресом лаготделения, таким образом, стал шифр УТ-389/6.

В это же время лагерь был перепрофилирован для содержания особого контингента – бывших сотрудников госбезопасности, прокуратуры, милиции, судов и лагерей, осужденных по обвинению в организации и проведении незаконных репрессий. На 1 июля 1954 г. в лагерном отделении № 6 таковых был уже почти полный комплект для 2 лагерных бараков – 469 человек.[15] В основном это были старшие офицеры – подполковники, полковники и даже генералы бывшего НКВД и МГБ, а также равные им по рангам сотрудники других карательных органов. В дальнейшем в лагерь стали направляться сотрудники правоохранительных органов, осужденные по обычным уголовным и «бытовым» статьям – за взяточничество, казнокрадство, служебные преступления и проч.

Поскольку часть нового контингента по роду своей прежней деятельности хорошо знала систему охраны лагерей, заградительные и охранные системы лагеря были реконструированы и усилены. Видимо, в это же время один из бараков был приспособлен под лагерный клуб и штабные помещения, еще в одном оставались столовая с кухней и продуктовым складом. Заключенные занимали 2 барака.

«Спецконтингенту» в лагере были созданы совершенно особые условия: туалеты и умывальники были устроены в особых помещениях непосредственно в бараках, заключенных кормили уже не ржавой селедкой, а горбушей. Когда зав. складом вместо горбуши выделил для столовой заключенных треску, началось расследование «незаконной операции».[16] В 1961 г. в зоне была сооружена телевизионная вышка и установлен телевизор, которого не было ни в «вольном» клубе, ни у большинства офицеров лагеря. В мае и июне того же года в лагере было показано 18 кинокартин, в том числе 9 зарубежных, тогда как обычным заключенным положено 2-3 картины в месяц.[17] Положение заключенных спецлагеря было местами лучше, чем положение офицеров лагеря. В лагерном поселке не было ни детского садика, ни школы. В конце 1961 г. офицеры лагеря решились на чрезвычайную акцию - почти весь офицерский состав подал заявления на увольнение.[18]

Лесозаготовки в лагере резко сократились. И не только потому, что лесосечный фонд был выработан и в ближайших окрестностях лагеря, и на отдаленных делянках, но и потому, что значительная часть нового «контингента» к работе в лесу была приспособлена мало. И приспосабливать бывших полковников к лесоповалу не стали. Было принято решение развивать промышленное производство. В 1957 г. на территории нижнего склада, где еще прежде была установлена пилорама, выстроено новое здание цеха деревообработки, всего в производство колонии было вложено около 3 млн. руб. [19] В том же году в лагерном поселке выстроены кирпичные 2-х и 8-ми квартирные дома для офицеров и вольнонаемного персонала лаготделения.

Лесозаготовки для сплава к началу 60-х гг. прекратились полностью. Лагерь заготавливал лес преимущественно для собственной переработки. В 1961 – 1964 гг. здание цеха лесопереработки на территории бывшего нижнего склада неоднократно реконструировалось и расширялось, включая новые производства (тарная дощечка, дрань, упаковка и др.) В таком состоянии лагерь функционировал до начала 70-х годов.

---

[15] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 198. Л. 60. (250 заключенных на барак – гулаговская «норма» еще с Соловецких времен. По нормам послевоенного времени на одного заключенного полагалось не менее 2 м^2. В Кучинском отделении ИТК-6 на 1 заключенного приходилось 1,9 м^2. (ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1с. Д. 536. Л.59.)

[16] Архив ИЦ ГУВД. Ф. 58. Оп. 2. Д. 11. Л. 42.

[17] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 286. Л. 74. (Ср. с положением заключенных в лагере в 1949 г.: «Все здания требуют остекленения. В жилых секциях установлены нары вагонного типа, тумбочек нет, матрасами и одеялами заключенные обеспечены на 30%, простыней и подушек нет. Умывальников всего по два соска на барак. В столовых отсутствуют кружки, а в бане – тазики для мытья»). Там же. Д. 120. Л. 49-50.

[18] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 282. Л. 69.

[19] ГОПАПО. Ф. 2464. Оп. 1. Д. 243. Л. 30; Д. 253. Л. 74.

С конца 50-х годов и до начала 70-х политические заключенные[20] наряду с другими «особо опасными государственными преступниками»[21] содержались в особых лагерях в Мордовской АССР (Управление «Дубровлаг» – ЖХ-385).

Во второй половины 60-х гг. в СССР возникло чрезвычайно активное правозащитное движение. В конце 60-х гг. власти развернули целенаправленную борьбу с правозащитниками. Осужденные к заключению участники правозащитных движений и акций стали направляться в мордовские политлагеря. Но и в заключении они продолжали свою деятельность – выявляли факты нарушения прав человека и предавали их гласности. Информация о положении в мордовских политлагерях с конца 60-х годов стала регулярно распространяться в правозащитном самиздате, зарубежных публикациях и радиопередачах. Мир узнал о существовании СССР политлагерей и политзаключенных, что весьма мешало руководству страны, пытавшемуся проводить политику «разрядки».

Поэтому, когда власти стали готовиться к решительному искоренению инакомыслия в стране, они озаботились максимальной изоляцией наиболее активной части политзаключенных и правозащитников. В мордовских лагерях осуществить такую изоляцию по ряду причин оказалось невозможно. Вот почему при выборе места дислокации новых политлагерей внимание было обращено к специальному лагерю в Кучино, имевшему наиболее развитую систему охраны.

В 1972 г. в лагере УТ-389/6 был разобран один из бараков постройки 40-х гг., и на его месте выстроено кирпичное здание, в котором разместились лагерный штаб, клубное помещение и библиотека. Кроме того, в жилой зоне лагеря был построен туалет, изготовлены новые бетонные дорожки. Заключенные – бывшие сотрудники правоохранительных органов – постепенно были переведены в нижнетагильский лагерь для осужденных сотрудников правоохранительных органов (УЩ-349/13). 16 июня
1972 г. начальник УВД Пермского облисполкома подписал приказ о ликвидации учреждения УТ – 389/6. Последний приказ по ИТК-6 подписан 30 июня. Часть сотрудников лагеря была уволена.

13 июля 1972 г. в лагерь поступили новые заключенные – сюда прибыл большой этап из мордовских политлагерей. Бывшему ИТК-6 УИТЛК Молотовского УМВД
(а с 1953 г. - лагерному отделению УТ-389/6) было присвоено новое наименование: Учреждение ВС-389/36.[22] Началась новая, пятнадцатилетняя эпоха в истории лагеря – эпоха политлагеря «Пермь-36».

В системе политлагерей СССР[23] лагерь «Пермь-36» занимал особое место. Он отличался от других наиболее жестким режимом. Именно в нем содержались те, кого власти страны относили к своим самым опасным противникам – лидеры национально-освободительных движений республик бывшего СССР, а также активисты правозащитного движения и члены хельсинкских групп.[24]

---

[20] Официально заключенных с таким статусом в СССР не было с 1936 г., под политзаключенными мы понимаем, согласно мировой практике, репрессированных за свои политические убеждения – в частности осужденных по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде».

[21] Уголовное законодательство 60-х – 80-х гг. относило к «особо опасным государственным преступлениям»: измену родине, шпионаж, террористический акт, террористический акт против представителей иностранного государства, диверсию, вредительство, антисоветскую агитацию и пропаганду, пропаганду войны и организационную деятельность, направленную к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации (ст. 64 – 72 УК РСФСР 1960 г. и аналогичные статьи УК бывших «союзных республик» СССР).

[22] Под кодом «ВС» подразумевалось новое лагерное управление в системе территориальных управлений ГУИН (Главное управление исполнения наказаний) СССР. Код «389» – соответствовал традиционному в ГУИНе обозначению Пермской области. «36» - новый порядковый номер лагеря в общем списке лагерей и колоний ГУИН Пермской области.

[23] В число политических лагерей СССР в 70-х – 80-х гг. входили мордовские лагеря ЖХ-385/1, ЖХ-385/3, ЖХ-385/7, ЖХ-385/11 и пермские лагеря ВС-389/35, ВС-389/36, ВС-389/37. Кроме лагерей в репрессивную политическую систему СССР 70-х – 80-х гг. входили владимирская и чистопольская (УЭ-148) тюрьмы, а также 13 специальных психиатрических больниц (СПБ) МВД.

[24] Первая группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (Московская Хельсинкская группа) возникла в мае 1976 г. В октябре того же года было объявлено о создании Украинской Хельсинской группы, в

В январе 1980 г. было открыто отделение особого режима, второй участок учреждения ВС-389/36.[25] Прежде подобное отделение существовало в Мордовии. Но в нем содержались не только политические заключенные, но и уголовные. Кроме того, в мордовском участке особого режима заключенных запирали в камеры лишь на ночь, а днем все вместе работали на общем производстве, что давало возможность общения и организации. Заключенные особого режима в Мордовии сумели даже образовать прямо в лагере хельсинкскую группу и передать на волю выработанные ей документы.

Отделение особого режима в лагере «Пермь-36» стало по сути первым и единственным в стране чисто политическим лагерем особого режима. Властям удалось добиться в нем почти полной изоляции заключенных в круглосуточно запертых в жилых и рабочих камерах. Заключенные годами (обычный срок для политзаключенных особого режима – 10 лет) не видели никого, кроме немногочисленных сокамерников, одной и той же охраны. Первую посылку из дома они могли получить после отбытия половины срока – через 5 лет. Заключенные носили особую униформу из полосатой «каторжной» ткани. Окна камер были перекрыты либо специальными щитами, либо поставленными вплотную к ним заборами. На прогулку заключенных выводили один раз в сутки (45 минут) в особые прогулочные дворики, обитые железом и перекрытые сверху плетенкой из колючей проволоки.

Заключенными этого отделения были многие активисты Хельсинкского движения. В течение только одного года – с сентября 1984 по сентябрь 1985 г. – в отделении погибли 4 члена Украинской Хельсинкской группы: Юрий Литвин, Валерий Марченко, Василь Стус, Алекса Тихий.

Под отделение особого режима был приспособлен цех лесопереработки на территории бывшего нижнего склада. После ликвидации спецлагеря это здание какое-то время использовалось для размещения роты охраны, но больше стояло заброшенным –политзаключенных ни в коем случае нельзя было выводить за пределы собственно лагерной зоны. Все они работали исключительно на территории промзоны, заключенной вместе с жилой зоной в один периметр охранных сооружений.

Старое здание цеха было реконструировано. Большая часть его была разбита на небольшие камеры, рассчитанные на содержание 2 – 4 (максимум до 6) заключенных, во все камеры была проведена канализация, смонтировано центральное отопление. И то, и другое было продиктовано отнюдь не гуманными соображениями – в мордовской особой зоне в камерах были «параши» и печное отопление, а это создавало возможность заключенным для дополнительных контактов. В Кучино такой возможности они были лишены совершенно.

Это отделение получило кодовое сокращение ВС-389/36-2, в отличие от прежде существовавшего отделения строгого режима, получившего новое кодовое сокращение ВС-389/36-1.[26]

В таком состоянии лагерь существовал до самого его закрытия в 1988 г. Работы по созданию в бывшем лагере музея начались в 1994 г. по инициативе активистов Международного историко-просветительского и благотворительного общества «Мемориал».

В настоящее время в музее имеется два экспозиционных отдела – «Участок особого режима» и «Участок строгого режима» - соответствующие двум отделениям бывшего лагеря, двум отдельно друг от друга расположенным «зонам», каждая из которых имела свою территорию, свои заборы и вышки, свою охрану.

ноябре – Литовской. В 1977 г. были образованы Грузинская и Армянская Хельсинкская группы. Все хельсинкские группы были открытыми общественными ассоциациями. Начиная с 1977 г. власти жестоко и последовательно преследовали участников Хельсинского движения.

[25] Особый режим – высший, четвертый из режимов лагерного содержания – предусматривался для «особо опасных рецидивистов», к числу которых уголовное законодательство относило преступников, прежде уже совершавших самые тяжкие преступления (убийства, разбой и др.) и снова их совершивших. К этим преступникам законодательство приравнивало и «особо опасных государственных преступников», уже отбывших наказание по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде» и осужденных за это же вновь. Особый режим отличается от других прежде всего камерным, как в тюрьмах, содержанием. Архив ИЦ ГУВД. Ф. 58. Оп. 2. Д. 33. Л. 11.

[26] Для особо опасных государственных преступников уголовное законодательство 60-х – 80-х гг. предусматривало лишь 2 из 4 режимов лагерного содержания – строгий и особый. Все лагеря для содержания этой категории заключенных, кроме отделения особого режима, были лагерями строгого режима.

На участке особого режима посетители музея могут осмотреть жилые и рабочие камеры, в которых до декабря 1987 года содержались «особо опасные» политические «рецидивисты», вспомогательные и подсобные помещения, прогулочные дворики, многорядные заборы, караульные вышки и другие охранные сооружения лагеря; пройти тем маршрутом, который совершал каждый заключенный, поступавший в этот лагерь – от внешних ворот и охраны контрольно-пропускного пункта до дверей камеры; увидеть и понять коловращение ежедневно повторявшегося на протяжение многих и долгих лет скупого и скудного быта, в который были погружены заключенные; ощутить хотя бы в первом приближении ту жесточайшую и мучительную изоляцию, в которой на протяжении тех же многих и долгих лет заключенный не мог видеть никого, кроме своих немногочисленных сокамерников да всегда одних и тех же контролеров внутренней охраны. Здесь же, во вспомогательных помещениях бывшего лагеря, размещены экспозиции и выставки, посвященные заключенным этого отделения, их жизни и борьбе с режимом.

Участок строгого режима – основная территория лагеря, именно та его часть, которая возникла в 1946 году, продолжает восстанавливаться и музеефицироваться. На нем располагалось более двух десятков различных построек. Все они находятся в разной степени сохранности: некоторые были полностью разрушены еще до того, как начал создаваться музей и представлены сейчас руинами, другие обветшали настолько, что практически не подлежат реставрации, третьи ремонтируются и восстанавливаются или ждут своей очереди.

Среди них особое значение имеют постройки, стоящие с момента основания лагеря: один из жилых бараков, здания производственных мастерских и вспомогательных служб. Насколько нам известно, это единственные лагерные постройки в стране, сохранившиеся в целостности и едином комплексе от некогда громадного сталинского ГУЛАГа.

Важным направлением работы музея является научно-исследовательская деятельность. Музей начал создаваться еще тогда, когда сами проблемы истории политических репрессий, лагерей, ГУЛАГа были практически не изучены, а со второй половины восьмидесятых годов эти темы были в центре внимания более публицистики, чем научных исследований, и до того времени по понятным причинам не исследовались вовсе.

С целью выявления круга ученых, занявшихся этой проблематикой, установления с ними деловых и научных связей, координации их деятельности, начиная с 1992 года Пермское отделение общества «Мемориал», а с 1994 года – Мемориальный музей истории политических репрессий и тоталитаризма, ежегодно проводили научно-практические конференции по тематике тоталитарной и репрессивной истории, в работе которых приняли участие десятки исследователей из разных регионов страны от Прибалтики до Магадана и из-за рубежа.

К настоящему времени музей имеет прочные партнерские отношения со всеми ведущими исследовательскими центрами и отдельными исследователями страны и ближнего зарубежья, которые занимаются близкими нам темами. С наиболее авторитетными из них – научно-информационным и просветительским центром (НИПЦ) Международного «Мемориала» - музей осуществляет совместные исследовательские и просветительские проекты; сотрудники НИПЦ участвуют в разработке как концептуальных разработок Мемориального музея, так и в изучении конкретных тем, интересующих музей, выявлении и сборе материалов по ним.

В настоящее время научные сотрудники музея заняты разработкой таких тем, как: «Политические репрессии и пенитенциарная система на Урале с первых лет советской власти и до создания ГУЛАГа», «Лагеря и колонии эпохи ГУЛАГа на Урале», «Репрессии на Урале в 30-х – 50-х годах», «Пермские политлагеря» - по каждой из тем выявляются и собираются экспонаты и материалы, создаются компьютерные базы данных. По нескольким разным направлениям производится сбор материалов по программе «Устная история».

Научно-исследовательская группа музея совместно с ведущими коллегами из НИПЦ Международного «Мемориала», а также исследователями и активистами «Мемориалов» других регионов страны, учеными других исследовательских центров и групп, разрабатывают концепцию генеральной экспозиции музея, которую нужно будет начинать строить после окончания работ по реставрации и восстановлению построек и сооружений участка строгого режима.

Эта экспозиции разместится на площади свыше 2 тысяч квадратных метров и должна будет отражать основное содержание тоталитарной и репрессивной политики в стране с 1917 года. Предполагается, что она будет посвящена положению человека в тоталитарном мире - человеку не только брошенному в концлагерь, казненному или умерщвленному государством каким-либо другим способом, но и тому молчаливому большинству населения

страны, которое, не попав под жернова непосредственных и явных репрессии, отдало служению этому государству (а чаще - подневольной работе на него) всю свою энергию, силы, энтузиазм, отдало ему свою жизнь.

Наш музей должен быть не просто иллюстрацией репрессивной истории, он должен стать музеем трагедии. Трагедии судеб десятков миллионов жертв репрессий и ГУЛАГа. Трагедии жизни сотен миллионов человек, живших в СССР, а потом и во всем «социалистическом лагере». Трагедии воплощения идеалов самого справедливого общества в самый бесчеловечный образ жизни громадной страны за всю историю человечества.

На фоне этой величайшей трагедии должны найти свое место и отражение в генеральных экспозициях музея сила духа и сопротивление, которое никогда, - то явно видимое, то скрытое, - не прекращалось в стране, и, в конечном счете, привело к окончательному краху коммунистического тоталитаризма в СССР.

Эти мотивы уже сейчас являются ведущими в просветительской деятельности, которую начинает разворачивать музей. Ориентируясь на самые широкие слои населения, в своей просветительской деятельности музей делает особый упор на работу с молодежью. На нее, более чем на других, ориентированы музейные издания, выставки, экскурсии, а также специальные школьные проекты музея, такие как «Уроки истории в музее ГУЛАГА».

К настоящему времени музей получил прочную известность и авторитет в международном музейном сообществе. Выставки музея экспонируются не только в разных городах Российской Федерации, включая ведущие исторические музеи России, но и за рубежом.

Один из зарубежных партнеров нашего музея, хорошо знающий разные аспекты его деятельности, миссию музея сформулировал следующим образом: «Современная Россия хотела бы забыть ГУЛАГ, а вы не даете его забыть».

Анатолий Разумов
Anatolij Razumov

Ленинградский мартиролог – народная память о погибших в годы Большого террора на Северо-западе России

к истории террора

1937 год был для СССР юбилейным. Прошло двадцать лет со дня революции. Крестьяне не получили обещанную землю, рабочие не получили фабрики и заводы, народ не получил мира и спокойствия. Государственный террор стал основным методом решения вопросов. К 1937 году думать о вооруженном или даже сколько-нибудь организованном сопротивлении не приходилось. Карательные органы работали слаженно, устрашающие судебные процессы стали нормой. Все сознательные противники советской власти немедленно выявлялись. Любое вольномыслие трактовалось как «контрреволюционная деятельность» и подлежало уголовному преследованию. Многие арестовывались регулярно (филолог Владимир Шкловский был арестован 9 раз, пока его не расстреляли).

Закрепить победу режима должны были новая конституция и выборы 1937 года, которые впервые объявлялись всеобщими, тайными и равными. Подготовка к выборам сопровождалась громкой словесной кампанией. Злобные призывы к борьбе с «врагами народа» на газетных страницах перемежались и совпадали с призывами к борьбе с вредными насекомыми. Но главное, 2 июля 1937 г. политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение провести до выборов решающую террористическую кампанию. Всех неблагонадежных (в их числе и отбывающих наказание) осудить после упрощенного следствия: «по первой категории» — расстрелять, «по второй категории» — отправить в лагеря и тюрьмы. Москва запросила цифры учтенных неблагонадежных. На их основе был разработан оперативный приказ НКВД. Согласно приказу создавались внесудебные «тройки» для репрессирования «бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников» и утверждался план для регионов.

Одновременно разворачивалась операция НКВД против «шпионов, диверсантов, вредителей и террористов». Их имена списками («альбомами») передавались на рассмотрение внесудебных «двоек».

Предстояло убить очень много людей, поэтому во всех административных центрах СССР решался вопрос, где и как их хоронить. Новые могильники создавались на землях, принадлежащих НКВД, по единому плану — в отдалении от городов до 20 километров, в скрытных местах, как правило, в лесу, огражденные высоким глухим забором и охраняемые. Так возникли известные ныне места Бутово и Коммунарка (под Москвой), Куропаты (под Минском), Быковня (под Киевом), Медное (под Тверью), Катынь (под Смоленском), Левашово (под Санкт-Петербургом) и многие другие. При лагерных столицах стали массово использовать имеющиеся могильники, такие как Сандармох (под Медвежьегорском).

5 августа 1937 года началась террористическая кампания. К годовщине Сталинской конституции и выборам планы по арестам и расстрелам были перевыполнены. Кровь лилась так обильно, что палачи не могли остановиться полтора года.

В 1937 году в состав Ленинградской области входили территории бывших Новгородской, Псковской, Санкт-Петербургской, части Олонецкой и Архангельской губерний России. За время

террористической кампании 1937–1938 годов в Ленинграде и по распоряжениям из Ленинграда на Северо-Западе России были убиты более 40 000 человек. Точное число их неизвестно, потому что архивы до конца не исследованы.

к истории обмана

О масштабах убийств во время Большого террора невозможно было догадываться. В прессе публиковались немногие имена осужденных на показательных процессах. Остальное оставалось тайной. Сотни тысяч расстрелянных как будто пропали без вести — устно сообщали, что они находятся в концентрационных лагерях без права переписки. Долгие годы их родные и близкие добивались свиданий, передач, сведений о местонахождении пропавших или смерти.

После Сталина ложь о расстрелянных обрела иную форму. В 1955–1963 годах выдавали свидетельства о смерти с вымышленными причинами (абсцесс печени, брюшной тиф, сепсис, возвратный тиф и др.), а даты смерти разносились на годы войны 1941–1945. В редких случаях, когда заявители добивались указания даты расстрела, вместо причины смерти ставился прочерк. С 1964 года даты смерти указывались подлинные, но прочерк вместо причины смерти и места смерти ставился вплоть до 1989 года. Полвека обмана. Семь десятилетий Большого обмана.

правда и память

Конечно, многое и многим стало понятно во время «оттепели». Но должно было явиться монументальное опровержение лжи. После издания Александром Солженицыным «Архипелага ГУЛАГ» ложь была обречена.

Подвижники и время сделали свое дело.

Но только в 1989 году началась гласная реабилитация репрессированных. Их имена впервые обнародовали. В конце 1980-х – начале 1990-х годов были обнаружены и признаны крупнейшие места массовых расстрелов и захоронений. Появилась возможность работы с делами репрессированных в архивах. Началась подготовка многочисленных Книг памяти жертв политических репрессий. Эпос наполнялся именами. Составители Книг памяти цитировали «Архипелаг ГУЛАГ» и «Реквием» Анны Ахматовой.

В последние несколько лет в России и других частях бывшего СССР развивается проект электронной Книги памяти «Возвращенные имена». Открыт такой сайт и центром при Российской национальной библиотеке. На нем будут представлены имена всех репрессированных на Северо-Западе России — не только расстрелянных, не только в годы Большого террора. Так же, как и печатный вариант, электронная Книга памяти должна стать народной, многоголосой. Портреты, воспоминания, документы и комментарии к ним станут ее значительными разделами.

мартиролог и кладбище

Работая над Книгой памяти «Ленинградский мартиролог», я много лет изучаю архивно-следственные дела, прочитал тысячи протоколов допросов, предписаний на расстрел и актов о приведении приговоров в исполнение. 559 списков на расстрел и отправку в лагеря и тюрьмы было составлено в Ленинградском управлении НКВД во время Большого террора. 82 списка польских шпионов, 66 списков эстонских шпионов, 48 списков латвийских шпионов, 46 списков финских шпионов, 36 списков немецких шпионов, 20 списков японских шпионов, списки повстанческих, церковных, фашистских и всевозможных других контрреволюционных организаций.

Во «враги народа» попали крестьяне, рабочие, учителя, студенты, военные, дворники, сапожники, священники, железнодорожники, пенсионеры, безработные — представители всех слоев населения, национальностей, вероисповеданий и убеждений. Стратиграфия сопоставима с данными переписи населения. В каждом населенном пункте, на каждой улице, на каждом предприятии — всюду «враги».

Погибшие встают во весь рост своей судьбы. Шпионами, террористами и повстанцами они не были. Это обычные люди. Они жили, думали и говорили неосторожно. Занимались своим делом. Поддерживали отношения с родными за рубежом. Кто-то из них пытался противостоять власти, а кто-то не мог противопоставить ничего кроме собственной совести и личного счастья. Как ни странно, их сердца бились вольно. Среди них — и праведники.

С чем сопоставить воздействие изученных документов?

В одном из архивов я плакал над одиннадцатитомным делом бывших монахинь разоренного монастыря. Их арестовали для выполнения плана — за счет женщин легче. Никаких оснований для ареста кроме того, что они верили в Бога и могли оказать нежелательное влияние на знакомых во время избирательной кампании, не было. Следователи, допрашивавшие монахинь, впоследствии рассказали о применявшихся ими методах дознания. Тем, кто отказывался подписывать готовые заранее протоколы допросов, надевали на голову мешок, сбивали с ног и били до бесчувственного состояния. Затем снимали мешок, подтаскивали обмякшие тела к столу, вкладывали ручку в руку и водили пером по бумаге. 50 монахинь и послушниц привезли для казни в Ленинград. А их игумению расстреляли на месте — она была больна и едва могла передвигаться.

С чем сопоставить впечатление от раскопок одного из наиболее крупных мест захоронений расстрелянных в СССР — Бутовского полигона под Москвой? Мы исследовали часть погребального рва, вырытого экскаватором, видимо, в 1937 году. На глубине трех метров штабелем в несколько слоев были уложены человеческие останки. Из-под останков на расстоянии точно метр друг от друга выглядывали деревянные колья. Мы почти не нашли ожидаемых пулевых отверстий в черепах. Экспертиза показала, что для расстрела применялось автоматическое оружие. Зато на костях были найдены повреждения, нанесенные тупым предметом. Видимо, расстрелянных, подающих признаки жизни, добивали. Раскоп меньше всего напоминал могилу. Фабрика смерти. Помойка. Сверху на людей была брошена обувь, одежда, разбитая бочка, огромный дубовый пень, три пары вывернутых наизнанку резиновых перчаток палачей, битое бутылочное стекло… Я расчистил кисточкой и скальпелем останки: переплетенные пальцы протянутых навстречу рук. Эти двое были живы на дне ямы перед смертью или так получилось случайно. На их ладони, медленно кружась, опустился сверху еще зеленый осенний лист, из последних.

Теперь мне не легче, а сложнее отвечать на вопросы родственников погибших. Почему это случилось? Почему мы узнали правду так поздно? Почему и в наше время нельзя отыскать и указать место погребения каждого расстрелянного или умершего в неволе? Я давно перестал отвечать на вопросы о статистике репрессий. Стоит ли оценивать количество репрессированных, когда персонально еще не названы миллионы погибших и пропавших без вести. Я также давно понял, что наша работа никогда не сможет сама по себе уберечь от повторения прошлого.

Но мы помогаем тем, кто хочет узнать правду. Тем, кто захочет понять ее после нас.

погибшие — с нами

Удивительно впечатление от Левашовского мемориального кладбища под Петербургом. В 1990 году, когда за глухой забор и колючую проволоку пустили первых посетителей, их

охватывало угнетающее чувство — здесь ничего не было кроме мрачного леса и мрачных тропинок. Говорят, что здесь не расстреливали, сюда привозили убитых в ленинградских тюрьмах. От этого не легче. Один из первых посетителей принес с собой и оставил на дереве ленту со словами: «Отец! Я узнал, что ты расстрелян, через 53 года. Прости!» Сын не был повинен в неведении, но глубоко чувствовал вину. На кладбище стали приходить многие. Они приходили раз и два, и три, пока не решались оставить знаки памяти о погибших в том месте, на том дереве, под тем деревом, которое подскажет сердце.

Кладбище стало символическим местом памяти. Общинами и землячествами здесь поставлены памятники погибшим русским, эстонцам, немцам, полякам, финнам-ингерманландцам, норвежцам, белорусам и литовцам, евреям, ассирийцам, украинцам... Привезен издалека памятник расстрелянным монахиням.

И кладбище стало светлым. Из мрака времени проступили лица. Здесь думаешь. Здесь заметны белки и птицы. Здесь в любую погоду разметены дорожки, благоустроенные на часть Государственной премии Лидии Чуковской за «Записки об Анне Ахматовой».

Однажды зимой после оттепели снова ударил мороз, и кладбище запорошило легким снегом. Группа посетителей остановилась у польского памятника. Смахнули снег. Гранит был покрыт ледяной коркой, как застывшими волнами слез. Сквозь них проступали слова: «Прощаем и простите нас». «А почему «прощаем?»» — сказал кто-то после паузы. И после такой же паузы кто-то прибавил: «Значит, есть за что прощать».

Я прошел половину жизни, предстал на страшном суде, и грозный судия спросил меня: «Ты почему так мало успел, почему так мало, почему так мало для памяти этих людей?» Я проснулся, вздрогнув, и понял, что у нас есть время только на дорогу. От погибших — к живым.

см. также:

Карательная политика советского государства [52 документа] // ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917–1960. М.: Междунар. фонд «Демократия»: Материк, 2000. С. 14–221.

Ленинградский мартиролог, 1937–1938: Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1–5.— СПб.: Изд-во Российской национальной б-ки, 1995–2002.

Левашовское мемориальное кладбище. 2-е изд.— СПб.: Деан, 2002.— 16 с.

Исследования последних лет на Бутовском полигоне / *К. Каледа, С. Н. Алексеев, А. Я. Разумов, Л. А. Головкова //* Бутовский полигон, 1937–1938: Книга памяти жертв политических репрессий. М. Вып. 3. С. 5–16.

Convegno Internazionale
I GIUSTI NEL GULAG
Il valore della resistenza morale al totalitarismo sovietico

RELAZIONE
Аматуни Вирабян

Эпизоды сопротивления и защита национальной идентичности: Сталинские репрессии против армян, репатрировавших после второй мировой войны /1946-1950

Программа организации массовой репатриации зарубежных армян тесно связывается с территориальными требованиями Советского Союза по отношению к Турции.

Впервые, на международной арене этот вопрос был поднят на конференции Обьединенных наций, в Сан-Франциско в 1945 г. в меморандуме представителей армянского национального совета Америки. Требовалось ,,присоеденение армянских земель к существующему государству свободной независимой Армении и возвращение всех армян живущих за границей и желающих вернуться в Армению.,,[1]

Вопрос репатриации руководство Советской Армении косвенно поднял перед центральными властьями в апреле 1945 г., когда Совнарком АССР и ЦККП /б/Армении подняли вопрос перед Сталиным: Центральный комитет и Молотовым. Министерство иностранных дел в связи с отправлением представителей Совнаркома АССР в Иран, Сирию-Ливан, Румынию и Болгарию для ,, изучения вопросов условий армян в этих странах, в частности принятия советского гражданства и их пожеланий связанных с переселением в Армению,,[2]

Полностью вопрос массовой репатриации руководство Армении представило Сталину 15 мая 1945 г. в отношении, подписанном Председателем Совнаркома АССР А. Саркисяном и секретарем ЦККП /б/ Гр. Арутюняном. До этого. Гр. Арутюнян был в Москве, встречался со Сталиным и достиг договоренности об организации репатриации позднее, после некоторой ликвидации ущерба, нанесенного стране войной.

Сталин оставил безответным отношение руководства Армении от 15 мая,. Он был лучше осведомлен о реальных возможностях страны, и обсуждение вопроса отложил. Сталин ждал Потсдамской конференции, где хотел вынести вопрос ,,армянских и грузинских территорий,, и

[1] ,,Советская Армения,, 13 июня 1945 г.
[2] НАА,ф. к. 1, оп. 034, д. 27, л. 24

при положительном разрешении вопроса принял бы решение о начале репатриации, а в обратном случае воздержался бы.

Как известно, в Потсдаме, и Сталин, и Молотов подняли этот вопрос, но из-за жесткой линии США и Великобритании вопрос не вошел в повестку дня.

Понятно, что без решения Правительства СССР Правительство Арменииии ничего не могло предпринять. А из зарубежа приходили тысячи заявлений, один другого трогательней. Особенно тяжелым было положение армян в Греции. Из проживающих здесь 25 тысяч армян лишь 5 тысяч имели греческое гражданство, а остальные были лишены каких-либо гражданских прав.

Время шло, на имя Правительства Армении продолжало приходить тысячи писем, ответа на которых у правительства не было.

Вопрос репатриации в зарубежной прессе стал предметом розыгрыша. Для выхода из создавшего положения, Гр. Арутюнян ездит в Москву, чтобы встретиться со Сталиным и другими руководителями страны.[3]

По поводу возращения зарубежных армян на родину Гр. Арутюнян составил два письма-на имя Сталина и Маленькова.

В письме адресованного Сталину, акцентируются три обстоятельства:

1. От зарубежных армян продолжали приходить заявления о разрешении возвращения на родину. Советская Армения на эти заявления не давала положительного ответа, из-за отсутствия решения Союзного правительства.
2. В армянских колониях, враждебно настроенные группировки распростаняют слухи о том, что правительство Советской Армении не отвечает на эти заявления потому, что советская власть отрицательно относится к возвращению армян на родину.
3. В связи с 25-летием Советизации Армении, ЦККП /б/Армении и Совнарком АССР считают необходимым иметь особое решение Союзного Правительства, опубликованного в прессе, о разрешении возвращения армян проживающих заграницей на родину-в Советскую Армению.

В письме, адресованном секретарю ЦККП /б/ Г. Маленькову, даются подробные сведения о численности армян, живущих заграницей, перспективах применения рабочей силы репатриантов и о других вопросах. К письму был приложен проект постановления Правительства СССР.[4]

---

[3] ÍÀÀ, ô. ê. 1, îï.25, ä. 39, ë. 72.
[4] НАА, ф. к.1, оп. 034, д. 27, лл. 73-75.

То обстоятельство, что через несколько дней, 21 ноября представленный проект с подписью Сталина Совнарком СССР принял как постановление под заголовком-,,О предпринимаемых мероприятиях возвращения в Советскую Армению зарубежных армян,,[5], свидетельствует о том, что этот вопрос был заранее согласован, если не со Сталиным, то с Маленковым. Таким образом, Советское правительство дало ,,зеленый свет,, репатриации и начались самые трудные подготовительные работы по принятию и размещению возвращающихся армян.

По данным представительств СССР и армянских комитетов для возвращения в Советскую Армению были записаны 360 тысяч человек, а по странам эта картина выглядела так.[6]

Сирия и Ливан - 140 тысяч человек
Греция - 20 тысяч человек
Иран - 60 тысяч человек
Франция - 50 тысяч человек
Египет - 30 тысяч человек
Южная Америка - 29 тысяч человек
Турция - 20 тысяч человек
Болгария - 9 тысяч человк
Румыния - 1 тысяч человек
США - 1 тысяч человек

В июле 1946 г. первые эшелоны с репатриантами прибыли в Армению. В короткий срок, до половины октября около 50 тысяч армян прибыли на родину вместо предусмотренных 30-35 тысяч. В докладной записке от 8 октября 1946 г., Сталину, Гр. Арутюнян представляет результаты:

1. Из-за недостатка квартир приезжих часто размещали в строениях непригодных для жилья, что вызывает справедливое недовольство, а строительство квартир замедлялся из-за недостатка кровельного и лесоматериала.
2. Основное население прибывающих масс-ремесленники и когда их размещают в сельской местности, они недовольствуют и хотят поселиться в городах.
3. Прибывшие из Ирана, Сирии и Ливан плохо одеты и не готовы к предстоящей зиме. Заработанная ими сумма недостаточна для покупки одежды и обуви
4. Прибывшие репатрианты из Ирана и Сирии упорно требуют ежедневно снабжать им сахаром для чая, что превышает потребности местных жителей.

[5] ,,Советская Армения,, 2 декабря, 1945 г.
[6] НАА, ф. к. 1, оп. 26, д. 100, л. 92.

В конце письма просьба к вождю для снабжения репатриантов выдаче Армении одежды, обуви и сахара.[7]

Приближался 1947 год. В Советское Правительство представляется проект решения о принятии очередной группы репатриантов. А трудности и недовольства росли. Бюро ЦККП /б/ Армении для усиления работ среди репатриантов в районах, создает в ЦК особый отдел в составе пяти человек. Но из-за тяжелых экономических условий начинают наблюдаться эмиграционные настроения. В течении года, до июня 1947 г. границу Турции смогли пересечь и пройти 21 человек, а 110 были задержаны при попытке пересечения границы.[8] И одновременно с экономическими рычагами /строительство собственных домов, материальная помощь/ начинается применение административных методов.

Бюро ЦККП /б/Армении постановлением от 16 мая 1947 г. начинает переселять репатриантов, заселенных в приграничных районах в другие территории.[9] По свидетельствам современников было переселено 215 семей.[10]

Постепенно выясняется, что выполнить программу репатриации в 1947 году невозможно. Из намеченных 63 тысяч человек удается принять лишь 35 тысяч репатриантов. Невозможно было преодолить трудности даже после принятия постановлений Совмина СССР за подписью Сталина от 29 января, 24 марта и 10 декабря 1947 г.

Трудности Армении становятся все более очевидными: „Множество семей репатриантов в Ереване, Ленинакане, в районах и совхозах живут в тяжелых квартирных условиях. В колхозе имени Сталина в одной комнате живет семья, состоящаяся из 22 душ. В этом же колхозе 16 семей живут в недостроенных постройках. Главная причина недовольств то, что горожан отправляют в село,- говорит руководитель партии репатриантов Девджян, -где они оказываются в тяжелом положени, потому что пока от трудодней ничего не получают,а хлеб и продовольствие не могут покупать ,так как денег не имеют.”[11]

Нужно отметить, что власти в политическом плане не доверяли репатрированным армянам. В октябре 1948 г. на строящемся заводе азотных удобрений в Кировакане работали 169 репатрированных. Министерство Госбезопасности Армянской ССР обращается к

[7] НАА, ф. к. 1, оп. 26, д. 100, лл. 71-74.
[8] Там же, оп. 27, д. 47, л. 57.
[9] Там же, д. 26, л. 16.
[10] Мовсес Базарян, Письма из советского ,,рая,, , Е. , 1996, ст. 44.
[11] НАА,ф. к .1,оп.27,д.47,л.л.96-100.
[12] там же, оп. 28, д. 87, л. 55
[13] там же ,д.205,лл.32-33.

секретарю ЦК КП (б) Армении Гр. Арутюняну с просьбой перевода репатриантов со стройки завода на другую работу, имея в виду, осуществляемых на заводе “особых мероприятий”.[12]

Через 15 дней, дирекция завода сообщает в ЦК, что задание выполнено, часть репатриантов переведена на другую работу, а другая часть по разним причинам освобождена с работы.[13]

О недовольствах среди репатриантов Министерство Госбезопасности Армянской ССР осведомляло Гр. Арутюняну “особыми уведомлениями”.

В подобном особом уведомлении от 7 апреля 1948 г. отмечается, что по данным, полученным из Вединского района “в нескольких селах района из-за безответственного отношения некоторых руководителей районных организаций и колхозов к нуждам репартиантов, в их районах возросли эмиграционные настроения и недовольства своим материальным положением.”В сводках представляются факты последствий подобного недобросовестного отношения .В селе Дашлу живут 14 семей репатриантов, которые находятся в очень тяжелом состоянии, вследствии чего во второй половине 1947г. и в течении январ-феврал месяцев 1948г. умерло 16 человек. Из-за недостаточного, плохого питания несколько семей репатриантов заболели разными болезньями[14.]

Со второй половины 1947г. возросли эмиграционные настроения, умножились попытки перехода границы. По особым сводкам командования армянского округа пограничных войск, нарушившие границу арестованные репатрианты объясняли свой поступок крайне тяжелыми материальными условиями.[15] В течении первой половины 1948 г. 14 человек смогли перейти границу, один из которых, позже был возвращен Иранскими властями .[16] 18 февраля 11 репатриированным жителям поселка Нор Кянк Вединского района удалось перейти границу Турции.[17] 2 августа группа репатрированных армян делает попытку перейти границу в том же районе. Встретив пограничный наряд, нарушившие границу открывают огонь по пограничникам. Во время перестрелки были ранены 4 пограничника и 2 репатрианта : от полученных ран в больнице умирают один пограничник и один репатриант.[18]

Эти два случая нарушения границы стали предметом обсуждения на бюро ЦК КП(б) Армении, где впервые нарушение границы объясняется не только отсутствием “политико-воспитательных работ ”, но и необеспеченностью “необходимого минимума для проживания отдельных семей репатриантов”.[19] Частые нарушения границы стали поводом для проверок со стороны Прокуратуры СССР.

Генеральный прокурор СССР К. Горшенин в своей докладной записке , направленной секретарю ЦК ВКП(б), отмечает, что при попытке перехода границы в 1946г-47гг.арестованы 286 человек, которые в своих показаниях, в основном жалуются на плохие квартирно-коммунальные условия.[20]

---

[14] там же , оп.28,д.87,лл.2-3
[15] там же ,оп.27,д.57.
[16] там же ,ф.1,оп.28,д.94,л.6
[17] там же ,ф.1,оп.28,д.94,л.6
[18] там же ,д.43,л.60
[19] там же ,оп.28,д.43,л.60
[20] там же ,д.60,лл.201-208

10 декабря 1947г. Совет Министров СССР утвердил программу репатриации 1948г., где намечалось принять 10 тысяч человек.[22] Но скоро становится ясно, что планы обустройства как новой, так и ранней репатриации проваливались . Руководство Армении решило в 1949 г. приостановить репатриацию . 24 августа 1948 г. ЦК КП(б) Армении принимает решение о сокращении репатриации этого года. По первому пункту постановления она была прекращена во Франции (2000 человек), в Сирии и Ливане (3500 человек), а из США из предусмотренных 1000- сократилось на 750 человек. По второму пункту разрешалось дополнительно репатрировать 400 человек из Египта и их общее количество довести до 1900. По третьему пункту с 1949 г. массовая репатриация армян приостанавливалась, а по четвертому пункту сокращались штаты управления Комитета по приему и размещению армян.[23]Фактически исходя из постановления , в 1948г. репатриация должна была осуществляться из Румынии (1000 человек), Египта (1900 человек) и из Болгарии (1000 человек). До половины сентября в Армению прибыли репатрианты из Румынии и Египта ,а армяне из Болгарии (1000 человек) продавшие свои дома и имущество, оставив работу, сдавшие в вокзальные помешения свой багаж, ждали парохода .[24] Но родину свою они так и не увидели –14 сентября 1948 г., репатриация была приостановлена. Причиной тому была телеграмма Сталина Г. Маленькову, гда говорилось :"Среди репатрированных есть американские шпионы, которые подготовили диверсию на пароход "Победа". Он имел ввиду пожар на параходе 1 сентября, который несколько дней назад довел до порта Батуми большую группу репатриантов. В тот же день , 13 сентября 1948 г., Маленьков отвечает Сталину. "Вы конечно правы, среди репатрированных армян есть американские шпионы, которые осуществили диверсию на пароход "Победа", до отхода из Одессы в Батуми, во время или перед выходом армян на берег. Мы предприняли все меры. " Следующий день 14 сентября, Маленьков телеграфирует Сталину :

---

[21] там же ,оп.29,д.100,л.78
[22] там же,лл.2-4
[23] там же, ф.1,д.49,л.147
[24] там же, оп.31,д.58,л.36

В числе этих несчастных Шагур Шагрикян, Асатур Эочурян, Казарос Чапалян, Оганес Тнкрян из Греции и другие., которые после долгих утомительных допросов были высланы в Сибирь, как соучастники заговора.

Одного обвинили в сотрудничестве с реакционной, то есть дашнакской газетой заграницей, другого - за работу в английском военном аэропорту Египта и за деятельность в пользу английских империалистов.

В январе 1949 г., по заданию Министерства Госбезопасности СССР, в республиках Закавказья и прибрежных районах Черного моря начали составляться списки бывших дашнаков, армянских легионеров и членов их семей. Подготавливалось вечное изгнание огромной части армянского населения в дальние районы страны.. Подготовительные работы осуществлялись в строго секретных условиях. Для начальников районных подразделений госбезопасности, которые подготавливали материалы и составляли справки, цель осушествляемого мероприятия была неизвестна . Никаких письменных указаний им не давалось,для составления справок им давались лишь устные указания.[26]

4 апреля 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает постановление “О выселении дашнаков, проживающих в Армянской и Азербайджанской ССР ”, а 11 апреля – “О выселении дашнаков из Грузинской ССР ”

28 мая 1949 г. Министерство госбезопасности СССР приняло решение, а на следующий день Совет Министров СССР, за подписью Сталина приняло совсекретное постановление N 2214-856 “О перемещении, переселении и устройстве на работу изгнанных из Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также из прибрежных территорий Черного моря.”[27]

---

[25] Григор Арутюнян, Жизнь и деятельность, стр.8-9
[26] НАА ф. к. 1, оп.39,д.65,л.35
[27] Гр. Арутюнян,Жизнь и деятельность

11 июля, в ЦККП(б) Армении, в строго секретных условиях состоялось совещание, на котором участвовали первые секретари партрайкомов, ответственные работники ЦК и Министерства госбезопасности и прибывшие из Москвы. Протокол не был составлен.Первый секретарь ЦК КП(б) Армении Г. Арутюнян сообщил о принятом постановлении Советского правительства об изгнании “неблагонадежных элементов” в Алтайский край.

В архиве Министерства внутренних дел РА хранится 2935 дел людей (с членами семей 13272 человека), подлежащих высылке.[28]

В отношении, направленном в 1954г. в ЦК КПСС, отмечается 3017 семей с 14000 человек высланных,[29] а в другом документе, составленном в 1956 г. отмечается 2754 семей с 12316 человек высланных.[30]

Согласно постановлению Правительства СССР изгнание было осушествлено и в других республиках Закавказья и прибрежных районах Черноморья России. К сожалению, сведений, о высланных из этих районов армянах , не удалось обнаружить ,но сохранилось множество фактов.

Как указывалось выше, согласно постановлению Правительства СССР, вместе с дашнаками были высланы также лица служившие в "армянском легионе", и члены их семей, что составляло почти одну треть высланных-879 семей.[31]

Была изгнана также большая группа репатрированных армян, которые в молодости были связаны с партией дашнаков.

Представим примеры нескольких высланных семей.

Репатрированный из Ирана студент Вачик Асрабян, который работал также в Кукольном театре Еревана в качестве заведующего музыкальной части, был выслан по мотивировке, что является членом дашнакской молодежной организации.

Репатрированный из Ливан Ншан Пахлеванян в 1946г. прыбыв Армению, из госбюджета получают ссуду, строят маленький дом. В 1949г. он, жена и трое несовершеннолетних детей высылаются в Алтайский край. В 1956г. возвращаясь из ссылки выясняют,что их дом передан другим и они не могут получить его обратно.

Семья Аствацатрянов была репатрирована из Иранского города Джулфы и проживала в селе Дарбас Сисианского района .Шестеро из членов семьи в 1949г. высылаются в Алтайский край, где рождаются еще двое детей. В 1956г. они возвращаются в Армению. Интересно то, что дети этого семейства , которые сейчас взрослые люди, так и не знают за что их изгнали.

Смерть Сталина положила конец политических репрессиям, предотвратив его новые замыслы об огромных "чистках".

---

[28] См.Манукян А., в отм. Труде ,стр.231
[29] ÍÀÀ, ô. ê1.îï.34,ä.16,ë.147
[30] òàì æå ,îï.36,ä.52,ë.43
[31] ÍÀÀ, ô. Ê. 1, îï. 35, ä. 45, ë. 165

Были ли люди, которые как-то пытались восприпятствовать этому, помочь этим несчастным людям ? К сожалению в правительственных кругах о таких людях ничего не сохранилось.

Между тем были люди, которые записав увиденное и услышанное,сохранили для истории правдивую картину этих событий.

Один из них, репатриант из Греции, журналист Мовсес Базарян, работник государственного органа в Армении по приему и размещению репатриантов. В своем дневнике, с момента прибытия в Армению с декабря 1947 г. по март 1966г, он записал все увиденное им, а именно, фактически описал скитания армянина-репатрианта на Родине.

Дневник был опубликован в 1997 году в Ереване под заглавием”Письма из советского’’рая”. И не будь названной книги, мы вряд ли узнали бы о судьбе, многочисленных репатриантов

Участникам конгресса хотелось бы представить судьбу еще одного репатрианта, чтобы показать к чему могут привести репрессии над человеком.

Ваграм Кегян, рожденный в 1925 г., иммигрировал в Армению в 1946 г. из Ливана. Не сумев смириться с трудностями, в 1948г. он попытался сбежать заграницу, перейти советско-турецкую границу, но был задержан и заключен в тюрьму сроком на 2 года. После освобождения начал сотрудничать со службой безопасности, надеясь приобрести доверие и с помощью этой же службы , под предлогом выполнения задания, сбежать из страны.

С этой целью начал предъявлять докладные записки в КГБ о некоторых своих знакомых. Жертвы этих докладных - сотрудник библиотеки репатриантов Оганес Тер-Хачатрян, якобы в своем дневнике изложил свои антисоветские взгляды, его друг Ваган Кестеджян с помощью Оганеса читал газеты, а Назар Инжеян писал”антисоветские” песни.

Суд приговаривает Оганеса к 5-и, а Вагана и Назара к 3-м годам лишения свободы.

Потом наш герой начинает предъявлять фальшивые докладные об иммигрантах, живущих в Ленинакане, Карапете Мурадяне и Атанесе Варпетяне, которые якобы тайно создали антисовесткую организацию и связались с антисовестским центром, находящимся в Турции.

Стремление во что бы ни стало уехать заграницу, вызывает подозрение у руководителей КГБ, и они начинают проверять докладные записки, и подлог раскрывается.

И во время предварительного допроса, и на суде Ваган Кегян признает свою вину и сознается,что он неоднократно просил отправить его заграницу с особым поручением, но когда понял, что никто не идет ему навстречу, пошел на подлог.

В суде его приговаривают к 10 годам лишения свободы.

С этой грустной историей я заканчиваю свое выступление и хочу отметить, что более подробнее эта история описана в одной из книг доктора Арменака Манукяна.

Convegno Internazionale
I GIUSTI NEL GULAG
Il valore della resistenza morale al totalitarismo sovietico

RELAZIONE
Nikita Struve

Osip e Nadežda Mandel'štam: insieme, al servizio della poesia e della verità

Le martyrologe des écrivains russes- des dizaines de victimes- commence dès 1920 par l'exécution, à la suite d'un simulacre de procès, d'un des meilleurs poètes du siècle d'argent, Nicolas Goumilev. Fusillé en catimini dans un champ aux abords de Pétrograd, il sera le premier de sa tribu à ne pas avoir de sépulture reconnaissable. Mais poète visionnaire, il l'avait lui-même prédit :

Je ne mourrai pas dans mon lit	И умру я не на постели,
En présence du médecin et du notaire	При нотариусе и враче,
Mais dans un trou des plus déserts,	А в какой нибудь дикой щели,
Sous un lierre touffu, enfoui.	Утонув в густом плюще.

Parmi les poètes réprimés, Ossip Mandelstam, mort d'inanition en 1938, à l'âge de 47 ans, dans un camp de transit près de Vladivostok, occupe néanmoins une place particulière par son choix délibéré d'affronter le pouvoir le plus absolu qui ait jamais existé. Et son sacrifice et son témoignage- est-il besoin de rappeler que le mot *martyr* en grec est synonyme de *témoin*- ne peuvent être séparés de sa fidèle compagne, Nadejda Mandelstam. Nadejda, au nom prédestiné -puisqu'en russe il signifie espoir- a soutenu le témoignage de son mari au long de leur vie, mais également après la mort d'Ossip, en conservant dans sa mémoire les poèmes qu'il était dangereux de garder par écrit, ensuite, en livrant son propre témoignage : les deux volumes des mémoires de Nadejda Mandelstam restent à l'époque du regel, dans les années 70, une des paroles les plus puissantes de résistance face à un totalitarisme dont on désespérait de voir jamais la fin.

Au demeurant, rien ne laissait prévoir qu'Ossip Mandelstam serait à même d' affronter, seul à seul, tel David face à Goliath, avec pour seul arme « les lèvres qui remuent », l'idéologie la plus implacable et le tyran le plus sanguinaire de l'histoire des temps modernes : de constitution fragile, nanti d'une solide formation scolaire au collège élitiste Tenichev à St Pétersbourg, mais n'arrivant pas à terminer ses études universitaires, sans situation professionnelle précise, empruntant de l'argent à droite et à gauche, le plus souvent sans le rendre, tenté dans sa prime jeunesse par l'activisme révolutionnaire (dont ses parents vont le sauver en l'envoyant en Allemagne), mais étranger à la politique, craintif à l'excès vis-à-vis des choses les plus banales- « il avait peur des huîtres », nous dit-il non sans malice dans un poème, - Mandelstam était viscéralement et exclusivement - poète… Mais dans son aspect extérieur, parfois déroutant, il avait une attitude que tous les mémorialistes ont relevé : sa tête toujours résolument rejetée en arrière, il se tenait la face haute, laissant entendre par là qu'au delà des contingences et des

petitesses empiriques, il pouvait être, dans la défense des valeurs morales et spirituelles, un irréductible. En 1922, il écrivait que l'école poétique- l'acméisme- auquel il avait adhéré, « n'était pas dans l'histoire russe un phénomène exclusivement littéraire, mais également un phénomène social. Avec lui la poésie russe a retrouvé sa force morale … Le caractère hiératique, c'est-à-dire sacré de la poésie est conditionné par la conviction que l'homme doit être plus ferme que tout sur la terre et se rapporter à celle-ci comme le diamant au verre ». Toutefois l'attitude de Mandelstam à l'égard de la révolution n' a pas été dans un premier temps univoque : comme la plupart des intellectuels il accueille avec enthousiasme la révolution de février, voyant à tort en Kerenski un chef inspiré, presqu'un Christ ; plus circonspect à l'égard du coup d'état d'Octobre et de Lénine, il accepte le fait, « le coup de barre énorme, maladroit, grinçant » et, pendant un temps il est vrai très court, occuper un poste au ministère de l'Instruction publique. Effrayé par la brutalité des événements, il préfère se réfugier en Crimée, mais résiste à la tentation de l'émigration (« Smyrne et Bagdad sont à notre portée , mais il est dur de prendre la mer, et partout les étoiles sont les mêmes »)- scellant par là son destin. Revenu à Moscou il éprouve de grandes difficultés à s'adapter à la réalité nouvelle. L'architecture sociale promise par le nouveau régime semble le séduire par son universalisme et son unité, mais « à condition qu'elle se fasse pour l'homme et non contre lui ». Mandelstam la ressent comme une ambiguïté : elle peut tout aussi bien « libérer l'homme ou l'écraser ». Et dans les quelques vingt poèmes des années 20, si l'ambiguïté de la vision persiste, ce sont la perplexité et la crainte qui dominent, et déjà de façon prophétique Mandelstam redoute d'être réduit au silence

Encore un peu et l'on fera taire Еще немного – оборвут
Le chant sans fard des offenses d'argile Простую песенку о глиняных обидах
Et l'on coulera du plomb sur tes lèvres И губы оловом зальют

Dans un premier temps le silence va venir moins des autorités, que de son for intérieur, provoqué sans doute par la léthargie morale qu'entraînent l'indécision et la perplexité : pendant cinq ans Mandelstam connaît une période de stérilité poétique totale. Le retour à la poésie se préparera progressivement par toute une série d'incidents dont Mandelstam sera le témoin ou la victime. Au printemps 1928 Mandelstam apprend que cinq fonctionnaires de banque ont été arrêtés et risquent la peine capitale. Révolté et terrifié il remue ciel et terre pour les sauver. Il envoie à Nicolas Boukharine, alors membre du Comité Central du Parti communioste, un exemplaire de son livre de vers (dont la réédition venait de paraître grâce à Boukharine) avec pour dédicace : « Chaque ligne de ces vers plaide contre tout ce que vous vous proposez de faire » . Un incident mineur en décembre 1929 offre un excellent prétexte pour lancer contre Mandelstam une campagne d'intimidation. Il y répond par *la Quatrième prose*, l'un des textes les plus violents et les plus pathétiques de la littérature russe, où il exprime son indignation face à une littérature qui s'avilit et se déshonore. Il s'exclame : « ce qu'a été notre mère la philologie et ce qu'elle est devenue… Elle a été tout entière sang et intolérance et la voilà maintenant sang de chien et totale complaisance ». Ce texte libérateur, publié pour la première fois près d'un demi-siècle après la mort de son auteur, n' a pas suffi à ouvrir les sources de la poésie. Il a fallu encore un voyage en Arménie et le contact avec les valeurs éternelles de cette terre biblique et chrétienne, l'annonce du suicide de Maïakovski, les arrestations de

plus en plus fréquentes, les premières manifestations atroces de la collectivisation …Alors que tant d'autres se réfugient dans le silence ou se résignent à la compromission, Mandelstam fait son choix : quoiqu'il arrive, se mesurer avec l'histoire. Une puissance terrible va transformer sa poésie (comme auparavant elle avait transformé sa prose). Reprenant ou plutôt retournant un dicton russe qui dénonce l'incorrigibilité des travers humains il s'exclame:

Je ne suis plus un enfant.
Toi, ô tombe,
Cesse de corriger le bossu, tais-toi !
Au nom de tous je parle avec une telle force
Pour que la voûte céleste devienne voûte buccale
Et que se fendent les lèvres comme de l' argile rose.

Я больше не ребенок.
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало нёбом, чтобы губы
Потрескались как розовая глина.

Le travers humain, la bosse congénitale dont Mandelstam supplie de ne pas être corrigé, c'est sa vocation poétique qui n'est possible, pour reprendre une expression de Pouchkine, que « dans la soumission aux commandements de Dieu ». Une puissance incantatoire terrible soulève tous les poèmes écrits à Moscou depuis le retour de l'inspiration en octobre 193O jusqu'à l'arrestation en mai 1934 : le chant devient combat, défi. Par on ne sait quel miracle, sans doute grâce à la protection de Boukharine qui sent son propre pouvoir menacé, quelques pièces paraissent dans les journaux ou les revues. Mandelstam n'hésite pas à lire ses poèmes en public à Moscou comme à Léningrad. L'un des témoins écrit à son ami après le récital à Moscou : « Mandelstam est notre seule consolation… un poète de génie, d'une valeur immense, un homme héroïque…Il a tenu la scène pendant deux heures et demie en récitant tous les vers écrits ces deux dernières années dans l'ordre chronologique. Ils contenaient de tels exorcismes que beaucoup prirent peur. Pasternak lui-même fut effrayé et murmura : J'envie votre liberté… moi j'ai besoin de non-liberté. Aux questions insidieuses des poètes bien en cour, Mandelstam répondit avec la superbe d'un empereur captif ou d'un poète captif » (Khardjiev). A Léningrad « on demanda à Ossip d'exprimer son opinion sur la poésie soviétique contemporaine et les poètes de l'époque prérévolutionnaire . Des milliers d'yeux étaient fixés sur Mandelstam, devenu soudain pâle… Il s'avança au bord de l'estrade, la tête comme d'habitude rejetée en arrière, le regard incandescent : Qu'attendez-vous de moi ? Quelle sorte de réponse ? Puis il répondit d'une voix ferme et mélodieuse : « Je suis le contemporain d'Akhmatova,- couvert par un tonnerre, une tempête d'applaudissements » (E. Tager). (Dès 1925, comme on le sait, Akhmatova était honnie et persécutée).

Chacun des poèmes composés par Mandelstam à cette époque pouvait constituer un délit. Longtemps on a cru que les vers, connus sous le titre « Le Loup », dans lequel il implorait de « l'emmener dans la nuit où coule l'Iénissei »…/ Pour ne pas voir le couard, ni la boue, ni la glue,/ Ni, broyés par la roue, les os

ensanglantés » avaient été le détonateur qui avait amené l'arrestation. Mais Mandelstam n'avait pas encore dit son dernier mot . Prenant délibérement son temps, procédant par étapes (« ne nous énervons pas, l'impatience est un luxe »), il allait être le premier et pratiquement le seul de tous les écrivains de son temps à dénoncer la catastrophe quasi-cosmique de la collectivisation (six millions de morts)

La nature ne reconnaît plus son propre visage, Природа своего не узнает лица.
Ombres effrayantes de l'Ukraine et du Kouban А тени страшные – Украины, Кубани.

. Auparavant (en juin 1931) dans le poème intitulée *le Cocher du Phaéton,* sous l'image du cocher, avec sa voix rauque et son accent caucasien, qui se fait plaisir à diriger « le remue-ménage de la mort », on pouvait déjà deviner l'ombre de Staline, mais le langage était suffisamment chiffré et voilé pour autoriser d'autres interprétations. Au printemps 1933 Mandelstam fait ce que personne avant lui ni après lui n'avait fait : s'attaquer explicitement à la tête même du pouvoir, de façon à être compris sans ambiguïté aucune. Les dystiques sur Staline que compose Mandelstam constitue dans l'histoire littéraire et sociale de l'URSS (et sans doute dans toute la littérature mondiale) un acte de vérité et de courage sans précédent.

Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays,
Nos paroles à dix pas n'atteignent pas l'ouïe,

A peine quelques mots sont-ils prononcés
Que le montagnard du Kremlin se trouve évoqué.

Il a les doigts épais et gras comme des asticots,
Ses discours pèsent tels des quintaux.

Il porte une moustache de cafard
Et ses bottes luisent comme des phares.

Grouillent autour des chefs aux frêles nuques
Et lui se jouent de ces serviles eunuques.

L'un siffle, l'autre miaule, un troisième geint,
Lui seul pointe l'index et tape du poing.

Comme des fers il forge décret après décret
En plein front, au bas-ventre, dans les yeux, dans le nez.

De toute exécution il se fait une fête
Et bombe sa large poitrine d'Ossète

Il n'est pas superflu de rappeler qu'en novembre de la même année on mettait sous presse un luxueux ouvrage à la gloire de Staline et du tchékiste Iagoda pour avoir édifié grâce au travail forcé de plusieurs centaines de milliers de détenus politiques le canal reliant la mer Blanche à la mer Baltique. A cet ouvrage avaient prêté leur nom treize écrivains et non des moindres (Gorki, Kataev, A .Tolstoï, V.Chklovski, M.Zotchenko pour ne citer que les plus importants etc…)

Mandelstam ne s'est pas contenté de composer ce portrait goyesque de Staline pour sa propre satisfaction, il les avait d'une certaine façon rendus publiques, en les lisant à une dizaine, voire à une quinzaine d'amis sûrs : il était clair que par là il signait son propre arrêt de mort, car l'un d'entre eux, pris de peur, pouvait en faire part à qui de droit . N'avait-il pas dit à Anna Akhmatova cette parole étonnnante : « Je suis prêt pour la mort ». Les quatre années qui suivirent ne sont que le dénouement de cet acte sacrificiel. Le dénonciateur n' a toujours pas été identifié. Par contre on sait maintenant que durant l'interrogatoire Mandelstam a eu une attitude irréprochable, assumant le texte au nom « des valeurs des anciennes cultures que l'ancienne intelliguentsia avait pour mission de porter et de transmettre » . Néanmoins l'arrestation et l'exil devaient pour de longs mois ébranler la santé physique et psychique de Mandelstam. Une tentative manquée de suicide le ramène à la raison. La sollicitude dont l'entourait Nadejda lui permet de retrouver l'équilibre. L'inspiration revient. Les poèmes de Voronej, ville où il est confiné, sont dans l'œuvre de Mandelstam les plus lumineux et les plus élevés. Dans l'attente d'une mort qu'il continue de ressentir comme inéluctable, il connaît la sérénité et éprouve des illuminations mystiques étonnantes. Son adhésion à la révélation chrétienne ne fait aucun doute . Avec la pudeur qui a toujours été la sienne pour toute expression religieuse, il se voit participant de la Dernière Cène, s'identifie au crucifié, se sent emporté au ciel et goûte déjà au mystère indicible de la Résurrection. Néanmoins il va passer par des moments de faiblesse et de doute.Acculé à une misère extrême, dans une solitude sociale totale, il pense pouvoir échapper à son sort en rachetant sa faute par des vers à la gloire de Staline. Tentation compréhensible, mais qui tourne court. L'ode censé plaire à Staline n'a pas et, de très loin, la netteté de ses précédents dystiques dénonciateurs. Le lecteur d'aujourd'hui a l'impression que sa conscience profonde se refuse à cette participation au mensonge collectif, d'où des expressions et des métaphores à double sens. La seconde arrestation le 2 mai 1938 l'envoie au fin fond de la Sibérie (ce qu'il avait jadis souhaité), et six mois plus tard sa mort anonyme couronnent son destin de juste et de martyr.

Nadejda, si on pouvait l'interroger aujourd'hui, dirait sans doute qu'elle doit tout à son mari, à son Oska (diminutif hypochoristique de Ossip, qu'elle aimait employer quand elle l'évoquait). Son mérite premier est précisément d'avoir été jusqu'au bout fidèle à l'esprit, au génie poétique, à la personnalité morale, à l'intransigeance de son mari. Elle a conservé son capital intact pour l'étendre à l'ensemble de l'époque. « Les pages les plus fortes de son livre, estime Georges Nivat, sont peut-être celle qui démontrent le mécanisme de la cécité collective, cécité dont Nadejda Mandelstam fait remonter l'origine au début des années 20, renversant ainsi … l'opinion courante qu veut que les années 20 aient joui d'une totale liberté d'expérimentation esthétique ». Son livre est violent , parfois sévère à l'excès envers ses contemporains. C'est le cri d'une souffrance endurée pendant

des décennies. Mais au delà de la violence, de la « méchanceté littéraire » (exercée et prônée par son mari) , nous savons que dans sa vie privée son désintéressement était total- et nous sentons que dans ses écrits Nadejda Mandelstam s'appuyait sur une espérance profondément chrétienne. Baptisée à sa naissance, elle s'était éloignée comme tant d'autres de la foi chrétienne pour la retrouver après la mort d'Ossip, dans la solitude de son long exil à Pskov. Là elle s'était liée avec un prêtre d'un indéniable courage et d'une vive intelligence, le père Serge Jeloudkov, injustement oublié de nos jours. A Moscou, plus tard, elle sera en relation étroite avec l'un des plus grands témoins chrétiens de l'époque brejnevienne, le père Alexandre Men, mort martyr à l'époque de la pérestroïka : il sera assassiné en 1990 dans des circonstances qui n'ont toujours pas été et ne seront sans doute jamais élucidées : ultime victime expiatoire d'un régime aux abois.

Comme Ossip, Nadejda Mandelstam a connu la tentation non pas de se réconcilier avec le temps, mais celle, à la fin de sa vie, de perdre espoir. Pour l'édition anglaise du second volume de ses mémoires elle avait choisi le titre *Hope lost*. Moins de dix ans après sa mort le régime communiste s'effondrait comme un château de cartes… Comme son mari, comme les innombrables milliers de justes et de martyrs, connus ou anonymes Nadejda Mandelstam par son courage, sa longue patience, sa foi en Dieu, la fermeté et la lucidité de son témoignage , a, elle aussi, grandement contribué à l' effondrement d'un des systèmes les plus délétères et les plus mortifères des temps modernes.